СЕРГЕЙ ОРЛОВ

Воспоминания современников

Неопубликованное

СЕРГЕЙ ОРЛОВ

Воспоминания современников

Неопубликованное

Его зарыли в шар земной,
А был он лишь солдат,
Всего, друзья, солдат простой,
Без званий и наград.



*С. Орлов с внуком. 1973.*

# СЕРГЕЙ ОРЛОВ

*Воспоминания современников*

★

*Неопубликованное*

ЛЕНИЗДАТ · 1980

С32 Сергей Орлов. Воспоминания современников. Неопубликованное/[Сост. В. С. Орлова]. — Л.: Лениздат, 1980. — 320 с., ил.

Сборник посвящен певцу солдатского подвига на войне, замечательному советскому поэту Сергею Сергеевичу Орлову (1921—1977).

В первом разделе представлены воспоминания современников о безвременно ушедшем из жизни поэте и посвященные ему стихи.

Второй раздел составили неопубликованные и малоизвестные статьи, рецензии, заметки Сергея Орлова, а также стихотворения разных лет, которые не были напечатаны как в прижизненных сборниках поэта, так и в его посмертной книге «Костры».

С $\frac{70202 \quad 4702010200-237}{М171(03)-80}$ 144—80 84.3(2)7

СЕРГЕЙ ОРЛОВ

*Воспоминания современников*
*Неопубликованное*

Составитель
Виолетта Степановна Орлова

*Редактор Б. Г. Друян*
*Художник В. И. Коломейцев*
*Художественный редактор О. И. Маслаков*
*Технический редактор А. И. Сергеева*
*Корректор Т. П. Гуренкова*

ИБ № 1538

Сдано в набор 1.07.80. Подписано к печати 25.11.80. М-14470. Формат 84×108$^{1}/_{32}$. Бумага тип. № 1. Гарн. Лазурского. Печать высокая. Усл. печ. л. 17,64+вкл. Уч.-изд. л. 17+0,03=17,03. Тираж 100 000 экз. Заказ № 590. Цена 1 р. 50 к.

Ордена Трудового Красного Знамени Лениздат, 191023, Ленинград, Фонтанка, 59. Ордена Трудового Красного Знамени типография им. Володарского Лениздата, 191023, Ленинград, Фонтанка, 57.

*Воспоминания современников*



СЕРГЕЙ
МИХАЛКОВ

## *Салют поэту и гражданину*

Сергей Орлов олицетворял образ целого поколения. И какого поколения! Героически прошедшего войну в почти мальчишеском возрасте, начавшего самостоятельную жизнь с великих подвигов, с немыслимых трудностей и испытаний.

Этот героизм, эти трудности, страдания и высокое торжество Победы — в стихах Сергея Орлова.

«Его зарыли в шар земной, а был он лишь солдат...»— строки, ставшие эпиграфом ко всему творчеству Сергея Орлова. Он умер через десятилетия после того, как отгремели последние залпы, но все равно как солдат. Солдат, верно служивший Отечеству своим талантливейшим пером, каждым своим поступком, своей неутомимой организаторской деятельностью одного из руководителей Союза писателей России.

Прозвучал воинский салют над его могилой. Он звучит до сих пор — благодарная Родина салютует поэту и гражданину.

## *В белом чистом поле*

...И все-таки он очень страдал от этих шрамов, от этих рубцов, начисто слизанной языками огня кожи, от выгоревших на щеках и подбородке мускулов, от перекошенного века на левом глазу, от сведенных на руках пальцев в бугристых, еще кровоточащих наростах. Он страдал физически от осточертевшей боли, к которой он так и не мог привыкнуть, но больше всего он страдал от шрамов на душе, на самых ее чувствительных глубинах. Шрамы на лице потом зарастут рыжеватой шкиперской бородой, глаз перестанет слезиться, и сгоревшее веко как-то прикроется лихим волнистым чубом — и он будет выглядеть красавцем, но шрамы на душе останутся, останутся навсегда, как осколки раздробленной кости, и будут саднить и болеть все время.

Он дважды горел в танке, потому что уходил из танка, как это и положено командиру, последним. Он сначала выталкивал товарищей, потом уже пробивался через адское пламя газойля сам.

Я знал его еще до войны по статье Корнея Чуковского в «Правде». Я помнил его стихи, процитированные Чуковским:

В жару растенья никнут,
Бегут от солнца в тень.
Одна лишь чушка-тыква
На солнце целый день.

Лежит рядочком с брюквой,
И кажется, вот-вот
От счастья громко хрюкнет
И хвостиком махнет.

Эти стихи нельзя было не запомнить. В них — весь Орлов, лаконичный, точный, воистину врожденный поэт.

Мы познакомились с ним в конце сорок пятого года. Впрочем, нам не надо было знакомиться. Мы просто встретились, как две необходимости на всю жизнь.

Мы были нужны друг другу всем, чем нас наградила судьба, каждого в отдельности. Его тетрадка в картонном переплете, пропахшая газойлем, та самая тетрадка, в ко-

торой я впервые прочел: «Его зарыли в шар земной...», так была похожа на мою тетрадку, в которой были записаны моей рукой уже известные ему «Соловьи».

А потом была целая жизнь поисков, споров, путешествий, взаимных надежд и разочарований. Целая жизнь!

И вот его не стало.

Он упал, как пулей подкошенный. Упал и не поднялся.

Упал. И на скошенном войной, уже покрытом зимним снегом белом поле поколения ровесников Революции стало еще пустыннее и холоднее, потому что его пронзительная песня была заметным знаком духовной беззаветности этого героического поколения. Она, как былинка, наперекор всем ветрам и вьюгам качала непокорной головой над пластом наста и всем своим одиночеством кричала о могучей весне, о будущем буйном цветении разнотравья, вставшего навстречу дьявольскому огню смерти и смертью своею сохранившего зерно жизни.

Больше нет Сергея Орлова.

Нет его, жженого, стреляного, нежного и верного! Сколько ни оглядывайся — не увидишь.

У него был чуткий поэтический талант, закаленный опытом мужества. Он был истинным сыном народа; песня его души — это приветствие и напутствие грядущему, спасенному подвигом его поколения.

Безымянных солдат не бывает. Об этом он знал и помнил. У каждого из двадцати миллионов, погибших в огненной круговерти войны, были мать и отец, были имя, отчество и фамилия.

Сергей Сергеевич Орлов — солдат и поэт, верный долгу жизни и совести, славой слова своего и подвигом судьбы своей остается в душе поэзии русского языка, в душе поэзии русского характера.

Я не знаю, куда она затерялась, эта самая медаль «За оборону Ленинграда», его, Сергея Орлова, медаль, которую он мне показывал, медаль искореженная и смятая. Когда она была новой, он носил ее над левым карманом гимнастерки, над сердцем. И она защитила его от смертельного осколка в бою. Осколок смял ее и исковеркал ее вместе с комсомольским билетом, но сердце тогда осталось целым.

И вот сердце его треснуло, и никакой врач уже не мог его спасти.

Это сердце умело заботиться только о других. Так уж оно было устроено, это сердце. Великое сердце.

Оно треснуло от перегрузки. Треснуло и сломалось. И тихий звук, как колокольный звон, идет по белому полю скошенного войной поколения, идет и колеблет редкие жесткие былинки, поднимающиеся над снегом.

Их стало на одну меньше в белом чистом поле.

Пройдут годы, но душа моя до самого последнего вздоха на этой земле так и не примирится с тем, что его не будет.

Мне этому не поверить.

И что из того, что не его, Сергея Орлова, губы, а мои говорят слова, принадлежащие только ему:

Я требую немногого,
Немногого хочу —
Планету за порогом,
Всю в солнце, как бахчу.
...Да может быть — травинку
С росинкой в желобке,
Травинку с паутинкой,
Одну на сквозняке,—
Когда мой сын не старый,
Да и не молодой,
Со мной прощаться станет,
Обросшим бородой.

Что из того, повторяю я, что эти слова говорит не он, а я,— все равно они живут в мире и вечно будут только его словами, живут на планете, похожей на солнечную бахчу, и в малой капельке росы, застрявшей в ложбинке малой травинки, в маленькой капельке росы, отражающей большое солнце.

## *Годы детства*

В детстве я и Сергей Орлов вместе часто проводили целые дни и недели. Наши родители были учителями, и семьи дружили, хотя моя мать работала учительницей в деревне Орлово Ковжского сельсовета, а семья Орловых жила в селе Мегра. Село Мегра в двадцатых годах было большим, культурным: имелись школа-четырехлетка, медпункт, изба-читальня, паровая мельница, которая давала и электросвет на село.

С перенесением шлюза в Мегру из поселка Круглое Мегра стала одним из связующих пунктов с районным центром. В этот период шло становление школы на новые советские методы обучения. Учителя близлежащих школ на кустовые методические совещания собирались в Мегринскую школу и работали здесь по неделе. Я слышала от матери, что они составляли планы и переписывали новые программы. Меня мать всегда брала с собой. Жили мы эту неделю в семье Екатерины Яковлевны Шаровой (фамилия по второму мужу) — матери Сергея Орлова.

У Сергея была старше нас сестра Ариадна, а позднее появился братишка Дима, от которого Сергей был в восторге. Когда Дима научился брать игрушки, брат никогда его не обижал и играл с ним охотно. Я и Ариадна, как и положено девочкам, играли в куклы. Сергей возился с машинами — невиданными игрушками в деревне того времени. Посылали ему их родственники из Ленинграда и привозил из командировок отчим. Были у Сергея цветные железные трамваи, троллейбусы, автомобиль и даже танк. Он с удовольствием катал наших кукол, но любил играть и один со своими машинами. Может, эта с детства любовь к машинам и сделала его водителем-танкистом?

Сергей любил не только машины, но и природу. Помню, приехали мы к ним летом. Подбегает он ко мне, берет за руку и говорит: «Пойдем, Ася, я тебе десятину нашу покажу, а цветов сколько на ней!» И мы бегом помчались на луг, который шел сразу от школьного двора к Белому озеру. Вероятно, был конец июня, трава была еще не скошена и скрывала нас до плеч. Сергей начал называть цветы. Знал он их очень много, но не рвал, как-то

ласково гладил каждый цветочек, называя его. Домой вернулись мокрые от росы, но без букета.

Его отчим Иван Дмитриевич Шаров работал избачом. Надвигались годы коллективизации. Работы на селе было невпроворот. Но дома он всегда уделял Сергею много времени. Говорил с ним на равных, как мужчина с мужчиной. Возился с ним около машин-игрушек. Всегда подробно отвечал на любопытные вопросы Сергея.

Помнится, когда Сергей пошел в первый класс, то учился он очень хорошо, и Екатерина Яковлевна часто говорила, что Сергей обгонит Ариадну в каком-нибудь классе, так как той учеба давалась трудно по состоянию здоровья. Точно не скажу, но, кажется, так и получилось.

В дальнейшие годы учебы я перестала встречаться с Сергеем. Мы стали жить в двух километрах от Мегры, в деревне Шунжебой. Когда я бывала у них, то чаще всегда после школы Сергея уже не было дома. У него появились друзья-мальчишки. Взрослыми, к сожалению, встретиться тоже не пришлось.

СЕРГЕЙ
ВИКУЛОВ

# Родина поэта

Светлый север, лес дремучий
В узорочье, в серебре...
Как медведи, в небе тучи
Черно-буры на заре.

Ели — словно колокольни,
Тишина, как спирт, хмельна,
И из трав встает над полем
Рыжим филином луна.

Пенье вёсел, скрип уключин,
Рокот журавлиных стай...
Не скажу, что — самый лучший,
А милей всех сердцу край!

*Сергей Орлов*

Кто хочет понять поэта, должен отправиться на его родину.

*Гёте*

В 1933 году, в начале лета, семья наша переезжала на новое место жительства — в село Мегра. Дорога предстояла недальняя: двенадцать километров на телеге до Куности — ближайшей от моей родины пристани на Белозерском обводном канале — и двадцать восемь на пароходе, но мне, тогда десятилетнему мальчишке, нигде дальше Белозерска не бывавшему (Белозерск от нашей деревни Емельяновской находится в двадцати километрах), предстоящий путь виделся бесконечно далеким и потому волнующим, увлекательным: ведь после телеги, думал я, будет пароход, двухпалубный белый красавец, видеть который мне к тому времени уже доводилось. Отец раз или два брал меня в город, когда ездил туда на ярмарку продать дров или еще какой-нибудь немудрящий крестьянский товар.

После родной деревушки, раскинувшейся одной улкой по отлогому склону увала, отдаленной от рек и озер, не слышавшей от века ни пароходного, ни паровозного гудка (до железной дороги от нас было еще дальше — сто двадцать километров), село Мегра показалось мне необыкновенно большим, красивым и веселым до восторга! Канал, по которому вез нас пароход, влетал в Мегру как голубая стрела. Правда, стрела эта поначалу упиралась в шлюз,

затем пересекала реку, еще километр или чуть больше летела меж деревянных посадов и тонкой ниточкой исчезала где-то вдали, на пути к следующей реке — Ковже. От Куности, где мы сели на пароход, и до самой Мегры летела эта стрела, не теряя из виду старшего брата — Белого озера. В самом селе между каналом и озером было не более километра, и когда пароход швартовался к шлюзу, с палубы озеро было видно как на ладони... Впрочем, ни на какой ладони оно не смогло бы уместиться: широкое, как море, все в «беляках» — белых барашках волн, оно не имело берегов. Виден был с палубы и единственный на все село белый кирпичный дом, построенный, как мне стало потом известно, в ту пору, когда прокладывался канал. В этом доме — и это я тоже узнал после — в двадцатые годы была школа, а у Екатерины Яковлевны и Сергея Николаевича Орловых, учителей этой школы, 22 августа 1921 года родился Сергей. Не знал я в ту минуту и о том, что теперь в этом доме расположена сельская больница и скоро в левом крыле его доведется жить нашей семье.

«Сколько воды! — не уставал радоваться я, стоя на палубе парохода.— Канал, река, озеро...»

А в самом центре села виднелись пристань, отводная «лава», мост через реку, запонь, лесная биржа и лодки, лодки, плеск весел, скрип уключин, а в озере — белые паруса, а в устье реки — тоже белая, с высокой колокольней, церковь. Красотища!

Вода меня радовала особенно: ведь в Емельяновской, чтобы закинуть удочку, надо было идти четыре с лишним километра через лес да болото до Наумовского озера, а тут — хоть из окна лови. Ребятишки — где кто жил, там и рыбачили: рыба брала и в канале, и в реке... Еще больше ее было, конечно, в озере, но там почти всегда гуляла большая, накатистая волна, и с удочками в озеро соваться было не принято. Там ставили только сети и «наўдные» — длиннющие переметы, на каждом по триста и больше крючков, наживленных кусочками свежей чехони.

Позже довелось познать мне радость и этого лова — боже, каких судаков и щук сажало озеро на крючки! Бывало, подтаскиваешь к лодке одного, килограммов этак на пять — семь, а следующие уже спину показывают совсем неподалеку от кормы, смирные уже, равнодушные,— за ночь набушевались, обессилели. И только щуки до последнего не хотели мириться с судьбой. Уже за пятьдесят —

сто метров от лодки начинали рваться с крючка, выпрыгивая из воды этакими черными фонтанами. Рыбак на мгновение оживлялся, увидев такое, но тут же отворачивался, будто это его и не касалось, и подведя очередного судака к корме, поддевал его саком, бросал к ногам, затем, приподняв за лесу, зажимал между колен, ловко совал в пасть деревянную лопатку, высвобождая крючок, стукал колотушкой рыбину по голове и, мелко подрагивающую, толкал ногой на середину лодки.

Хорошо, коль озеро на заре утихомирилось и лишь покачивает лодку легкой зыбью, ну а если волны хлещут по борту, да так, что окачивают тебя с головы до пят?! Ох какой сноровкой надо обладать и тому, кто тянет перемет, и особенно тому, кто сидит на веслах... Да и смелостью тоже. Озеро не прощало никому легкомысленного к себе отношения; если не уверен, что оно в ближайшие два-три часа не заштормит — лучше сиди на берегу. Колхозные рыбаки, которым «ждать у моря погоды» было некогда, выходили в озеро только на «двойках» — больших, с высокими бортами, спаренных лодках, похожих на нынешние катамараны. «Двойки» опрокинуть было почти невозможно, но и они, захваченные бурей в озере, нередко оказывались на противоположном берегу, километров этак за сорок — пятьдесят от Мегры...

Зимой колхозные рыбаки занимались подледным ловом. Техника этого лова заключалась в следующем. В озере, далеко от берега, в примеченном издавна квадрате, пешали (от слова «пешня») проруби, метров на двадцать одна от другой по кругу. Потом от проруби к проруби гибким нарощенным шестом протаскивали подо льдом сеть, чтобы образовался замкнутый круг. Затем пешали проруби по кругу меньшего диаметра и сети переводили на этот круг. И так до тех пор, пока вся рыба, охваченная первым кругом, не оказывалась в центре.

Над центром прорубали купель размером с кузов грузовой машины, сооружали «подъемный кран» наподобие колодезного журавля, только не с ведром, а с огромным саком на конце, подтягивали последний раз мотню — так, чтобы рыба в проруби «стоймя стояла», и начинали ее черпать. Подъезжала лошадь, запряженная в розвальни, сак опускался в прорубь, поддевал сколько мог рыбы, на миг тяжело зависал над розвальнями и тут же опоражнивался...

Очередной воз судаков и лещей, поскрипывая полозьями, отправлялся к берегу. А там....

Однажды рыбы попало так много, что пришлось валить ее по берегам реки, прямо на снег, начиная от устья и вплоть до первого моста. Так двумя кострами рыба и грудилась, пока не перевезли ее в Белозерск, а оттуда — в Вологду, в Москву, в Ленинград.

Неудивительно, что все мальчишки в селе Мегра росли рыбаками. Поначалу, лет до четырнадцати, бегали с удочками, ставили жерлицы и переметы в реке и в канале, а с пятнадцати лет уже вывозили в озеро мережи-ершовки — с ними далеко от берега уплывать не было необходимости: ерши, окуни, язи, плотва, чехонь, ряпус хорошо ловились и у берега, — а повзрослев, уже выезжали с наудными, под парусом, этак за десять — пятнадцать километров от берега, вполне отдавая себе отчет в рискованности подобного предприятия. Не все из них знали тогда слова песни: «Будет буря — мы поспорим и помужествуем с ней», но именно с таким чувством поднимали они паруса, выплывая из устья Мегры в озеро.

Сережа Орлов (тогда — Гунька Шаров, по фамилии отчима), конечно, тоже не был исключением среди мегринских ребят. Страсть к рыбалке поднимала не раз и его ни свет ни заря с постели и подарила ему не одну благословенную зорьку и ночной костер, когда, сговорившись заранее, ребята вообще не ложились спать и в темноте закидывали удочки и переметы, надеясь подцепить или голавля, или налима, которые, в отличие от других рыб, ночью не спали, брали иногда на червя и особенно охотно — на лягушонка. Вся забота в такую ночь была лишь о том, чтобы отбиться от ершей-ершовичей, — эти ночью пировали в свое удовольствие, не имея серьезной конкуренции со стороны окуней и плотвы.

Впрочем, рыба как улов, как будущая уха или пирог мегринских ребят занимала не очень, потому что в таком рыбацком селе, где почти каждый имел полный набор сетей для лова и лодку, «достать» хорошего судака или леща не составляло труда. Мальчишек привлекала романтика таких рыбалок. Возле ночного костра так необычно звучали истории, то ли услышанные кем-то от взрослых, то ли вычитанные из книг.

Что касается последних, то тут у Сережи Орлова не было равных. Сын нашей учительницы «по русскому языку и литературе», он, видимо, раньше всех нас, крестьянских детей, пристрастился к чтению, да и школьная библиотека у него была всегда под рукой,— жили они, Шаровы, при школе.

Чудное это было занятие — ночные рыбалки. Шаманят перед глазами желтые языки костра, высоко в небо взлетают и гаснут искры, а на бечевнике, у пристани, по ночному затишью хорошо слышная, звенит и звенит гармонь — ребята с девчонками пляшут «ланчика». Танец этот такой, что позволяет каждому показать все, на что он способен. Каждая фигура начинается с того, что парень выводит девушку-партнершу навстречу другой паре, непременно «дробя» при этом, да так, что половицы на пристани и в самом деле, кажется, гнутся, а «дробь» эта слышна за три версты.

Пора сенокосная, отцы и матери давно спят, ухряставшись на лугах, а молодежь словно весь день только того и ждала — поплясать. Да еще попеть. Частушки так ловко укладывались под «дробь», так высоко поднимались голосистыми девками, что холодело, сладко посасывало под ложечкой.

Уже на рассвете, когда на востоке обозначалась ломаная линия горизонта, гармонь, последний раз пройдя по бечевнику, сворачивала в улицу и, все еще слышная, начинала удаляться, удаляться, пока не стихала совсем, где-то далеко-далеко, на том конце села, у озера.

Звонко свистнет буксир на канале, тянущий плоты, ему откликнется другой. И тишина ляжет наконец на землю. Скоро от дома к дому пойдет бригадир: «Марья, спишь? Давай бери косу да выходи!»

Сережа Орлов гуляньями на пристани особенно не был увлечен, хотя его ровесники, случалось, до поздней ночи шалопайничали на пристани, еще не участвуя в плясках, но вполне соображая, что к чему, и хорошо знали, какая девка с каким парнем «гуляет» или какой парень за какой девкой «бегает». Да мало ли «секретов» можно было узнать на пристани, особенно в праздники, когда на бечевник уже в середине дня высыпало буквально все село. Девки, подхватив друг друга под руки, по восемь — десять в ряд, с гармонистом посредине,— и от того особенно счастливые! — в самых лучших нарядах ходили по бечевнику и голосисто, все вместе, швыряли в праздничную толпу одну за другой частушки, которых они знали бесчисленное множество.

Ягодиночка на льдиночке,
На том берегу.
Перекинь, милой, тесиночку,
К тебе перебегу.

Ребята, уже подвыпившие, разгоряченные, не умея сдержать буйствующую в них молодую силу, «гуляли» на особинку, сбившись в кучу, в «шатию» (было такое в деревне словцо), и тоже с гармонистом посредине, и тоже с частушками, но уже из другого репертуара:

Наша маленькая шатия
Под сорок человек,
Нашу маленькую шатию
Никто не тронет ввек.

Один, а то и двое шли впереди гармониста вприпляску, выделывая самые замысловатые коленца. Рубахи нараспашку, чубы на глаза, и из-под сапог — летучим прахом пыль, пыль...

Внушительная картина!

И не дай бог, если встречная «шатия», особенно из другой деревни, хотя бы одного из них заденет плечом...

Что греха таить, бывало и такое. И тогда трещали рубахи, визжали девки и бабы, повиснув на плечах разгоряченных драчунов... Смелости девок и баб в такие минуты, ей-богу, нельзя было не подивиться. Как в горящую избу, бросались в самую гущу дерущихся, бросались, не боясь, что чем-нибудь заденет и их, и, диво, тушили смертный огонь драки, растаскивали парней в разные стороны...

Теперь, уже задним числом, я понимаю, что их действия были единственно возможными в тех безрассудных и диких потасовках. Ведь если бы разнимать бросились мужики, считай, что это только подлило бы масла в огонь, свалка только увеличилась бы и ни за что не кончилась бы добром... А тут — девки, каждая в страхе за жизнь своего любимого, и матери — за своих сынов, и тем и другим надо в эту минуту одно — отвести беду от них, а уж о себе подумать потом.

Видимо, где-то в глубине души понимали это и парни, и я не помню случая, чтобы кто-то из них в такой свалке поднял руку на женщин. И хотя парни рвались, как тигры, пытаясь стряхнуть женщин с плеч, высвободить руки, а в душе, мне думается, были все же благодарны им за вмешательство, в результате которого и «рожа» осталась цела, и самолюбие не пострадало: в трусости никто не обвинит...

Подростки, когда бечевник взрывался ревом и бабьими взвизгами, как воробьи, слетались к месту драки, гля-

дели, то приближаясь к ней, то отскакивая в сторону, и после, когда все стихало, выпучив глаза, пересказывали друг другу детали схватки.

Не могу сейчас вспомнить, бывал ли среди них Сережа Орлов. Скорей всего, не бывал. Он был, как я уже говорил, страстным книгочеем, что постоянно подчеркивает, рассказывая теперь о тех годах, и Екатерина Яковлевна, его мать. А кроме того, в ту пору как раз он увлекался конструированием радиоприемников. При школе квартировал его сверстник, сын «технички» Боря Хохряков — мальчишка тоже очень живой и сообразительный. Неизвестно, кому из них взбрело в голову собрать радиоприемник, но занимались они этим делом долго и увлеченно.

Но и конструирования Сереже было мало. Природный дар, которым он был наделен, стихийно искал себе выхода. На какое-то время он вдруг увлекся лепкой из глины. Но началась зима, глина кончилась, и он взялся за краски. Я запомнил выставку рисунков учеников, на которой очень выделялся акварельный рисунок Сережи Орлова — Чапаев в летящей по ветру бурке на белом коне.

Примерно в 1934 году, когда Сережа учился в шестом классе, в Мегру приехал новый учитель по алгебре и геометрии — ленинградец Василий Платонович Нилов. Было ему тогда, наверное, лет двадцать пять, но нам, мальчишкам, он казался уже совсем взрослым человеком. Поселился новый учитель в комнатке при школе и, ясно, сразу же сблизился с семьей Шаровых. Бесспорно обладавший незаурядным талантом педагога и воспитателя, он сразу же завоевал непререкаемый авторитет среди нас, его учеников. Уроки алгебры и геометрии стали любимыми даже для тех, кто ранее их ненавидел.

Но диво — он, математик, сумел увлечь нас еще и художественной самодеятельностью. Не имевшие понятия о театре, мы через год стали разыгрывать «Каменного гостя» А. С. Пушкина, «Думу про Опанаса» Э. Багрицкого сначала на школьной сцене, а потом и на сцене только что открывшегося сельского клуба.

Под клуб в селе Мегра, как и во многих других селах и деревнях, была отдана церковь, после того как с колокольни спилили крест, вместо него водрузив флаг из жести, и сбросили колокола — в тридцатые годы такое событие считалось заурядным.

Впрочем, как я догадываюсь сейчас, не всеми... Помню, как старые женщины, да и не только они, глядя издали на высокую колокольню, в проемах которой работали мужики с железными ломами, крестились и утирали уголочками фартуков слезы. Мы, мальчишки, смеялись над ними: дескать, нашли чего жалеть! Вот уж действительно темные... Ведь религия-то — что? Опиум для народа!.. Да где им знать, неученым...

Колокола, видимо, сразу же были увезены, потому что я их не помню. А вот крест с колокольни долго торчал между могилами, глубоко вонзившись в землю. Потом его кто-то откопал, и сельские парни сразу нашли ему новое применение — стали пробовать на нем свою силу: кто сколько раз приподымет крест от земли за спиленную железную ногу.

Куда девались из церкви иконы — тоже не знаю. О ценности икон в свои тринадцать-четырнадцать лет я понятия не имел и потому, наверное, и не поинтересовался.

Зато хорошо помню, что в церкви вскоре была сооружена неплохая сцена с занавесом на проволоке, повешены портреты и лозунги, а перед сценой поставлены новые крашеные скамейки, которые хороши были тем, что их запросто можно было сгрудить возле стен, когда дело доходило до «ланчика». Ох как здорово было топать парням под высоким куполообразным сводом этого зала! Гром стоял неописуемый...

Но это все было потом. Я же завел речь о клубе в связи с его открытием. Так вот, местное руководство, опасаясь, видимо, что люди в клуб не придут, решило приурочить к этому событию наш спектакль «Дума про Опанаса». Роль комиссара Когана в этом спектакле играл я, Опанаса — мой одноклассник Коля Поляков. Странно, но мы почему-то не волновались, узнав о предстоящей премьере на клубной сцене. Просто не умели, видимо, еще волноваться: ведь нам было тогда всего по четырнадцать лет. Наоборот, Николай Поляков был даже в очень приподнятом настроении. Возбужденно жестикулируя, он сказал мне, что ружье зарядит настоящим патроном, только без дроби. По ходу действия он должен был стрелять в меня — комиссара Когана. «Знаешь, как здорово будет! — ликовал он.— Трахнет так, что все подпрыгнут! А ты падай, только по-настоящему!»

Я согласился. Ружье в тот вечер действительно «трахнуло» здорово, говорят, аж галки с крестов взлетели: на куполах собора кресты не были спилены. А крестьяне

очень хвалили Василия Платоновича Нилова за представление и просили показать его и для тех, кто отсиживался в этот вечер дома.

Сережа Орлов в спектакле не участвовал. Да В. П. Нилов не очень, видимо, и тащил его на сцену. Каждый вечер общаясь с ним, он не мог, я думаю, не заметить незаурядность его натуры, способность по-своему воспринимать мир, глубоко и оригинально мыслить.

Гуляли они как-то вокруг школы поздним вечером, и Василий Платонович завел разговор о звездах, мириадами мерцавших над их головами. И лишил юного собеседника покоя. Тайны мироздания, как рассказывает Екатерина Яковлевна, его буквально захватили. Он прочитал все, какие имелись, книги по астрономии и вскоре изложил Василию Платоновичу свою теорию о происхождении разума на земле. Кстати, не забывал он эту теорию и в зрелые годы. Незаконченная поэма о Циолковском — тому свидетельство.

Космические мотивы присутствуют во многих стихах послевоенной поры:

За слоем Хивсайда, за легкою пылью
Земной атмосферы безмолвье звучит.
Холодная вечность, дремучие крылья
Расправив, в мирах беспредельных парит.

Планеты плывут по орбитам с шуршаньем,
И где-то кометы, хвосты распустив,
Летят по путям громовым мирозданья,
Маршруты, как шпаги стальные, скрестив.

Дороги еще не изведаны эти,
Но время идет непреклонной судьбы,
Придет человек — от планеты к планете
Протянутся вдаль верстовые столбы.

(1946)

А в 1945 году он напишет и совсем пророческие строки:

Мы еще на дальние планеты
Корабли Союза поведем,
Слесари, танкисты и поэты,
Мы на желтую Луну взойдем.

Когда были написаны Сережей Орловым первые стихи, вернее, зарифмованы первые две строчки? К сожалению, я не успел спросить его об этом. Мать поэта Екатерина Яковлевна рассказывает, что помнит Сережины

стихи в школьной стенгазете, когда он учился в пятом — седьмом классах.

Семилетку, Мегринскую ШКМ (школу колхозной молодежи), Сережа закончил в 1936 году, когда ему шел пятнадцатый год. Значит, стихи он начал писать раньше, возможно с двенадцати лет, с пятого класса.

В 1936 году семья Шаровых переехала в город Белозерск, по месту работы отчима. Древний, со множеством церквей и земляной крепостью городок стоял на самом берегу Белого озера, отделенный от него голубым лезвием обводного канала, входившего в знаменитую на Севере России Мариинскую водную систему. Земляной вал был, пожалуй, главной примечательностью тихого районного городка, излюбленным местом для прогулок его жителей, и особенно молодежи. Озеро, если на него глядеть с вала, кажется, встает перед тобой стеной, в тихую погоду — синее, но чаще все-таки белое — от белой воды, белых волн, ослепительно сверкавших на солнце. А в валу, рядом с величественным Спасо-Преображенским собором и еще какой-то церковкой, стояло белое кирпичное здание — до революции дворянское собрание, а теперь школа-десятилетка, в восьмой класс которой осенью 1936 года и поступил Сережа Орлов.

Однако поучиться ему в этот год не пришлось. Пятнадцатилетний подросток, сильно вытянувшийся за последний год, он был очень худ, бледен, жаловался на боли в области сердца, уставал от быстрой ходьбы, плохо спал...

Впрочем, спал плохо он не из-за сердца. Екатерина Яковлевна рассказывает, что ей почти каждую ночь приходилось буквально воевать с сыном, чтобы заставить бросить книгу, потушить свет и лечь спать. Но никакие строгости не помогали. «Сейчас, мама...» — скажет, торопливо переворачивая страницу. И это «сейчас» затягивалось, как правило, до двух-трех часов ночи.

Утром — другая беда: невыспавшийся, он не успевал к началу занятий в школе. При таком режиме, ясно, состояние его здоровья не улучшалось. И врач посоветовал прервать на год занятия и во что бы то ни стало достать путевку в санаторий.

Из Сестрорецка, где находился санаторий, Сережа вернулся окрепшим, бодрым и, как запомнилось матери, заметно возмужавшим. В восьмой класс, было решено, он поступит снова, осенью 1937 года. А пока шла зима, пушистая от снегов, морозная, а главное — свободная от

школьных занятий, и можно было целиком отдаться книгам и... стихам!

Думаю, что именно в эту зиму Сережа начал писать по-настоящему — писать серьезно и по-юношески одержимо, потому что в следующую зиму, когда в Белозерск приехал и я, поступив в педучилище, он предстал передо мной уже как автор многих стихотворений, напечатанных в газете «Белозерский колхозник». Невелика трибуна — районная газета, но та доброжелательность, та атмосфера внимания и поддержки, которая царила тогда в редакции, уверен, сыграли огромную, если не решающую, роль в развитии поэтического дарования Сережи Орлова.

А привел его впервые в эту редакцию его новый школьный товарищ — коренной белозёр Леня Бурков. Екатерина Яковлевна рассказывала: «Сам Сережа ни за что бы не осмелился зайти в редакцию со стихами — такой он был несмелый и застенчивый». Бурков же, по натуре расторопный, а главное — искренний в дружбе, лишенный чувства зависти, готовый сделать для друга все, буквально за рукав затащил его в редакцию, в которой в то время работал тоже совсем молодой еще Саша Абанин, ставший с того дня и на долгие годы ближайшим другом поэта. Почувствовав в нем большой талант, А. Абанин стал активно «продвигать» на страницы газеты его стихи, давать ему задания написать заметку, репортаж, фельетон. И радовался, что все у него получалось хорошо, по-юношески свежо и задиристо.

Запомнилась одна из встреч с Сережей, состоявшаяся то ли в 1938-м, то ли в 1939 году. Он уже знал, что я тоже пишу, и потому, поздоровавшись, первым делом спросил: «Новые стишки есть?» У меня новых было мало — два-три стихотворения об осени и своем лесном озере... Он прослушал их и сказал: «Больше, Серега, надо писать, больше!»

Сказал убежденно, наставительно, поскольку, как я теперь понимаю, осознавал свое право на это: сам он в ту пору писал очень много, писал увлеченно, а главное — «складно, красиво»... Одним словом, здорово писал, мастеровито!

И если для несведущих людей было дивом опубликованное в 1938 году сообщение о присуждении Сереже Орлову, ученику восьмого класса Белозерской средней школы, первой премии за стихотворение «Тыква» на всесоюзном конкурсе школьников на лучшее стихотворение,

то для меня и остальных близких его друзей — отнюдь нет.

Екатерина Яковлевна рассказывает:

«На конкурс Сережа послал три стихотворения: «Тыква», «В огороде» и «Дождик». У него много было таких стихов к тому времени. Вскоре из Москвы пришла посылка — полное собрание сочинений А. С. Пушкина, Сытинское издание. Премия за «Тыкву». Я, как учительница, обрадовалась, а Сережа сказал разочарованно: «Пушкин... Лучше бы Маяковского прислали...» Не знаю, почему он так сказал, но сказал именно так. Может быть, потому, что Пушкина он уже знал — только что страна отметила столетие со дня гибели поэта, и в связи с этой датой было издано много книг с избранными его стихами и поэмами. Пушкина читали в каждом доме. И все-таки самым популярным в те годы, особенно среди молодежи, был Маяковский. Потому, наверное, Сереже и хотелось иметь собрание его сочинений».

Литературная премия, да еще такого высокого ранга, для семнадцатилетнего поэта значила очень много. Она придала ему уверенности и, если хотите, дерзости, сделала его серьезней, даже взрослее. Он понял, в чем, так сказать, «соль стихотворства»: техника — да, но и образность!

Найти точный поэтический образ, а главное — свежий, незатасканный, для него теперь становится той самой сладкой мукой, которая хорошо известна подлинным творцам, мукой, без которой и радости в творчестве не бывает. Не все еще стихи Сергея Орлова тех, предвоенных лет собраны и прочитаны нами, но и из тех, которые уже известны, можно бесконечно цитировать строчки и строфы, подтверждающие изложенную выше мысль. У юного Сережи Орлова был очень зоркий поэтический глаз, свое, орловское, видение мира.

Вот, например, каким предстает перед ним огород, когда он, юный поэт, останавливается между грядками с ведром воды:

Вдали, поднявшись словно флаг
Над боевым парадом,
Пылает ярко-красный мак
С горошком светлым рядом.

Горошек закрутил усы —
Он выглядит гусаром:
Напившись допьяна росы,
Стоит вояка старый.

О дожде есть такие строчки:

Он шел по хлебам — шелковистым, густым,
Обрызгав до пят опаленные рощи...

О летней ночи:

Давным-давно огни погасли в хатах,
А коростель скрипит во ржи, скрипит...
Над полем месяц, тонкий и горбатый,
Как будто серп на гвоздике, висит.

Хлеб жала девка, тяжко пояснице,
Окутал землю вечер полутьмой.
Серп на звезду ближайшую, как спицу,
Повесила и спать ушла домой.

А вот о летней же ночи — образ космического масштаба:

Не дергач скрипел во ржи зеленой,
То земная скрежетала ось.

О капитане, буксирующем в ненастную ночь караван судов:

Как будто весь из черного железа,
Стоит он в прорезиненном плаще.

О водолазе и о том, что он видит, бредя по дну реки:

В голубоватой мгле реки,
Кзк дождь серебряный, мальки...

Вообще, юный поэт очень любит реку и ищет новые и новые выразительные средства, чтобы передать свое очарование ею:

Кувшинки, как следы зверей
Никем не виданной породы,—
Они, должно быть, на заре
Прошествовали здесь по водам...

А там, в прозрачной глубине,
Сиги проходят голубые,
Ерши с короной на спине,
Лещи, как плахи золотые...

Я выписал лишь некоторые строчки из имевшихся у меня под рукой стихотворений тех лет (1937—1940 гг.). Все они — белозерской поры... А ведь за Белозерском были Петрозаводск и первый курс университета (1940—1941 гг.), а значит, были и новые, еще более зрелые стихи...

К чему я все это говорю?

А к тому, чтобы подчеркнуть как несомненный факт, что Сергей Орлов на войну ушел поэтом!

Никто в России об этом событии еще не знал. Не знала, может быть, даже его мать: для нее пока он был просто любимым старшим сыном, умеющим, кроме всего прочего, еще и писать стишки.

Но сам Сергей Орлов, мне думается, это знал. Знал тайно, но твердо!

Без этого знания мы бы не имели тех, скажем прямо, выдающихся стихов о героических буднях Великой войны, которые составили потом его первую книжку «Третья скорость», вышедшую в 1946 году в Лениздате.

Родину, старинный заснеженный городок, которому он был обязан и первыми стихами, и первой любовью, поэт не забыл и на фронте. Наоборот, чувство сыновней любви там еще более обострилось. Еще раз увидеть родину — это становится самой заветной мечтой молодого поэта, командира тяжелых танков Сергея Орлова, сражавшегося на Ленинградском фронте.

Екатерина Яковлевна, мать поэта, в разговоре со мной (это было в октябре 1978 года) между прочим вспомнила, как он, ее Сережа, уже не студент — солдат (об этом она знала из его коротеньких писем), зимой 1942 года неожиданно нагрянул домой, в Белозерск. Оказывается, эшелон, с которым он следовал к фронту, по какой-то причине на двое суток остановился в Череповце. Сереже — не жить, не быть — захотелось домой. Хоть на час!.. Рассказал об этом своему командиру. Смущаясь, краснея: боялся — не поймет... Но тот понял...

Сто километров от Череповца до Белозерска... И летом не близко. А тут зима... Машинная, не очень наезженная колея то и дело врезается в сугробы, на открытых местах ее почти не видно: замело... Как уж он добирался до Белозерска — одному богу известно. Екатерина Яковлевна помнит только, как всплеснула она руками, увидев его в дверях, в черном танкистском комбинезоне, перетянутом портупеей, измученного, но счастливого... Прижалась она к нему, радуясь и недоумевая, порываясь помочь ему раздеться, а он: «Погоди, мама, дай маленько посижу...»

И сел, и откинул голову к стене, и вытянул ноги... «Уф... Дома!»

Спать почти не пришлось — так много надо было сказать друг другу. А утром, на рассвете, он вышел из дома и торопливо, тревожно зашагал по улице, светившейся

чуть желтоватыми, промерзшими окнами, туда, где начиналась дорога на Череповец... Машин попутных не было. Он шел, постоянно оборачиваясь, прислушиваясь к морозной утренней тишине. Только через два часа нагнала его наконец грузовая полуторка, он поднял руку... и машина промелькнула мимо, обдав его снежной пылью. Следующую он заметил издалека. Вынул пистолет из кобуры, встал как вкопанный посредине дороги...

Уехал.

Об этом он рассказал матери уже после войны.

Родина — село Мегра и город Белозерск — для Сергея Орлова во все времена была в полном смысле *живительным источником его Поэзии.* Можно было бы составить длинный список из названий его стихотворений, посвященных родному краю. Были даже целые книги, составленные в основном из стихов о Белозерске и белозерах — его земляках, о селе Мегра («Городок», 1953 г.). А однотомник, самый полный из всех, вышедший в 1975 году, он назвал «Белое озеро».

Мегра тянула его к себе даже и после того, как она в связи со строительством Волго-Балта была снесена и затоплена.

С грустью писал он об этом в одном из стихотворений той поры:

. . . . . . . . . . . . .
Моей деревни больше нету.
Она жила без счета лет,
Как луг, как небо, бор и ветер,—
Теперь ее на свете нет...

. . . . . . . . . . . . . .
Плывут над ней, взрывая воды,
Не зная, что она была,
Белы, как солнце, теплоходы,
Планеты стали и стекла...

. . . . . . . . . . . . . .
И я пройду по дну всю пойму,
Как под водой ни тяжело.
Я все потопленное помню,
Я слышу звон колоколов...

В 1971 году Сергей Орлов переехал на постоянное жительство в Москву, оставив ленинградскую квартиру сыну с невесткой и внуком и матери. Московская квартирка на улице Крупской оказалась совсем недалеко от моей — пятнадцать — двадцать минут на троллейбусе или автобусе. Судьба снова соединила нас.

Было очень много встреч и в моем, и в его доме, разговоров об общих теперь литературных заботах... Но о чем бы мы ни говорили, а заканчивали неизменно одним и тем же — воспоминаниями о родине. Вспоминали давние и недавние поездки, строили планы: «В это лето обязательно поедем! Вместе! Возьмем, конечно, и жен, если ничто не помешает...»

Но вот приближался назначенный срок.

— Сережа, ты не забыл? — начинал я беспокоить его и при встречах, и по телефону.

— Поеду, Серега, а как же... Мне надо... Я должен съездить! Ведь я же давно ничего не пишу. А Белозерск — сам знаешь, что такое для нас Белозерск...

— Ну смотри... — сомневался я.

— Да я тебе говорю — поеду! Мне же книжку надо сдавать. Съезжу — стишки пойдут, я уверен в этом!

Эти и подобные этим слова я слышал от него не раз и привожу их почти дословно для того, чтобы показать, как много значила для него даже и в последние годы встреча с родиной, с Белозерском — «тихой районной столицей».

Но... У летних месяцев была своя жизненная логика.

Летом Сергей всю семью — и внука Степу, и маму, и больного тестя — всех собирал на подмосковной «казенной» дачке. Многочисленные заботы, связанные с переездом на дачу, сваливались, конечно, на него: он должен был взять напрокат холодильник, закупить продуктов, напилить и наколоть дров (ночами на даче было холодно), достать необходимые лекарства, вызвать врача, а то и «скорую помощь»...

И это все при тех сложных и хлопотливых обязанностях, которые накладывала на него должность «рабочего» секретаря правления Союза писателей РСФСР.

— Сережа! — кричал я ему, бывало, по телефону. — Неделя остается до отъезда. Я заказываю билеты. Как ты? Поедешь?

— Не получается у меня, к сожалению... — глухо, с большой грустью в голосе отвечал он. — У Степки опять воспаление легких, уколы делают... Да и старики... сам знаешь...— И вдруг, как утопающий за соломинку: — Ты на сколько едешь туда? На месяц? Ну, тогда все в порядке! Тогда я подскачу... Ведь мне же надо... Просто по улочкам Белозерска пройтись, хотя бы...

— А что сказать белозерам? Ведь я же написал в райком, что вместе приедем...

— Понимаю, Серега... Неудобно, конечно, но... Извинись, пожалуйста, за меня.

Так же вот было все и в роковом, 1977 году. Мы с женой уехали в Белозерье около середины июля, он остался в Москве. Остался, но сказал, что если «наши ребята» подъедут («нашими ребятами» он называл сына и невестку), то они с женой тут же примчатся в Белозерск, хотя бы на недельку, ну и, конечно, заглянут в нашу деревню.

И они действительно примчались и заглянули к нам... Но прежде был телефонный звонок из Белозерска. Догадываясь, что это он, я почти бежал до почты, радовался: «Сбываются-таки наши мечты посидеть с удочками на зорьке, поколдовать над свежей ушицей, наконец, просто полюбоваться озером, лесом, полями, стогами на лугах — всем, что живет в нас с детства и чего нам так не хватает в городе...»

— Здорбво, Серега! — почти прокричал он, едва я произнес первое слово. Сколько радости, нет, даже ликования было в его голосе — будто не в Белозерск он прилетел, а только что высадился на Луне. — А я у Вани Бузина сижу. Да, и Вела тоже... Какой рыбник у нас на столе, ты бы знал! Ваня таким судачищем расстарался!

Иван Игнатьевич Бузин — второй секретарь райкома КПСС, наш земляк, друг детства. Так случилось, что и в 1944 году, когда Сережа, обожженный, недолечившийся в госпитале, вернулся в Белозерск, первым из оставшихся в живых сверстников, встретившихся ему тогда и пригревших его, был тоже он — Иван Бузин. С ним же Сережа рыбачил на Белом озере 9 мая 1945 года, когда, сумасшедше крича, какой-то рыбак известил их о Победе, и этот долгожданный и великий миг Сережа запечатлел потом в стихотворении «9 мая 1945 года».

— Серега, завтра мы будем у тебя!— все с тем же ликованием сообщил он. — Готовь лодку и удочки!

И действительно, назавтра утром они приехали, да не одни, а вместе с Бузиными и даже Прилежаевыми — Юрием Александровичем, первым секретарем райкома, и его супругой Александрой Георгиевной.

Умел Орлов поднять, расшевелить людей, всколыхнуть в них бродяжное и кочевое, повести за собой, когда у него выпадала такая возможность. Трудно было не поддаться его «агитации», не откликнуться на его зов. Простой, как сама жизнь, веселый, остроумный, живой и в то же время мягкий, предупредительный, одним словом, на редкость о б а я т е л ь н ы й, он быстро и надолго завоевы-

вал себе друзей и так же быстро и надолго привязывался к ним сам. Одиночества он не терпел. Искреннюю дружбу мужскую ценил превыше всего!

Была первая наша общая рыбацкая уха. Было шумное и веселое застолье.

Под вечер Прилежаевы и Бузины уехали. Сережа с Виолеттой Степановной остались.

Утром следующего дня все было словно по заказу: туман над озером, тихая вода и бешеная пляска поплавков, закинутых с лодки в сторону травы. У Сережи — трехколенное бамбуковое удилище, на нашем озере такие, пожалуй, и не нужны, рыба берет и возле самой лодки... Но это, в основном, окуни и сорожки. А ему хочется поймать леща или подлещика хотя бы. Он таскает окуней на короткое удилище, а на длинное все поглядывает, все поправляет его... И наконец упрямство его вознаграждено: на «трехколенное» он выуживает хорошего подлещика, а через некоторое время и другого... Ликует, но сдержанно, солидно — дескать, не впервой! — а сквозь эту солидность явственно проглядывает мальчишеский задор Гуньки Шарова, которого я знал в школьные годы.

Два дня и две ночи прожили они в нашем доме на берегу озера. Всего два дня. Сережа спешил. Спешил потому, что очень хотел побывать еще и в Мегре, и в той, старой, которая уже около двадцати лет покоилась под водой (незатопленным стоял только белый, полуразвалившийся кирпичный дом, в котором когда-то довелось жить и ему, и мне), и в новой, переехавшей на десяток километров вверх по реке Мегре.

Звал он в эту поездку и меня, говорил, что будет очень интересно, что к нам присоединится и Боря Пидемский* («Я ему звонил — завтра он прилетит из Ленинграда»), но я не поехал. Не поехал, потому что ждал «своих ребят» и еще кого-то из родственников. Не поехал... И очень жалею теперь об этом... Но разве мог я знать, что звал он меня в последнюю поездку, что через два месяца его не станет...

А поездка в Мегру и в самом деле была очень интересной и волнующей. Катер, на котором они плыли, бросил якорь по просьбе Сережи и над старой Мегрой. Он захотел высадиться хотя бы на несколько минут возле белого дома, Борис Пидемский последовал за ним. По его

* Пидемский Борис Михайлович — друг детства, ныне директор издательства «Аврора» (Ленинград).

рассказу, Сережа похлопал ладошкой по стене дома, сказал: «Стоишь, старик!..» А Борис Михайлович, озоруя, поднял обломок кирпича, вывалившегося из стены, и крупными буквами стал царапать: «Этот дом Сергея Ор...»

Поэт, поняв его намерение, закричал, протестуя: «Не надо, Боря... Неудобно!»

Не терпел никакой похвальбы. Таким был в детстве. Таким остался на всю жизнь.

О том, что и как было в новой Мегре, Сережа рассказывал уже сам при нашей встрече в Москве:

— Красиво стоит село... И все-таки прежнему не чета. Все есть вроде бы: и река, и рыба — подлещиков удили прямо с борта катера, — но нет у села прошлого, нет истории... И будущее его, оказывается, тоже неясно и смутно. Новая Мегра живет лесом, а лес кончается... Вырубили! Кончится, наверное, на этом и село.

Вспоминаю теперь лето 1977 года и думаю: не знал, конечно, Сережа об этом, но вышло так, что он приезжал свидеться с родиной последний раз и проститься с нею... Навсегда.

И. БУЗИН,
бывший секретарь Белозерского РК КПСС

## *В родном Белозерье*

Нелегко вспоминать тот октябрьский день 1977 года, когда в наш городок пришло печальное известие о безвременной смерти дорогого для нас и любимого нами земляка, друга и товарища, лауреата Государственной премии РСФСР имени М. Горького, поэта-фронтовика Сергея Сергеевича Орлова.

Вся его жизнь, творческая биография во многом была связана с Вологодчиной, нашим древним краем. Он глубоко и неизменно любил Белозерск и Вологду, лесные и озерные раздолья, старину и новизну родных и заветных мест, своих земляков, неутомимых тружеников, писал об этом в своих книгах вдохновенно и сердечно. Корни его таланта, поэтического дарования неразрывно связаны с его родной землей, щедро питавшей его мужественную, светлую поэзию.

Совсем недавно, в июле 1977 года, мы были счастливы вновь принимать Сергея Сергеевича в Белозерске. Эта, его последняя, встреча с земляками была задушевной и теплой. Сергей любил приезжать в Белозерье, хотя это удавалось ему и не часто в связи с ответственной работой в правлении Союза писателей РСФСР. И в этот раз мы встретили его в аэропорту, радостного и возбужденного встречей с родным краем. Вместе с ним была и его жена Виолетта Степановна.

Разместившись в гостинице, они сразу же пришли ко мне на квартиру. Сережа шутливо спросил:

— А рыбником угощать будешь? — Он с детства любил пироги с судаком.

Я ответил:

— Ну а как же в такой день без рыбника.

Ел он с большим удовольствием, за обедом шутил, интересовался, что нового в Белозерске, как идут дела в районе. Хотел было закурить, но, немного задумавшись, сказал:

— Бросил курить, но тянет дурная привычка.— Достал папиросу, помял ее, поднес к носу и, глубоко вдохнув, добавил: — Весной чувствовал себя неважно, вынужден был отказаться от поездки в Эстонию, где проводилась

декада литературы РСФСР. Врачи рекомендуют принимать медикаменты. — И вынул из кармана таблетки.

Затем долго и интересно рассказывал о Москве, о своих поездках по стране и за рубеж, о том, как живет и работает. Потом совсем неожиданно обмолвился, что думает о выходе на пенсию, так как службу с литературной деятельностью становится совмещать все сложнее.

— Готовлю выпуск собрания сочинений в трех томах. Как только оно выйдет, думаю построить домик в самом Белозерске или в другом хорошем месте района и тогда каждое лето буду приезжать к вам и писать стихи. Как ты смотришь на это?

Я горячо поддержал его и попросил приехать на будущий год, чтобы сообща подобрать место для дома. Сергей охотно согласился и сказал:

— Обязательно приеду и внука Степку привезу с собой. Пусть посмотрит, где родился его дед.

На мое предложение провести встречу с земляками в районном Доме культуры ответил:

— На будущий год приеду не один. Привезу с собой Юрия Бондарева, Мишу Дудина, Валерия Дементьева, Сергея Викулова, и этой артелью выступим перед белозерцами. — Немного помолчав, добавил: — Они этого заслуживают.

В Белозерске Сережа пробыл несколько дней и не спешил с отъездом. В городе, в котором прошла его юность, за эти дни он исходил все улицы, все памятные в нем места. Много раз проходил мимо школы, в которой учился, поднимался на земляной вал (земляные стены древнего Белоозера), воспетый им в стихотворении «Акрополь». Любовался водными просторами реки Шексны и Белого озера, ездил на рыбалку, подолгу беседовал с земляками, с друзьями юности, руководителями района.

И никто из нас тогда не мог подумать, что эта поездка Сергея Сергеевича будет последней...

Мне посчастливилось знать Сергея Сергеевича Орлова с детства. В Мегринской семилетней школе я учился классом старше его, но хорошо помню, что он был веселым, улыбчивым и подвижным пареньком, хорошо пел, активно выступал на школьных праздниках, любил рисовать, писал заметки в школьную стенгазету, увлекался радио и, конечно, много читал.

В Белозерской средней школе в то время действовала литературная группа, состоявшая из учащихся школы и студентов педучилища. Душой и признанным лидером

этой группы был Сергей Орлов. Юноши часто встречались на квартирах друг у друга, в редакции районной газеты, обсуждали написанные стихи. Будучи еще школьником, Сергей написал много хороших стихов. Некоторые из них печатались тогда же в районной газете «Белозерский колхозник», а порой и в областных газетах. Стихотворение «Тыква», написанное им в шестнадцать лет, похвалил в «Правде» Корней Иванович Чуковский.

Сергей охотно выполнял задания районной газеты, был в редакции своим человеком. Любил он приходить и в районную библиотеку, особенно в вечерние часы, когда посетителей там было мало, усаживался за столик и читал. Все новые книжки ему оставляли.

В 1938 году мы с Сергеем расстались: по окончании педучилища я уехал из Белозерска, а Сергей продолжал учиться. Через два года мы вновь встретились. Я возвращался с Дальнего Востока, а он ехал сдавать вступительные экзамены в Петрозаводский университет. Помнится, в один из июльских дней 1940 года в местечке Чайка, где канал соединяется с рекой Шексной, мы гуляли, пели песни, жгли костры. Меня вдруг кто-то громко окликнул:

— Эй, Бузин, Ваня!

Это был Сергей Орлов, улыбающийся, приветливый, подал мне руку и тепло поздоровался. На мой вопрос: «Куда путь держишь?» — твердым голосом ответил: «Еду учиться в университет». Мы проговорили с ним до рассвета. Это уже был совсем повзрослевший Сергей Орлов, со своими суждениями, собственным мнением. Он много и с увлечением рассказывал мне о школе, об учителях, о своих друзьях, о Белозерске, подробно расспрашивал меня о Дальнем Востоке и очень мало говорил о самом себе. На мой вопрос: «А как дела со стихами?» — тряхнув копной своих овсяных волос, застенчиво ответил: «Так, пустяки, писал немного. Вот поступлю учиться, увижу, будет ли получаться». Это был тот же Сережа Орлов, немногословный, застенчивый.

Неожиданно раздался гудок череповецкого парохода, и мы расстались, не подозревая, что это была наша последняя довоенная встреча.

Уже позднее, вернувшись с фронта по ранению, я узнал, что студент-филолог Сергей Орлов в июне 1941 года добровольцем ушел на фронт. В первые дни войны воевал бойцом истребительного батальона, затем был направлен в Челябинское танковое училище. С начала войны и до февраля 1944 года, когда он был тяжело ранен, храбро

сражался с врагами. Он командовал взводом тяжелых танков, воевал и писал стихи. Потом, лет через десять, уже пройдя бои и госпитали и поступив в Литературный институт, он напишет, вспоминая свою юность, прошедшую в Белозерске:

Приснилось мне жаркое лето,
Хлеба в человеческий рост,
И я — восемнадцатилетний,
В кубанке овсяных волос.

Таким, «в кубанке овсяных волос» под солдатской шапкой, забинтованный, словно в маске, в апреле 1944 года вернулся Сергей Орлов в родной Белозерск. Я хорошо помню его в тот далекий апрельский день, когда он в бушлате, выцветших галифе и кирзовых сапогах вплотную подошел ко мне и спросил: «Что, не узнаешь?» — и подал мне свою обгорелую руку.

Да, я его, Сергея Орлова, действительно тогда не узнал. Тяжелые ожоги на лице еще не зажили и гноились. Другой бы на его месте в таком положении продолжал лечиться в госпитале, но ему хотелось скорее вернуться домой, поклониться родной земле, за которую сражался, древнему городу, матери, школе, давшей ему путевку в жизнь. Приехал посуровевший, больной, но не сломленный. Он верил, что край родной исцелит его. И действительно, родной край помог ему прочно встать на ноги.

Встреча с друзьями, помощь врачей, моральная поддержка родных и близких как бы вдохнули в него новые силы и помогли встать в строй. В начале 1945 года Сергей Орлов стал диспетчером Белозерского технического участка. Жизнь в Белозерске обогащала молодого поэта впечатлениями, позволяла ему заглянуть в души людей, простых тружеников, и увидеть в них бесценные россыпи таланта, доброты и отзывчивости. И сколько же стихов и поэтических строк было написано в ту пору, стихов, навеянных чувством радости встречи с родным краем, чувством печали и скорби о тех, кто уже не смог прийти с войны!

Когда Сергей Орлов пришел из госпиталя домой, я, как ограниченно годный к военной службе, работал в военкомате. Помню, как он пришел к райвоенкому и показал свое пенсионное удостоверение инвалида Великой Отечественной войны. Жил он в маленьком домике по Коммунистической улице, 119, вместе с матерью и младшим братом Димой. То было трудное военное время, и Сергей

жил, как и многие другие, преодолевая невзгоды, мучился с нехватками в хлебе насущном, твердо верил в Победу.

В первое время больно переживал за себя, за рубцы на лице и иногда спрашивал: полюбят ли его такого? Часто и подолгу засиживался у меня на квартире. Устроившись поудобнее и разбинтовав лицо, много рассказывал о фронтовых буднях, о танковых атаках под Мгой и Новгородом, о том, как был трижды подбит его танк и как он чудом уцелел в последнем наступлении. Ему было нелегко говорить об этом. Сергея постоянно тянуло к людям. Он искал встреч с фронтовиками, друзьями и товарищами по школе, но их, к сожалению, было немного. Если с кем ему и удавалось встретиться, то расспрашивал во всех подробностях, интересовался, как идут дела на фронте.

Сергей Орлов любил рыбную ловлю. 9 мая 1945 года я пригласил его поехать порыбачить к отцу в деревню, в устье реки Ковжи. Сергей охотно согласился. Еще до восхода солнца мы поплыли с ним на лодке к Белому озеру. Гребли веслами; я — правою (здоровой), он — левой. На реке было тихо. Подняли снасти, вынули рыбу и возвращались к берегу. Медленно поднимался огненный шар солнца. Вдруг откуда-то издалека до нас донесся крик: «Эй, что вы сидите, кончилась война!» Мы опустили весла, обнялись и заплакали. Так с Сергеем Орловым мы встретили День Победы. Об этом позднее он напишет в своей биографии и откликнется стихотворениями «Поездка в Ковжу» и «9 мая 1945 года».

Все это время Сергей много писал, хотя об этом он никому из друзей не говорил. Лишь изредка, вечерами, в хорошем настроении, он говорил мне: «Хочешь, я стихи тебе почитаю?» И читал, читал выразительно, сосредоточенно, в правой руке держал написанный листок, а левой слегка жестикулировал. Так я услышал тогда стихотворения «Белозерье», «После марша», «Его зарыли в шар земной...», «Вот человек — он искалечен...». Впоследствии я их увидел в книге Орлова «Третья скорость».

Многое из написанного им в тот период в Белозерске не публиковалось при жизни поэта и вышло в свет лишь после его смерти.

В августе 1945 года Сергей Орлов уехал из Белозерска...

БОРИС
ПИДЕМСКИЙ

## *Через всю жизнь*

Когда на вопрос, с какого года его знал, отвечаю — с 1927-го, я почему-то не ощущаю, как это много. А ведь это — целых пятьдесят лет, или половина календарного века, а для человека две трети жизни. Мы были рядом с Сергеем Орловым три года в детстве, недолго в юности и очень много после войны.

Как бы там ни было, нам обоим в истекшем полувеке хватило времени стать, как говорят, закадычными друзьями, сказал бы больше — родными братьями, хотя не по метрикам и паспортам, поскольку родители были разные. Но наши матери тоже дружили, а Екатерина Яковлевна, мать Сергея, была моей первой учительницей родного русского языка и литературы.

Кстати, мне кажется, врожденный поэтический талант Сергея Орлова, проявившись в детстве, раскрылся в юношеские годы в силу его любви к поэзии, к чудодейственному русскому слову, вложенной, словно драгоценный компас, в добрую светлую душу Сергея руками матери.

Я не знаю, кто из учившихся в Мегринской школе (мы называли ее Мегорской) в те двадцатые — тридцатые годы выходил из нее без любви к художественной литературе России. И сын этой мудрой учительницы, конечно, не мог являться исключением. Наоборот, он имел счастье впитывать богатство русской словесности больше нас.

Часто меня просят рассказать, каким был Орлов в детские годы. А это трудно. Трудно потому, что, хотя я и был на целых три года старше его, все-таки оба мы были детьми и не присматривались к тому (а тем более не запоминали), кто из нас как себя ведет, если не числился среди товарищей каким-либо отпетым озорником. Сергей Орлов в таковых не числился. Мне, наоборот, казалось, что он, будучи и веселым и задорным мальчишкой, излишне, что ли, сдержан в выражении чувств, тише других, как-то по-своему спокойнее. И притом большой книгочей. Представить его в детстве без книжки трудно.

Помню его дошкольником, маленьким, белоголовым, в коротких штанишках, греющимся на весеннем солнышке под открытым уже окном нашей бревенчатой школы,

сосредоточенно что-то строящим из вязкой глины и притом никак не реагирующим на уговоры взывающей к нему сестренки Ады: «Гуня, Гунь *, ну пойдем же, пойдем. Обедать пора; вон и буксир снова барки тянет, пойдем поглядим».

Однако Гунька, он же Сергунька, должно быть решив закончить дело, не отзывался. Рядом лежал какой-то красочный «Еж» или «Чиж» — из журналов тех лет, припекало солнце, пахло весенней зеленью; с проходившего рядом со школой Белозерского обводного канала слышались шум винтов парохода, требовательные гудки, предлагавшие отвести деревянную лаву (плавучий мост через канал). А у меня, да, наверное, и у товарищей по классу, было ощущение маленькой зависти к дошколенку: «Сидит вот, играет на солнышке, сам себе хозяин, а ты торчи за партой, решай задачки». Почему это запомнилось? Видимо, только потому, что откладываются в памяти нашего детства не только дни событийные, громкие. Вспоминаются, к примеру, дни, когда мы с Сережей, его одногодком Борей Хохряковым, двоюродными братьями Буровыми и Дороничевыми возились в поле за школой с каким-то мудреным сельскохозяйственным инвентарем, который осваивал энтузиаст школьной политехники отчим Сергея — Иван Дмитриевич Шаров; дни, когда мы сажали у школы зеленые аллеи, где каждый запомнил свое дерево на долгие годы.

Когда в семьдесят седьмом году мы проходили с Сергеем на катере мимо затопленного при строительстве Волго-Балта села Мегры, мимо того места, где раньше стояла наша школа и где из воды сейчас торчали черные мокрые стволы — остатки, ставшей уже подводной, аллеи, он тихо, срывающимся от волнения голосом сказал о том, что помнит посаженные им и мною деревья, их он оберегал, пока жил в Мегре.

Мегринские ребята, как, должно быть, все дети мира, любили играть в войну и разбойников. Было излюбленное место для этой игры — покрытый ивовыми зарослями берег Белого озера, справа от устья реки Мегры и последних домов села, которое растянулось по берегам реки и канала.

Густой ивняк, густая высокая трава, «тресты зеленые ножи и камыши как палицы», покрывавшие не один кило-

---

* В детстве Сергея от уменьшительного Сергуня звали Гуня, Гунька Шаров — по фамилии отчима. О том, что он не Шаров, а Орлов, мы узнали уже будучи подростками.

метр приозерной поймы, создавали сказочные условия для ребячьих «наступлений» и маневров, «войсковой разведки» и маскировки, для «кавалерийских буденновских атак».

Сережа участвовал в этих играх, но не часто и почему-то без особого азарта. Не помню, чтобы он в этих играх верховодил, занимал в них «командные посты» (может быть, причиной являлся возраст). Но если он приходил и включался в военную игру, то предложений о порядке ее проведения вносил предостаточно. Постоянное чтение, в том числе и книжек о гражданской войне, не проходило и тут бесследно. Тем более что в этот период Сережа увлекался радиосвязью, конструированием детекторных радиоприемников, только что появлявшихся в наших краях; читал статьи о возможностях применения радиосвязи для межпланетных сообщений и в военном деле.

Играли иногда и во дворе того дома с мезонином, где родился Сергей, — единственного каменного дома в Мегре, в котором вначале была сельская школа и жили учителя, а затем — медицинский пункт. В мезонине жила моя мать-акушерка, а внизу была еще квартира фельдшера, в которую в тридцать третьем году, когда Сережа Орлов вместе с отчимом уехал в Сибирь, вселился с отцом другой, десятилетний Сережа — ныне известный поэт и главный редактор журнала «Наш современник» Сергей Васильевич Викулов. Прожили мы с Викуловым под одною крышей года полтора.

За нашим белым домом, тихо дремавшим под старыми березами на берегу судоходного, гулкого от пароходных свистков канала, стоял большой деревянный сарай, а за ним простиралась широкая зеленая поляна — «десятина». И поляна, и двор с утрамбованными ногами земляными площадками становились местом игры в мяч, в городки, в «козни» (бабки). В сарае и вокруг него было хорошо играть в прятки, строить дощатые домики — «клетки» — для девчоночьих игр с хождением в гости и угощением «по какбудтости» глиняными «пирогами с луком».

Сережа Орлов был у нас во дворе раза два или три: новая школа, где он жил теперь, была от каменного дома неблизко, примерно в двух километрах. Чаще мы встречались с ним у школы, у избы-читальни, находившейся рядом, на бечевнике и откосах канала, откуда мальчишки любили кричать на проходившие баржи с лесом: «Дяденька кини-ко ба-ноч-ку!» — и получали иногда с борта

пустые банки из-под консервов с яркими этикетками, а иногда и забористую ругань подгулявших матросов. Консервные банки использовались под наживку для рыбалки (основная детская и подростковая забава Мегры), а также как посуда при играх в «клетки».

Сережа Орлов выпрашивать баночки был не мастер, кричать стеснялся и прослыл среди сорванцов, хором оравших на баржи с берега, «интиллигентом». В то же время уже тогда ему не отказать было в решительности. Помню, как он потащил за собой нас, более старших, нежели он, взбираться на верхнюю площадку вышки, как тогда называли построенный на канале высокий бревенчатый топографический знак, на вершину которого вели двенадцать вертикальных лестниц с рассохшимися ступеньками.

Взбирались, чуть не цепляясь за воздух, вопреки запретам родителей, учителей и сельских властей; взбирались на спор, будет или не будет виден Белозерск (километров тридцать от Мегры по прямой и сорок по обводному каналу), поскольку, действительно, в ясную погоду десятки золоченых куполов древнейшего города поднимались на глазах из озера как жаркий костер, как второе солнце.

Увы, купола эти, создававшие позолоченный Китежград на Белом озере, не сохранились.

Наш романтик Сережа Орлов, как правило, настаивал, что видит Белозерск, когда мы его и не видели. В то время мы злились на это, спорили, а сейчас представляется, что он действительно видел невидимое, ибо увидеть его хотел больше нас.

Из многих встреч запомнилась также встреча осенью 1936 года. Мне привелось быть тогда в Белозерске проездом в Череповец, где я оканчивал медтехникум и по комсомольскому набору учился в летно-планерной школе Осоавиахима (теперь ДОСААФ). Сергей учился в Белозерской ШКМ — в школе, которой сейчас присвоено его имя. Встретились мы совершенно случайно, в коридоре этой же школы.

Не скрою, в тот раз меня потянуло в школу не столько привязанность к ее стенам, сколько мальчишеское тщеславие. Очень хотелось показаться своим учителям и одноклассникам, уже кончавшим десятый класс, в темно-серой форме курсанта летной школы, с эмблемами авиации на небесно-голубых петлицах, с портупеей через плечо. И вот неожиданно Сережа окликнул в коридоре, поздоровался, как бы узнавая и не узнавая в одно и то же время, взялся рукой за портупею, спросил: «Разве ты не в меди-

цинском?» Узнав, что кончаю летно-планерную школу «по совместительству», не удивился, только сказал: «Это здорово!» Лозунг «Молодежь — на самолет!» в те годы был особенно популярен. Попросил меня около часа подождать, — начинался последний урок.

После занятий встретили двух моих одноклассников, долго гуляли по городу; говорили, помню, о возможности полета на Луну, но не в связи с какими-то новыми научными данными, а в связи с уже нашумевшим тогда кинофильмом Александрова «Цирк», с его известным аттракционом. Сереже этот аттракцион почему-то не нравился. Он говорил, что это ухудшенный, опрощенный вариант жюль-верновского полета на Луну: «Это просто примитив примитива». Из-за этой фразы мне и запомнился весь эпизод, поскольку тогда было немножко досадно, что Сергей, по возрасту младший, оперирует понятиями, которые были для меня еще новыми. Был какой-то общий разговор об обсуждавшемся тогда проекте Конституции СССР и даже спор, тоже начатый Сергеем; однако в чем было существо этого спора, уже не помню.

Припоминается, что мы заходили в дом на улице, которая ныне носит имя Сергея Орлова. Сейчас здесь размещается музей с экспозицией, ему посвященной. В первом этаже его был буфет с безалкогольными напитками — продавались квасы белозерские, крепкие, с шумом вышибавшие фарфоровые пробки: «Хлебный», «Мятный», «Брусничный», «Клюквенный»; фруктовые воды, «Крем-сода», сельтерская. Рядом с тележки продавалось мороженое, сливочное, земляничное, в виде упругих шариков, зажимаемых продавщицей между круглыми вафлями.

И хотя нам было уже по пятнадцать—восемнадцать лет, мы этих лакомств не чуждались.

В годы войны, как и многие, мы утеряли следы друг друга, хотя, как оказалось, воевали рядом: Сергей — на Волховском, я — на Ленинградском. В неведении прошли и первые полтора послевоенных года. В сорок седьмом я случайно встретил товарища по Мегринской школе М. П. Бурова, изможденного, поседевшего в свои двадцать восемь лет. Оказалось, что он был взят, раненный, в плен, натерпелся мучений, был освобожден из фашистского лагеря Красной Армией. Михаил Буров спросил меня: «Ты знаешь, что Гунька Орлов в Ленинграде?» Я, естественно, не знал. И он рассказал мне, что Сергей горел в танке, стал поэтом, что сам Буров недавно видел книгу его стихов «Третья скорость». Я был поражен. Мы, «мегорские»,

как-то не привыкли еще становиться известными дальше Белозерья. И вот всего через несколько дней раздается звонок в квартиру и как-то осторожно, стеснительно, старательно вытирая подошвы, входит незнакомый мне внешне человек и, кланяясь моей семье, говорит: «Здравствуйте!» — и мне: «Здравствуй, Борис!»

Понял, что это Сергей Орлов, поскольку узнать оставленного несколько лет назад круглолицого мальчишку с молочно-розовой кожей щек и звонким певучим голосом, узнать его в вошедшем, с затянувшейся страшной раной вместо половины лица, было трудно.

Мы обнялись и за чаем просидели весь длинный вечер, радуясь встрече, но притом непривычно изучая друг друга.

Сергей был как-то по-особому сдержан. Может быть, где-то еще мешала не ушедшая из души воинская субординация, поскольку я с довоенных лет, будучи кадровым военным, продолжал служить в армии и носить офицерскую форму, а может быть, это объяснялось болезненным ощущением внешней своей искалеченности.

В тот вечер впервые легла мне на стол и маленькая, но самая большая для меня и для дальнейшей судьбы поэта Сергея Орлова его первая, вышедшая в Лениздате, книжечка. На ней написано:

Боре Пидемскому
в знак доброй встречи,
в память детства
нашего в Мегре
Белозерской
от души
Сережка Орлов.
Сей труд
на дружеский суд.
21 декабря 47 года.

В этой надписи был весь Сергей, с его величайшей человеческой скромностью и открытостью большой души. Все, что он писал, немедленно, и, как правило, до печати, передавал на суд друзей. Друзья-фронтовики были для него самыми нужными критиками, независимо от степени их умудренности в литературе, независимо от темы стихов. И мне, как и другим товарищам, он часто позванивал: «Бо-оря, здоро́во! Я тут, знаешь, стишок накропал, послушай...»

Не помню, чтобы он когда-либо в разговоре, а не в строке, называл свои стихи стихами. «Стишки», «стишок», и никак не больше. Кстати, в первые годы он и поэтом себя не называл; чувствовалось, что из той же

скромности не был внутренне готов поставить себя в один ряд со служителями музы, которой с детства привык поклоняться. Нельзя не поверить его честным строкам:

Я на войне писал стихи украдкой,
Скрывал стихи от посторонних глаз.
Под картой в сумке прятал я тетрадку...

Не случайно вырвалось и в «Третьей скорости»:

Пусть нам теперь завидуют поэты,
Мы всё сложили в жизни, что могли.

Сергей Орлов писал лишь то, что не мог не писать именно в это время, в данный период, в конкретный день, поскольку жил сердцем одною жизнью со всем народом своей страны, поскольку сегодня пережитое им — человеком — требовало проникновенного слова его — поэта.

На моих глазах рождались стихи «В клубе» и «Марья Гавриловна» после возвращения Орлова из поездки на Волго-Дон; «Ночью в казарме» и «Начальник заставы» — по возвращении его из поездки по приглашению Северо-Западного пограничного округа; стихи «Я не люблю людей, которым...» (1953) и «У леса голубого на опушке...» (1966); главы поэмы «Одна любовь».

Однажды летом шестьдесят седьмого года мы с Сергеем Орловым и Михаилом Александровичем Дудиным — одним из ближайших друзей Сергея — ехали, как говорят, «с ветерком» по широкому, гладкому шоссе под Ленинградом, любуясь развертывавшимися между березовыми рощами и мачтовыми соснами лесов светло-голубыми холстами неба. Дудин только что возвратился из своей очередной поездки в Пушкинские Горы, из Михайловского, земли своей обетованной, где, мы знали, ему, как и Сергею в Белозерье, и пишется и отдыхается хорошо. Своим характерным медлительным голосом он рассказывал:

— Зимой ко мне прилетела синичка, и я ей на ветку подвешивал маленькие кусочки сала. Стою у окна, а она совсем рядом садится на веточку, берет передними лапками это сало — и прямо в клюв.

— Слушай, Миша, а на каких лапках она сидела-то, твоя синица? — взрываясь хохотом, спрашивает Сергей.

Все хохочем до слез. У водителя автомашины баранка подпрыгивает в руках.

Улыбается все вокруг: пролетающие мимо разлапистые кроны деревьев, в ярком золоте солнечных бликов листья малинников, изумрудные поляны в коврах одуванчиков

и ромашек. Кое-где сквозь деревья прорывается голубизна холодных озер.

Машина продолжает заглатывать длинную ленту разогретого солнцем бетона...

И тут у Сергея, смотрящего вдаль, из души вырывается:

— Красотища-то! Как в кино!

Снова смеемся, но уже с грустинкой. Насколько же стал человек лишен этой прелести — русской природы, частью которой является сам, если видит ее чаще в кино, если краски ее запоминает по киноленте.

Через несколько дней Орлов прочитал свои грустные, теплые тревожные строки:

Мы, дети природы, забыли природу.
Она нам не друг и не враг.
На лоне ее не бываем по году,
А годы — костры на ветрах...

Как-то в один из дней сентября, накануне двадцатой годовщины форсирования Невы моим батальоном и вступления его в бой на «малой земле» под Ленинградом — на так называемом Невском «пятачке», мы договорились с Сергеем Орловым поехать туда, на это дорогое мне памятное место.

Водитель нашей армейской «Волги» Витя Шарков за сорок минут домчал нас до бывшего поля брани, и мы с Сергеем побрели по редкой длинной траве и бурьяну к берегу Невы, от шоссе, от машины, от оставшегося в ней мальчишки-сержанта Шаркова в нашу память, в наши мальчишеские, лейтенантские, фронтовые дни, до сих пор столь ощутимо пахнущие иногда по ночам кровью и толом. Медленно, шаг за шагом преодолевая заросшие бурьяном ходы сообщения, воронки от бомб и провалившихся блиндажей, спотыкаясь о вылезшие из земли искореженные ржавые части минометов, гильзы снарядов, проржавевшие каски и колючую проволоку, мы шли к реке. Сергей внимательно слушал сбивчивый от волнения рассказ о кошмаре жестокой битвы за этот Невско-Дубровский плацдарм, пристально всматривался в изрытое сталью поле. А надо сказать, что немало лет на этой земле не росла трава, настолько она была нашпигована железом, пеплом, газойлем и фосфором, светившимся осенними ночами.

На высоком откосе берега мы присели у найденного мною КП полка 20-й дивизии и долго молчали. Затем Сер-

тей запел вполголоса фронтовую любимую песню, написанную Павлом Шубиным, которую на Волховском фронте звали Волховской, на Ленинградском — Ленинградской застольной:

Выпьем за тех, кто неделями долгими
В мерзлых лежал блиндажах,
Бился на Ладоге, бился на Волхове,
Не отступал ни на шаг.

Подумалось: наверное, для глаз посторонних мы представляем странное зрелище — пожилой лысеющий полковник в обнимку с бородатым человеком с всклокоченной рыжей шевелюрой, поющие малоизвестную ныне песню.

Через день я понял, что Сергей подумал о том же, когда он по телефону после обычных своих слов: «Боря, послушай...» — начал читать:

Мы с товарищем бродим по Невской Дубровке,
Два довольно-таки пожилые хрыча,
Будто мы разломили на круг поллитровку,
Мы с товарищем плачем и солдатские песни поем...

Стихотворение «Невская Дубровка», родившееся за один день после поездки на «пятачок», еще раз воочию мне показало, что Сергею Орлову, создавая стихи, так же как и всем по-настоящему большим поэтам, не приходилось ничего придумывать.

Часто, когда пишут о Сергее Орлове, почему-то считают обязательным сказать: «поэт-танкист», «поэт-фронтовик» и т. д. Боюсь, что это определение может у людей, мало знавших Орлова, создать о нем впечатление прежде всего как о закованном в броню гвардии лейтенанте или поэте, посвятившем себя лишь воспеванию подвига советских воинов. Сергей Орлов был поэтом во всем, во всей своей жизни.

Незаурядный поэтический талант не только помогал ему строить жизнь, но и немало мешал, как и всем настоящим поэтам, внутренне приспособиться к извечным требованиям быта, службы в аппарате Союза писателей. И не всегда ему, поэту, было легко приспособиться к той прозе жизни, которая не минует никого из нас, независимо от талантов.

Я внимательно читаю материалы дискуссии в «Литературной газете», идущие под рубрикой «Человек будущего. Каков он?», и все чаще ловлю себя на мысли: человек этот будет таким, каким уже был Сергей Орлов.

Если бы спросили, какая черта в нем преобладала, без риска ошибиться мог бы ответить: интеллигентность. Глубочайшая, видимо, генами и воспитанием заложенная в отношении ко всем и ко всему.

Можно очень много говорить о глубоких познаниях Сергея Орлова в литературе и искусстве. Не было талантливого поэта в любом поколении русских стихотворцев, которого он не процитировал бы при случае на память или о котором не имел бы своего мнения. Его выступления и статьи о Валерии Брюсове, Николае Тихонове, Александре Прокофьеве, Леониде Мартынове, Юлии Друниной, Василии Субботине, Николае Ушакове, Алексее Суркове, Марке Максимове, Александре Решетове, многих поэтах фронтового поколения и поэтах русского Севера говорят сами за себя. Он отлично знал Лермонтова и Блока, Киплинга и Антокольского, любил Твардовского и Смелякова, Луговского и Куприна, на память читал Бориса Корнилова, Пастернака и Бунина, знал древнейшие памятники литературы Отечества.

Мне привелось быть очевидцем, как писал Орлов доклад о Валерии Яковлевиче Брюсове для торжественного собрания в Москве в честь столетнего юбилея писателя.

На маленьком письменном столе в комнатке Дома творчества лежали листы бумаги, том стихов В. Я. Брюсова, краткая биографическая справка. Сергей ходил по комнате от двери до окна, мимо дивана и стола. Мне, приехавшему в воскресенье его навестить, было сказано: «Слушай, извини, я буду писать, а ты забирайся на диван, читай книжки. Потом погуляем. Хорошо? Чаю хочешь?» Я чаю не хотел, читать тоже. Поэтому лежал и смотрел на работу. Сергей писал. Что-то вычеркивал. Писал снова. Перелистывал страницы сборника, подолгу, оторвавшись от бумаги и книги, смотрел в окно. Мы молчали. И вдруг, не поставив даже точку в наполовину исписанной странице и бросая мне апельсин, Сергей, ножом очищая свой, вдруг засмеялся и сказал: «Нет, ты послушай — в прошлом веке он написал об острове Пасхи:

И много тревожит вопросов:
Кто создал семью великанов?
Кто высек людей из утесов?
Поставил их стражей туманов?

А у нас с Казанским, видишь ли, сейчас те же мысли и вопросы приходят».

Сергей явно переключался на одну из излюбленных

тем: Земля-планета и человек, космос, внеземные цивилизации, ракеты, пришельцы из других галактик.

Во множестве стихов Сергея Орлова довоенной, военной и послевоенной поры присутствуют космические моменты — плоды раздумий поэта о связи Вселенной и человечества, Земли и человека. Стремление к философскому проникновению в тайны природы и мироздания было характерно для Сергея Орлова с ранних лет, вливалось в его повседневные разговоры с товарищами, в выступления, статьи, стихи, прослеживается во многих опоэтизированных образах природы. «Разве нам не хотелось в детстве дойти до радуги, чтобы увидеть за нею необыкновенный край?» — спрашивает Орлов в статье о поэзии Александра Решетова.

Еще в довоенном стихотворении девушка-жница «серп на звезду ближайшую, как спицу, повесила и спать ушла домой». А в военных стихах космических примет не счесть:

Идут машины, словно громы,
Сошедшие с крутых небес.

Или:

Звезда, летящая комета,
Как звезды мертвые войны —
Шипящие в ночи ракеты
С чужой немецкой стороны.

Или:

Здесь земля дрожала не от страха,
Просто было горестно земле.
Осыпались звезды, как на плаху,
На нее в ночной багровой мгле.

Земля у Сергея Орлова в стихах, написанных в передышке между боями, — и плаха, и щит, и мавзолей для солдата. И есть железная логика в том, что поэт от потрясающего погребения солдат в «Карбусели» (1943):

Мы подняли лопатами белый наст,
Вскрыли черную грудь земли —

в сорок четвертом пришел своей поэтической мыслью к эпохальному стихотворению «Его зарыли в шар земной, а был он лишь солдат...».

Космическая тема не оставляет поэта и во все последующие годы.

Мир безначальный, бесконечный.
Мы пассажиры на Земле,
Летим, а мимо свищет вечность,
Сверкая звездами во мгле.
Где дерзость выше человечьей?
Случайный гость коры земной,
В твои дела вмешаться, вечность,
Он хочет слабою рукой.

Хочу упомянуть еще об одной благородной черте Орлова — о всегда открытой поддержке друзей, о помощи им, ограждении от несправедливой критики и нападок. Было у него какое-то острое, особое чутье на хороших людей — человек нечестный, какие бы посты он ни занимал, долго в близком окружении Сергея Орлова не задерживался.

Иногда после резких прямых выступлений поэта против неправедных обид, наносимых товарищу, слышались реплики: Орлов не может, мол, в данном случае быть объективным, поскольку речь идет о его личном друге.

Орлов отвечал на это, что право и обязанность выступить так и дает ему именно то обстоятельство, что никто не знает человека лучше и всесторонней, чем настоящий друг, и он не допускает даже мысли о своем невмешательстве, иначе какие же они друзья.

Даже в малой беде, которую нельзя и бедой-то всерьез назвать, Орлов спешил на помощь друзьям. Лет двенадцать тому назад в зале гостиницы «Европейская» официально чествовали большого поэта — защитника города в годы блокады. Один из друзей Сергея Орлова и юбиляра, чуть-чуть захмелев после дружеских тостов, проявил моментом оправданную, но рискованную инициативу. Он вышел на эстраду, вежливым жестом отстранил молодую певицу, только что исполнившую модную песенку, и, взяв микрофон, неумело запел фронтовую боевую песню.

Неизвестно, как бы ее закончил этот никогда не певший с эстрады самодеятельный «солист», малоизвестный к тому же гостям, но только Орлов вышел из-за столика, быстро прошел через зал к нему, встал рядом и вместе громко запел, приглашая рукой участвовать в песне зал.

Известность Орлова, любовь к нему не оставили призыв без ответа, тем более что в зале, под стать юбиляру, было немало фронтовиков. Песня загремела под сводами, поглотив голос запевалы.

Когда после вечера Сергея спросили, что его, столь стеснительного, никогда публично не певшего, заставило вдруг составить дуэт, он ответил вполне серьезно, что просто испугался за товарища, за его репутацию, «как бы

не оскандалился при начальстве», а о том, что «выскочил сам», подумал уже потом, когда «все так ладно кончилось».

Известно домашнее гостеприимство Орлова. Трехкомнатную квартиру, где он проживал с семьей впятером, постоянно посещали земляки-вологжане. С той же любовью, с какой всю жизнь относился к родной земле, питавшей его вдохновение, он относился и к ее представителям — встречал их с искренней сердечностью, независимо от положения.

Был, к примеру, его соученик Галик Б., которого так до пятидесяти лет в Белозерье и звали — Галиком, а потому его отчества я не знаю. Думаю, что не знал его и Сергей. У этого, хорошей души, но безвольного, неорганизованного человека во всех отношениях не сладилась жизнь. Растерял семью, пристрастился к спиртному, жил кое-как. Однако в минуты прозрения и нравственного раскаяния он без всякого предупреждения иногда появлялся в Ленинграде, у Сергея, и не знаю случая, чтобы не был принят, отмыт, накормлен, как бывший школьный товарищ, как добрый земляк, или же ему не была бы предоставлена возможность переночевать у Орловых.

Много можно рассказать о добром внимании Сергея к людям, о бескорыстной заботе. Нужно ли? Все, кто знал его близко, помнят об этом.

Последние годы мы встречались с Сергеем то в Ленинграде, то в Москве, поскольку он жил уже в столице. Встречались то в служебных кабинетах, то дома, то у общих наших друзей.

Первое субботнее утро октября семьдесят седьмого года. Выходной день. Из-за чайного стола позвал звонок телефона. «Бо-оря, — как всегда, нараспев произносит знакомый голос, — здорóво! Я здесь, в Ленинграде. Ты что поделываешь? Может, повидаемся?» Вопросов в таких случаях не возникало. Договорились встретиться у памятника «Стерегущему» в начале Кировского проспекта. Обычные автобусы почему-то не ходили. Еду из Новой Деревни с пересадками, кружным путем. Иду к «Стерегущему» от Петропавловской крепости. За квартал уже видим друг друга. Сергей машет кепкой. Обнимая меня, смеется: «Склероз уже, что ли? Какого черта я тебя тащил через весь город, коли сейчас мне надо добраться к тебе в Новую Деревню — справку взять в поликлинике старых большевиков для прописки Степана Александровича» (его тесть). Радостно, в который раз, сообщает, что наконец ему дают

в Москве трехкомнатную квартиру и он будет иметь возможность взять к себе в Москву стариков и сына. Вид у Сергея довольно усталый, но настроение бодрое. Со смехом рассказывает, как вчера ему в жилконторе отказали дать какую-то справку, как он это переживал и возмущался, а сегодня вдруг понял, что они отказали ему правильно, он был не прав и надо теперь сходить извиниться за свои настояния. Едем на такси в поликлинику. Она не работает (забыли, что суббота). Дотолковались, что в понедельник возьму эту справку и пришлю в Москву. Зову Сергея к себе домой, поскольку рядом. Не идет. Мешает опять его вечная боязнь кого-то стеснить, побеспокоить: «Сегодня выходной у всех твоих, пусть отдыхают, не надо им мешать, чего мы к ним свалимся? Гляди-ко, погодка-та, давай погуляем, дойдем до Пушкина». И мы идем к месту дуэли А. С. Пушкина.

Сколько раз мы там бывали с Сергеем, сколько друг другу рассказано под этими строгими липами, окружающими обелиск! Вот и сейчас, подходя к нему, Сергей говорит мне о нехватке времени для завершения составления трехтомника, который включен уже в план печати и выход которого немножко поможет ему пережить переселенческие расходы. «Ведь, как говорят, каждый переезд на новое место равняется небольшому пожару», — шутит он.

У обелиска на месте дуэли обращает внимание на дату его установления — 1937... Затем видит полустертые строки на стелах и возмущается: «Чушь собачья! Не могли сохранить пушкинские строчки на граните. — Снова шутит: — А что же нам после этого, грешным, ждать?» — и со смехом соглашается, что нашему поколению рано думать о памяти. Если бы мы знали, что ему осталось жить меньше ста сорока часов, всего пять пасмурных октябрьских дней...

Небрежение, проявленное кем-то к памятнику Пушкину, помню, его огорчило не на шутку. Уже в электричке, когда решили поехать за город, Орлов стал пересказывать воспоминания А. В. Луначарского о советах В. И. Ленина, родившихся под влиянием книги Кампанеллы, расписавшего в ней утопический город будущего фресками, — использовать в России памятники и архитектурные сооружения для размещения лозунгов, цитат и стихов, поскольку Ленин считал, что фрески в нашем климате недолговечны. А вот прошло всего сорок лет, и надписи, высеченные в граните, тоже стерлись. «Но все-таки это чушь

собачья, — повторил он излюбленное выражение возмущения, — чтобы это дело допустить. Ведь это не памятник купцу первой гильдии (назвал какую-то смешную фамилию), который незачем и уже некому восстанавливать».

Этот разговор привел снова к беседе о фресках Дионисия, которыми мы оба восхищались. Сергей стал жаловаться на то (увы, не в первый раз), что не находит времени закончить поэму о Дионисии, опубликованную кусками.

Расстались мы с Сергеем рано вечером на платформе станции Комарово, после того как немного посидели у меня на «казенной» даче. Спешил он на старую свою квартиру на улице Братьев Васильевых, спешил, чтобы до поезда на Москву «порыться вечером в старых бумагах». Он надеялся найти в них несколько ранее написанных «стишков», чтобы включить в третий том сочинений, с составлением которого задержался и боится этим «подвести издательство».

Я не стал его задерживать, тем более что договорились о встрече в Москве через неделю, откуда мне предстояло лететь в заграничную командировку.

Последнее, что он крикнул мне, садясь в электричку: «Гляди не останавливайся в гостинице. Жми с вокзала прямо ко мне, у меня и переночуешь! Велка будет рада!»

Когда 9 октября я садился с тяжелым сердцем в самолет, летящий во Франкфурт, Сергея Орлова уже не было, он остался лишь только в сердце, навсегда в сердце, остался в своих талантливых негромких стихах, которым, мы чувствуем это все больше, уготована большая судьба, в стихах, которым суждено жить дольше на столетия, чем довелось ему — человеку.

**ПЕТР ОЙФА**

## *Белозерск*

*Сергею Орлову*

На Белом озере туман,
и все так зыбко, так непрочно,
как этот матовый молочный
на Белом озере туман.

Там деревянный городок,
где храмы каменные встали.
Особой светлостью хрустален
тот стародавний городок.

Он долгой дамбой огражден,
от волн озерных обособясь.
От княжеских междоусобиц
он дамбой века огражден.

На Белом озере туман.
Рыбачий бот идет с радаром.
А было: парус падал старый
на Белом озере в туман.

Я невзначай зашел сюда,
вот так порой велят года нам,
и этот край стал столь желанным —
вновь невзначай зайду сюда.

Чтоб в сумрак неба и воды —
мне с палубы под гул машинный
открылся городок старинный
сквозь сумрак неба и воды.

На Белом озере туман,
но Русь шумит волной проточной.
И вдруг рассеялся непрочный
на Белом озере туман.

*1967*

ИВАН ГРИГОРЕНКО,
бывший командир роты тяжелых танков

---

## *От атаки до атаки*

Зимним вечером 1967 года наша семья смотрела телепередачу из Москвы. Выступали поэты-фронтовики. Прежде чем ведущий назвал фамилию Орлова, я вскрикнул:

— Сережа! Зрячий!

Мои домашние немало удивились такой реакции. А я не мог слова вымолвить: слезы душили меня.

В одном из выступавших я узнал командира нашего взвода старшего лейтенанта Сергея Орлова.

Последний раз я видел его на поле боя, когда его вместе с башенным стрелком вытащили из горящего танка. На нем дымилась фуфайка, руки были обожжены. А главная беда, о которой сказал мне тогда Орлов, состояла в том, что он ничего не видел. Так мы распрощались. Я ушел в бой, а Орлова отправили в санчасть, и я не сомневался, что он ослеп.

В полку любили Сергея Орлова. В нашей роте он был агитатором, редактором «боевого листка».

Не помню, слышал ли я тогда стихи самого Орлова, а вот частушек, разных прибауток, стихов, сдобренных соленой шуткой, он знал множество. Я думаю, что в той работе с людьми, которую он вел как агитатор, эти чтения играли большое значение для поднятия морального духа. Но постепенно и собственные стихи, которые он читал товарищам, все больше становились продолжением его агитационной работы.

Как-то две роты нашего полка были посланы под Карбусель. Там должна была начаться разведка боем. Перед нами поставили задачу — захватить высоту, на которой стояла когда-то деревушка. Бой выдался тяжелым. Танки почти не имели простора для маневрирования, а у фашистов вся местность была хорошо пристреляна. Я поддерживал с Орловым связь по рации. Он доложил, что разбил две вражеские противотанковые пушки.

Из того боя не вернулось много наших товарищей. Их памяти и посвятил Орлов свое известное стихотворение...

От атаки до атаки копились стихи у Орлова. Когда в 1967 году мы встретились, он читал мне некоторые из них, и передо мной возникало пережитое...

## *„...Потому что все это было только вчера"*

Каждый литератор, ставший участником Отечественной войны, ждал новых писательских имен, которые война обязательно должна была выдвинуть.

Моя военная судьба сложилась так, что первые полгода мне было решительно не до литературы. Но в январе 1942 года меня перевели из минометного батальона, воевавшего на Невской Дубровке, в редакцию армейской газеты.

Нельзя сказать, что газета оставляла ее рядовому сотруднику особенно много времени для размышлений о литературе. Но после того как нашу редакцию покинули драматург Дмитрий Щеглов и поэт Всеволод Рождественский, я был назначен писателем армейской газеты...

Одной из моих непременных обязанностей стала переписка с армейскими литераторами. Прозаических произведений никто нам не присылал, стихи же приходили почти ежедневно. Отвечать их авторам — по понятным, надеюсь, причинам—следовало без особых задержек.

Некоторые из приходивших в редакцию стихов печатались в газете. Имена их авторов порой становились известны в нашем армейском масштабе, не дальше...

Но вот однажды — это было ранней весной 1943 года на Волховском фронте — ко мне в затопленную водой землянку неподалеку от приладожской деревни Дусьево явился лейтенант в танкистском шлеме.

Входя в землянку, лейтенант нагнулся, и я увидел только широкие скулы и выбившийся из-под шлема мальчишеский белокурый чуб.

— Мне бы капитана Левина, — тихим, совсем не лейтенантским голосом, скорей даже робко сказал лейтенант.

— Я вас слушаю.

— Меня направил к вам подполковник Гричук. — Это был редактор нашей газеты. — Тут у меня написано коечто. — Лейтенант уже совсем застенчиво протянул мне видавшую виды фронтовую тетрадку.

Я полистал ее и сразу понял, что передо мной — поэт.

Для того чтобы понять это, не требовалось ничего, кроме элементарного умения читать и понимать прочитанное.

Одно из стихотворений лейтенанта — «В землянке» — начиналось так:

Сладок отдых нам в тесной землянке
С непривычною тишиной.
Громобойные замерли танки
В перелеске за мшистой стеной.

Что ж молчишь ты, товарищ бедовый,
И задумчиво смотришь в огонь?
Лучше с песней в землянке сосновой
Разверни на колене гармонь.

В другом стихотворении — «У костра» — я прочел:

В перелеске давно рассвело,
Мы костер разложили с утра.
Хорошо нам сидеть у костра,
Забирая горстями тепло.

Это очень похоже на дом,
Можно, сидя на хвое, вздремнуть...
И танкист задремал над огнем,
Головою склонившись на грудь.

Но, пожалуй, больше всего поразило меня стихотворение «Карбусель».

Я хорошо знал, какой ценой удавалось добиться самого незначительного успеха под этой проклятой Карбуселью, какие потери были в пехоте, как вязли танки в волховских весенних болотах, превращаясь в неподвижные мишени для немецких противотанковых орудий.

Стихотворение «Карбусель» лейтенант посвятил памяти своих товарищей, погибших в боях за эту деревню:

Мы ребят хоронили в вечерний час.
В небе мартовском звезды зажглись...
Мы подняли лопатами белый наст,
Вскрыли черную грудь земли.

...А была эта самая Карбусель —
Клок снарядами взбитой земли.
После бомб на ней ни сосна, ни ель,
Ни болотный мох не росли...

Прогремели орудия слово свое.
Иней белый на башни сел.
Триста метров они не дошли до нее...
Завтра мы возьмем Карбусель!

Тут же выяснилось, что лейтенант действовал под Карбуселью на своем танке «КВ» и не раз ходил в атаку.

Рассказывал он об этом крайне неохотно и все время старался перевести разговор на стихи.

— Вы когда-нибудь печатались? — спросил я, видя, что расспросы о боевых делах тяготят моего собеседника.

— Почти нет. Мальчишкой послал восемь строчек на детский конкурс. Получил премию. Корней Чуковский полностью привел мой стишок в «Правде».

Я попросил его прочитать этот стишок и вот что услышал:

В жару растенья никнут,
Бегут от солнца в тень.
Одна лишь чушка-тыква
На солнце целый день.

Лежит рядочком с брюквой,
И кажется, вот-вот
От счастья громко хрюкнет
И хвостиком махнет.

Нетрудно себе представить, как прозвучали эти строчки, насквозь проникнутые дыханием мирной жизни, апрельским днем 1943 года в сырой землянке на Волховском фронте!

Прощаясь, лейтенант доверчиво согласился оставить мне на какое-то время свою заветную тетрадку — я хотел, не откладывая дело в долгий ящик, отобрать несколько стихотворений для нашей газеты.

Когда он ушел, я вновь и вновь читал и перечитывал его стихи, и у меня все тяжелее становилось на душе.

Не за горами были новые бои, вероятно еще более трудные, чем под Карбуселью. Не век же нам сидеть среди волховских болот и лесов! Какую же участь готовят эти новые бои только что ушедшему от меня командиру танка «КВ»?

Без малейшего риска я мог предсказать ему будущее настоящего поэта. Вот он, один из новых писателей, кому суждено появиться в годы войны, чтобы запечатлеть ее на страницах своих книг!

Надо действовать. Надо добиться, чтобы его перевели к нам в редакцию. Причем делать это нужно, конечно, тайком от него. Сам он никогда не захочет покинуть свой танк. Надо сделать все помимо него и поставить его перед свершившимся фактом.

Что говорить, нам, военным журналистам, тоже порой доставалось. Но это же было все-таки не то, что на танке «КВ»! Прежде всего я решил добиться, чтобы лейтенанта

хоть на несколько дней отозвали в распоряжение редакции.

К тому времени у меня наладилась переписка с добрым приятелем довоенных дней — А. Тарасенковым. Он служил в частях морской авиации на Ладоге и находился совсем неподалеку от нашей деревни Дусьево. Повидаться нам не удавалось, но переписывались мы часто.

В моем письме к Тарасенкову от 12 мая 1943 года был такой абзац: «Я поглощен сейчас вытягиванием из одного танкового полка молоденького паренька, пришедшего ко мне как-то со стихами и оказавшегося очень талантливым поэтом. Посылаю Вам в качестве образца одно его стихотворение, написанное, по-моему, прелестно. Сейчас он на пять дней у нас в командировке, но я рассчитываю, что удастся его оставить у нас насовсем. Если это выйдет, я могу умереть спокойно — хоть одно доброе дело я в своей жизни сделал!»

К письму было приложено стихотворение «Карты», переписанное мной из той самой заветной тетрадки. Привожу его целиком:

Трудный день окончен в школе,
Вечер темный за окном —
Погадай, родная, что ли,
Карты разложи кружком.

Карты врут, а сердцу легче,
Сядь поближе у огня.
Погадай за день истекший
На бубнового меня.

Только карта все плохая,
Вижу — дрогнула рука...
Справа падает лихая
Дама черная — тоска...

Слева — дальняя дорога
Да казенный интерес.
Снова на сердце тревога —
Туз виней, шестерка крест...

Но, быть может, в этот вечер,
Средь других едва видна,
Предвещающая встречу
Карта ляжет хоть одна.

Хоть одна, война не вечна,
Мир наступит над землей,
И вернусь в далекий вечер
Я, согласно карт, домой.

Подпись — гвардии лейтенант Сергей Орлов. (Стихотворение никогда не печаталось и было впервые опублико-

вано в этом очерке, когда он появился в «Литературной газете».)

Но оставить Орлова в редакции не удалось.

Какое-то время он у нас пробыл. Стихи его одно за другим печатались в нашей газете — она называлась совсем не по-военному: «Ленинский путь». Впервые имя гвардии лейтенанта Сергея Орлова появилось в газете 3 мая 1943 года. Вслед за стихотворением «Тебе, боец!» 11 мая мы напечатали «Танк „КВ"», 12 мая — «Немцев гонят к мысу Бон...», 13 мая — «Мы выполнили Сталина приказ...». Но короткий срок командировки окончился, и Орлов вернулся в свой танковый полк.

В июне 1943 года — впервые за время войны — я съездил в Ленинград. Нужно было получить у наиболее известных поэтов блокадного Ленинграда стихи, которые наша скромная газета могла бы напечатать «первым экраном». Мне удалось получить стихи у В. Инбер, Б. Лихарева, А. Прокофьева, В. Саянова. Встретившись с Прокофьевым, я тотчас заговорил с ним об Орлове. Он сказал, что вместе с Саяновым и Лихаревым собирается побывать в нашей 8-й армии. Может быть, на месте удастся сделать все возможное.

В июле ленинградские поэты действительно приехали в нашу «восьмерку». Мы с Прокофьевым отправились в 286-ю стрелковую дивизию, которая считалась «моей», потому что я в ней часто бывал. Пока мы были вместе, я не раз напоминал Александру Андреевичу об Орлове. Когда мы вернулись из дивизии, Прокофьев разговаривал об Орлове с членом Военного совета армии генералом Зубовым, но добиться ничего не удалось.

Ленинградские поэты уехали. Оставался последний шанс — обратиться к подполковнику С. Глушанкову. Он ведал в политотделе армии агитацией и пропагандой. Это был человек, влюбленный в литературу. К людям, так или иначе с ней связанным, он относился с неподдельным уважением.

Но Сергей Венедиктович меня не поддержал.

— Дорогой друг, — сказал он как можно мягче, — если бы ваш Орлов был рядовым солдатом, все было бы очень просто. — Он напомнил, как по его инициативе отозвали из части и перевели в армейский ансамбль солдата, оказавшегося выпускником одного из московских театральных училищ. — Но Орлов — лейтенант, командир танка. Кто разрешит нам перевести его в редакцию? — Глушанков тяжело вздохнул: — Ничего не поделаешь, война! Одно из

двух — или он геройски погибнет в бою, или уцелеет и напишет замечательные стихи о танкистах.

Я на всю жизнь запомнил эти слова.

Между тем Орлов, ничего не ведавший о переговорах, которые велись за его спиной, время от времени появлялся у нас в редакции. 5 сентября газета дала литературную страницу, где было напечатано стихотворение гвардии лейтенанта С. Орлова «У костра». Кстати сказать, рядом печатались стихи другого даровитого лейтенанта, которого также ожидало будущее поэта, — Анатолия Чепурова. Через две недели мы напечатали стихотворение Орлова «В землянке» (оба эти стихотворения вошли в его книгу «Третья скорость», вышедшую в Ленинграде в 1946 году и явившуюся его поэтическим дебютом). В ноябре появились стихи, написанные гвардии старшим лейтенантом С. Орловым, — «Счастье», «Сталинград». К тому времени Орлов командовал уже не танком, а танковым взводом.

Осенью 1943 года было решено издать книгу о боях на Волховском фронте. Меня отозвали в Политуправление фронта. Вернулся я в редакцию лишь в феврале 1944 года. В жизни 8-й армии произошли за это время большие перемены. Она наконец покинула насиженные места среди волховских болот и перебралась под Новгород. Все нетерпеливо ждали наступательных боев.

Орлов прекрасно выразил это тогда в стихотворении «Прощание с землянкой»:

Мы не вернемся вновь назад:
Мы этот день два года ждали.
Ракеты к западу летят,
Зовут грохочущие дали...

Когда я вернулся, мой друг Дм. Хренков — откуда ему было знать, что двадцать лет спустя он напишет книжку о поэте Сергее Орлове! — рассказал, что Орлов все время поддерживал связь с редакцией. Последняя — случайная — встреча была по пути к Новгороду. Одна из редакционных машин увязла в снегу. Проходивший по шоссе танк остановился и мгновенно вытащил машину. Это был танк гвардии старшего лейтенанта Сергея Орлова, направлявшийся к полю боя.

Орлов участвовал в боях за Новгород и в феврале 1944 года написал стихотворение «Танки в Новгороде»:

Матерь — новгородская София...
Стены опаленного Кремля...

Через улицы твои пустые
Мы прошли с ветрами февраля,

Громыхая тяжкою бронею,
Будто витязи седых времен,
Александра Невского герои —
Танковый отдельный батальон.

Однако воевать ему оставалось недолго — в одном из февральских боев тяжелый снаряд угодил в его машину. Орлов был охвачен пламенем, жестоко обгорел, но его все-таки удалось спасти. Ни о какой службе в армии, конечно, не могло быть и речи.

В стихотворении, посвященном матери, Екатерине Яковлевне, Орлов написал:

Я на землю по трапу ступил,
За которую в битву ходил,
Спал в снегу у лесного костра,
Шел навстречу горячим ветрам,
В тесном танке два раза горел,—
Несмотря ни на что, уцелел.

«Несмотря ни на что» — это звучит достаточно весомо. Особенно если иметь в виду строки, написанные примерно через год, уже после Победы: «Вот человек — он искалечен, в рубцах лицо. Но ты гляди...»

Жестокие слова, сказанные подполковником Глушанковым в деревне Дусьево летом 1943 года, оказались вещими.

Уцелел.

Написал замечательные стихи о танкистах.

Но какой ценой?

Поздней осенью 1946 года я — уже в штатском платье — приехал в Ленинград. Мы встретились с Орловым. 31 декабря он подарил мне только что вышедшую под редакцией его нового друга М. Дудина книгу стихов «Третья скорость».

«От старого волховчанина, — написал Орлов на книге. — За все доброе в дни 8-й армии».

1 марта 1947 года я предложил А. Тарасенкову, уже давно вернувшемуся в родное «Знамя»: «Может быть, Вы напечатали бы мою рецензию на книгу стихов Сергея Орлова „Третья скорость"? Орлов — мой фронтовой питомец, мы вместе с ним были на Волховском фронте, в известной всем волховчанам деревне Дусьево (неподалеку от Вашей Ладоги). По-моему, книга его заслуживает положительной оценки. В частности, очень хорошее стихотво-

рение „Его зарыли в шар земной...“, которое Вы с Вишневским справедливо защищали от нападок...»

Рецензия моя на «Третью скорость», не помню уж почему, появилась не в «Знамени», а в «Звезде».

Незадолго перед тем один из московских критиков (этого человека уже нет среди нас, и не стоит называть его фамилию) написал, что в стихотворении С. Орлова «Его зарыли в шар земной...» звучит «нота ноющей жалобы и безвыходной размагниченной тоски». Приблизительно тогда же подверглось резкой критике стихотворение М. Исаковского «Враги сожгли родную хату...».

Теперь, когда прошли десятилетия, особенно хорошо видно, что эти произведения, имеющие между собой много общего, по праву заняли выдающееся место в нашей поэзии первых послевоенных лет, да и вообще в советской поэзии.

Полностью приведя стихотворение в рецензии, я спрашивал: «Действительно ли в этом стихотворении звучит „нота ноющей жалобы и безвыходной размагниченной тоски“? Я думаю, что нет. Оно говорит о смерти солдата с подлинно солдатской суровой мужественностью. Простые похороны бойца поэтически осмыслены как выражение высшей воинской доблести и чести».

Эти строки, написанные тридцать лет назад, справедливы, но истинный масштаб стихотворения «Его зарыли в шар земной...» все-таки не оценен в них по достоинству. Теперь этот масштаб окончательно ясен.

Стихотворение написано с почти лермонтовской силой.

Почему именно лермонтовской?

Потому что оно — осознанно или подсознательно — перекликается со знаменитой лермонтовской «Могилой бойца»:

Он спит последним сном давно,
Он спит последним сном,
Над ним бугор насыпан был,
Зеленый дерн кругом.

...На то ль он жил и меч носил,
Чтоб в час вечерней мглы
Слетались на курган его
Пустынные орлы?

Хотя певец земли родной
Не раз уж пел о нем,
Но песнь — все песнь, а жизнь — все жизнь!
Он спит последним сном.

Трудно поверить, что это написано шестнадцатилетним мальчиком. «Но песнь — все песнь, а жизнь — все жизнь!» — от этой горькой мудрости не может не сжаться любое человеческое сердце. А чего стоят «пустынные орлы»!

Бессмысленная тщета подвигов, которые совершил уснувший навеки боец, губительный тлен, вечное забвение, несмотря на то что «певец земли родной не раз уж пел о нем», — таков бесконечно скорбный, властно омрачающий душу смысл «Могилы бойца».

Автор стихотворения «Его зарыли в шар земной...» также глубоко скорбит о павшем герое. Но его стихотворение — торжественно-скорбный салют, высшая воинская почесть, оказываемая павшему. Эта почесть тем более высока, что павший — простой рядовой солдат, «без званий и наград»:

Ему как мавзолей земля —
На миллион веков.
И Млечные Пути пылят
Вокруг него с боков.
На рыжих скатах тучи спят,
Метелицы метут,
Грома тяжелые гремят,
Ветра разбег берут.

В этом посмертном пейзаже все дышит грандиозным, глобальным движением: «Млечные Пути», «грома», «ветра», «пылят», «метут», «гремят», «разбег берут»...

Сама Вселенная салютует павшему своей вечно продолжающейся бесконечной жизнью.

Заключительная строфа, при всей ее разящей скорбности, тоже звучит как торжественный последний салют:

Давным-давно окончен бой...
Руками всех друзей
Положен парень в шар земной,
Как будто в мавзолей...

Перекличка с «Могилой бойца» — не только ритмическая — здесь, пожалуй, наиболее явственна («Он спит последним сном давно...» — «Давным-давно окончен бой...»). Но на этот раз речь идет не о тлене и забвении, которые скорбно венчают жизнь и смерть павшего воина, а о бессмертии и вечной воинской славе. Поистине, «на миллион веков...»

Рецензию на первую книгу Орлова я назвал «Перед второй книгой».

Она — эта вторая книга, недаром озаглавленная «Поход продолжается», — не заставила себя долго ждать. Вышедшая в 1948 году, она окончательно закрепила за Сергеем Орловым место среди поэтов фронтового поколения, имена которых настолько хорошо известны, что я не стану их перечислять.

В 1971 году, через четверть века после выхода книги «Третья скорость», Орлов подарил мне двухтомное издание своих избранных сочинений и написал: «С памятью о 1943 и 1944 годах, о нашем Волховском фронте, дусьевских болотах, войне, потому что все это было только вчера».

Эти заметки были написаны при жизни Сергея Сергеевича Орлова. Он знал о них, собирался их прочитать, но так и не собрался, — все было недосуг. После потрясшей всех неожиданной и безвременной кончины его я не стал ничего менять или добавлять. Зачем? Нашего друга Сергея Орлова больше нет. Но есть и будет поэт Сергей Орлов.

Поход продолжается.

## *Ночь перед боем*

За тридцать послевоенных лет мы с Орловым так и не собрались снова побывать под деревней Дусьево, где познакомились в сорок втором и где начиналась боевая биография моего друга-танкиста. Лишь год спустя после смерти Орлова, осенним днем семьдесят восьмого, я поехал туда.

Лента дороги — не той грунтовой, изобиловавшей ухабами да ямами, а широкой, асфальтированной, свежей после недавнего дождя — стремительно бежала от Синявина к берегам Волхова.

Ручаюсь, что не только Орлов, но и все волховчане, воевавшие здесь более трех десятков лет назад, не узнали бы этих мест. На всем пути через бывшие Синявинские болота поднялись веселые домики на садово-огородных участках. Всюду, слева и справа, к дороге тянулись ветви яблонь, густо усыпанные плодами.

«Долина смерти», «Тропинка смерти»... Именно так эти места когда-то окрестили фронтовики. И в самом деле, здесь хозяйничала смерть — лютая, жадная, ненасытная. Тем радостнее, что эти обильно политые солдатской кровью рубежи украшены теперь садами и цветами.

А дорога все бежала из-под колес. Не узнаваемая и вместе с тем, чем дальше от Ленинграда, тем больше еще сохранившая какие-то неуловимые приметы давних дней.

И раз и другой мне показалось, что проскочили тот лесок, где когда-то располагался танковый полк резерва Главного командования. Впрочем, ничего удивительного в этом не было. Лес отступил от дороги. Капониры, в которых, словно слоны, забросившие за спину хоботы, стояли тяжелые танки, оплыли, и теперь только опытный глаз мог отличить остатки старых окопов от танковых укрытий. На опушке, как и в давние времена, передавали лесные новости сороки, но теперь, заглушая их, перекликались грибники в цветастых куртках с плетеными корзинами в руках.

Не берусь утверждать, что нашел ту самую землянку — «прокуренный насквозь блиндаж», где юный Орлов слагал «корявые, но жаркие слова», веруя, что потомок, прочтя их, «задохнется от густого дыма», «ярости ветров неповто-

римых, которые сбивали наповал». Сколько их было — таких блиндажей и землянок! Они спасали нас от осколков снарядов и непогоды, но, как и теперь видно, ранили землю. И она здесь до сих пор в оспинах, как лицо человека, перенесшего тяжелую болезнь.

И все-таки, мне кажется, я нашел то, что было, что могло быть нашим недолгим домом. «Словно черные свечи», дремали над полуразвалившейся землянкой три ели. Ни двери, ни прокопченной дымом железной трубы, ни нар. Заглянул в черную пустоту и отпрянул: кто-то — рыба ли, птица ли — тоже меня испугался, — по черной воде пошла рябь. Постоял молча, вспомнил стихи. Неужели это про нее писал Орлов:

Та землянка в волховских болотах,
Где я жил безбедно — не тужил,
Нынче стала болью тягомотной,
Стоном всех моих суставов, жил.
Там, над ней, в ночи горят ракеты,
Трассы пуль свистящие летят,—
Где я сплю без задних ног, одетый,
Без забот и снов, как дети спят.
Плещется вода от взрывов тяжких
На полу, как в речке, подо мной.
«Значит, мимо... Пронесло... Промашка...
Это — где-то по земле самой...»
Я же сплю и ничего не слышу,
Ничего не чувствую в метель.
Фронт землянку подо мной колышет,
Но не сильно, будто колыбель...

Я провел в этой землянке только три ночи. Первая почему-то не осталась в памяти. Вторую помню хорошо. Мы только что вернулись из-под Карбусели, деревушки, значившейся только на карте, а на местности, в натуре, представлявшей собой «клок снарядами взбитой земли. После боя на ней ни сосна, ни ель, ни болотный мох не росли». Неподалеку от места боя, рядом с лежневкой, на едва приметной высотке в тот день появилась еще одна братская могила. В ней остались ребята, которые «триста метров не дошли» до Карбусели. После похорон мы, помянув товарищей, завалились спать на нары.

А утром Сергей прочитал нам свое ныне знаменитое стихотворение «Карбусель».

Но больше всего мне запомнилась третья ночь. Тогда мне почему-то снова пришлось заночевать у танкистов.

К тому времени мы с Орловым хорошо знали друг друга. Лес неподалеку от Дусьева был чем-то вроде по-

стоянных квартир для тыловых подразделений танкового полка РГК. Его батальоны появлялись на разных участках переднего края, принимая участие в боях, которые то вспыхивали, то затихали. Танкистам нужен был простор, а они топтались между болот, машины то проваливались по брюхо в черной вонючей жиже, то, выйдя с трудом на передний край, горели, как факелы. Горел в одном из первых же своих боев и Сергей Орлов. Но тогда все обошлось более или менее благополучно. Орлов отделался легким ранением, а танк его удалось вытащить. Пока был на излечении его командир, успели отремонтировать и машину. Потом Орлова назначили командиром танкового взвода. Это никак не сказалось на его жизни: те же выходы по так называемым колонным путям на передний край, те же разведки боем или короткие стычки и снова недели утомительных ремонтных работ. В короткие перерывы между ними мы встречались. Благо, полк и редакция нашей армейской газеты располагались неподалеку друг от друга.

Немного осталось нас, знавших и видавших Орлова в «кубанке овсяных волос», «без шрамов военной поры», в черном ребристом шлеме, таком же черном комбинезоне, ловко перехваченном широким ремнем. Он был ладным пареньком, ловким, расторопным, смекалистым, наш Серега Орлов.

Сохранилась фотография, правда не очень удачная, — Орлов у танка. Она не дает полного представления о том, как выглядел тогда наш товарищ. Но тогда же кинооператор А. Л. Богоров снял фильм (или, скорее, одну часть журнала), который, кажется, так и назывался «Поэт-танкист», только вот беда — уже более тридцати лет мы не можем разыскать его. Но сам факт, что фронтовой оператор счел возможным сделать специальный сюжет об одном человеке, красноречиво говорит о том, сколь известным был в нашей армии Орлов.

Но вернемся во фронтовую землянку.

...Поутру танки должны были выйти на исходные позиции. Начиналось наше историческое январское наступление сорок четвертого года. Полезней всего нам было в эту ночь выспаться. Но Орлов рассудил иначе.

Мерцала над потолком землянки маленькая электрическая лампочка, которую питал старый аккумулятор. Сергей держал в руках давно известную всем моим товарищам, работавшим в «Ленинском пути», толстую тетрадь со стихами. Заглядывал в тетрадь он редко: читал наизусть

и, как показалось мне, даже торопился, чтобы успеть дочитать до конца, пока не прогремит команда «Подъем!».

За два года, в течение которых мы встречались, было переговорено о многом и разном. Немало стихов из этой тетради перекочевало на страницы нашей газеты. Впрочем, оказалось немало и таких, которые были напечатаны только в газете. В тетрадь они так и не попали. Это были чаще всего стихи, написанные уже в редакционных землянках по разного рода случаям, когда Сергей выполнял наш срочный заказ. Работалось ему трудно. Он склонялся над листом бумаги, шевелил губами, писал и вычеркивал, снова писал. На широком лбу его сперва возникали росинки пота, а вскоре уже пот катился ручьями, а мы все торопили его: в полосе верставшегося номера зияла дыра. «Заткнуть» ее предстояло Орлову.

Какой молодой поэт не хочет увидеть свои стихи в газете! Орлов не составлял исключения. Но к нашим заказам относился как к тяжкой принудиловке. Он не умел писать стихи по заказу. Наверное, внутренне даже противился этому делу, ибо уже тогда знал себе цену, понимал, что не эти наскоро сложенные строчки могут определить лицо его. Он пытался жить по какому-то еще неясному ему самому, по высокому счету, судил себя строго, и, наверное, нас, наседавших на него и требовавших стихов на злобу дня, — тоже. Ведь мы были молоды и не всегда понимали, что́ ценнее — рифмованные отклики или стихотворения, копившиеся в этой толстой, скрепленной железной скобкой тетради.

По возрасту Сергей был моложе многих из нас. Отношением к литературе, наверное, старше. В послевоенные годы, воздавая должное поэтам, шагнувшим в литературу прямо из окопов переднего края, мы не всегда могли провести «разграничительные полосы» между ними. А полосы эти существовали. Одни из сверстников Орлова действительно стали поэтами на войне, разумеется, вопреки ей, как это правильно заметил в одной из своих статей он сам. Другие, подобно М. Дудину, М. Луконину, пришли на войну поэтами. В их числе был и Орлов. Неважно, что он не успел опубликовать даже малой части того, что уже было написано. Просто он был рожден поэтом, а требовательность к себе была составной частью таланта Орлова.

Я это особенно зримо увидел в ту ночь перед боем, когда Сергей одно за другим прочел мне почти все, что было написано им на войне. Ему был нужен слушатель. Но как мне самому оказалась необходимой вот эта ночь!

Прожив три года на войне, пройдя от пограничного литовского города Таураге до стен Ленинграда, видавший, казалось бы, все, я впервые, может быть, стал воспринимать пережитое не разумом, а душою. Опыт души Орлова оказался глубже, богаче моего. И когда Сергей протянул мне тетрадь и попросил сохранить ее, а в случае чего переслать матери, Екатерине Яковлевне, я отшатнулся от него. Меня можно было понять. Как и многие фронтовики, я не то чтобы верил в приметы, но не пренебрегал ими. А одна из примет, бытовавших тогда, наставляла: если хочешь вернуться из боя живым, возьми с собой все, что должно быть в подсумке, а товарищу же верни все ему принадлежащее, — тогда вы встретитесь снова.

Многое из услышанного мною тогда вошло в первую книгу Орлова, одну из лучших поэтических книг представителей так называемого третьего поколения советских поэтов. Орлов назвал ее «Третья скорость». Мы шутили: Сережа на третьей (на танковом языке — боевой) скорости вошел в литературу. Собственно, так оно и было. И быть иначе не могло. Ведь вместе с народом он пережил все, что выпало на его долю. Именно пережил, а не увидел со стороны, хотя, как выяснилось, зоркостью он обладал отменной. И не потому, что в смотровую щель своего танка от Мги увидел «предместья Вены и Берлина». И не потому, что сумел найти слова о высоком предназначении и высоком отличии солдата, сказав, что он, солдат, крепче стали, из которой сделана броня его танка:

Проверь мотор и люк открой —
Пускай машина остывает.
Мы всё перенесем с тобой:
Мы люди, а она стальная...

Было в тех стихах еще что-то такое, что не сразу останавливало внимание. Это «что-то» мне лично открылось только потом, когда уже после войны мы долгими ночами прогуливались по пустынным улицам Ленинграда или вели неторопливые беседы в гостиничном номере в Москве. Каким словом передать эту, если так можно сказать, всеохватность мысли Орлова — от того, что знали мы все, и до того, о чем вряд ли задумывались? Еще не были запущены первые спутники, еще не пробил дороги в космос Юрий Гагарин, а Орлов уже мучился таинственным желанием увидеть недоступное. И как стало ясным теперь, эта мука пришла к нему не с годами, а еще тогда, до войны. Он был убежден, что открывателем будет не сверхчеловек,

а такой, как он сам, солдат. Не случайно в одном из стихотворений, прочитанных в ночь перед боем, была строчка о том, что «космос молча звездами пылит», в другом говорилось: «Идут машины, словно громы, сошедшие с крутых небес».

Под строчками:

Потомок наш о нас еще вспомянет
В каком-то многотысячном году,
В путь отправляясь на ракетоплане
На только что открытую звезду —

стоит дата: «1943 год».

Это — не случайное озарение поэта, желающего дать должную оценку подвигу его товарищей-фронтовиков. Уже тогда, на войне, он жил с глубоким убеждением в том, что его танк в мирное время будет перелит в ракетоплан. Как и в том, что

Слесаря, танкисты и поэты,
Мы на желтую Луну взойдем.

Потом эта тема будет все шириться, нарастать в поэзии Орлова, укреплять его веру, что «придет человек — от планеты к планете протянутся вдаль верстовые столбы». Но прежде его ждут:

Болота, болота, болота,
За каждую кочку бои,
И молча в отчаянных ротах
Друзья умирают мои.

Сегодня можно составить целую книгу стихов Сергея Орлова о космосе. Но начало ее было написано там, на Волховских болотах. В толстой тетради, где стихи соседствовали с техническими чертежами, мы найдем ручеек, от которого начнется эта книга.

Когда Орлов встретился с первопроходцем космоса Юрием Гагариным, он сказал ему:

— Я ведь вас давно знаю.

Юрий Алексеевич немного смутился. Смутился и Орлов. Ему показалось, что Гагарин мог неверно истолковать его слова: дескать, нашелся еще один человек, желающий погреться в лучах чужой славы.

— Я хочу подарить вам свою книгу, — сказал Орлов. — Там я что-то пытался сказать и о космосе.

Гагарин улыбнулся.

Такими и сохранились у меня на фотографии — космонавт и поэт, удивительно чем-то похожие друг на друга. Чем?

Я часто задумываюсь над этим вопросом и снова обращаюсь к той ночи перед боем, когда в насквозь прокуренном блиндаже впервые задумался вслед за поэтом о том, что наше наступление через волховские болота прямой дорогой ведет в космические дали...

Возвращались в Ленинград поздно. Над дорогой повисло низкое осеннее небо с редкими звездами. Вдруг одна из них показалась живой: то ли самолет пронес ее, то ли где-то прошел запоздалый звездопад. И снова вспомнились стихи Орлова:

Улетали с Марса марсиане
В мир иной, куда глаза глядят...

Это — из поэмы Сергея Орлова «Семь дней творенья», которая так и осталась незавершенной...

АНАТОЛИЙ
ЧЕПУРОВ

## *О солдате Великой Отечественной...*

Сергей Орлов. Большой советский поэт. Наверно, не найдется ни одного истинного почитателя поэзии, которому не захотелось бы в своих размышлениях о Сергее Орлове вслух или мысленно произнести эти простые и всё объясняющие слова — «большой советский поэт».

Но сначала было детство, овеянное теплым летним духом северного леса, славной ратной стариной белозерской земли. Высокие, большие и чистые снега с малиновыми над ними зорями и рыжими морозными закатами, весенняя, в солнце и синьке, даль Белого озера, пионерские костры и походы, первая проба пера, первое признание таланта — все это было в детстве, в ранней юности.

А потом — сразу война.

Я встретил Сергея Орлова на Волховском фронте, в лесах подо Мгой. Молодой, «без шрамов военной поры», веснушчатый, медноволосый, он был тогда командиром тяжелого танка «КВ».

Он был воином и поэтом — защитником города Ленина. При окончательном снятии блокады, командуя танковым взводом, Сергей Орлов принял, как говорится, огонь на себя и, объятый пламенем, упал на черный от битвы новгородский снег, чтобы снова встать во весь рост, но уже в обличье певца воинского братства.

«Третья скорость» — первая книга поэта. В ней нет и тысячи строк. Но зато какая поэтическая сила заложена в каждой из них! Стихи короткие, энергичные, яркие. Они композиционно организованы так, что напоминают танковую колонну на боевом марше.

Сергей Орлов — автор многочисленных поэтических книг. Это и его чудесная лирика, тонкая, проникновенная, и его поэмы, полные живописи, философии, задушевности.

Но самое главное, существенное то, что и в поэзии Сергей Орлов оставался воином, был всегда на переднем крае нашей жизни. Его волновало все, чем были живы люди. Он и стал большим поэтом именно потому, что в его отзывчивом, горячем сердце рождалась поэзия, выражающая человеческие радости, боли, надежды.

Нам надо долго жить на белом свете,
Привыкнуть к топору, как к пистолету,
Чтобы и в снах увидеть на рассвете
Сады да травы, мирную планету.

За полгода до смерти Сергея Орлова мы встретились в Волгограде на выездном секретариате правления Союза писателей РСФСР. В какой-то свободный от дела час я предложил ему и нашему общему другу Анатолию Алексину послушать мою новую небольшую поэму «Сосны».

Они охотно согласились. Рассказ, предваряющий чтение, был предельно краток.

Ранней весною мы ехали с Дмитрием Хренковым — известным критиком и литературоведом, нашим однополчанином по Волховскому фронту — из Ленинграда в Новгород на чтения, посвященные Всеволоду Кочетову. Снег еще был высок и обилен, он сверкал бертолетовыми блестками, розовел от морозного солнца.

— Вот за этими соснами поле. Там и горел Сергей...— сказал Хренков, и меня как опалило огнем. Всё вспомнилось, выплыло из памяти: высотки и трясина Синявина, снега и морозы, раскисшая земля по весне и осени, наши землянки, настилы, редакция газеты 8-й армии «Ленинский путь» в лесах у деревни Дусьево, молодой, лихой танкист Сергей Орлов, с которым мы там познакомились, наши на всю жизнь друзья — сотрудники армейской газеты. Вспомнилось на этом боевом поле и то, что было после войны в нашей многолетней дружбе с Сергеем Орловым...

В этом озарении я вскоре и написал маленькую лирическую повесть, посвященную своему фронтовому товарищу.

Мне потом говорили его московские друзья, что вещь эта ему пришлась по душе. Да и сам он мне сказал о том же еще там, в Волгограде. Это и позволяет мне сегодня предстать перед лицом широкого читателя с поэтическим рассказом о солдате Великой Отечественной...

## *Сосны*

Поэма

*С. Орлову*

На дворе сегодня
В самом деле

Праздник солнца
И голубизны.
В белом оперении
Метели
Улетели
В сторону весны.

Две сосны.
Огонь зеленый, вечный
Негасим и летом
И зимой.
Сердцем чую —
В поле ветер встречный
Вспомнил о тебе,
Товарищ мой.

И сдается,
Слушает округа
Песню, что водила
На фронты:
«Три танкиста,
Три веселых друга...»
Двух уж нет.
А третий — это ты.

В городке,
Овеянном лесами,
Рос, как все ребята
Той поры,
Паренек
С озерными глазами:
Школа,
Пионерские костры,

Древние курганы,
Как былины,
Свет рябины
В снежной кутерьме,
Чкалов,
И папанинские льдины,
И огонь Испании
Во тьме,

И стихи,
Что посвящал березам —

Молодухам
Наших деревень,—
С этим и ушел
Навстречу грозам
Паренек
В кепчонке набекрень.

Наша встреча —
Боевые годы,
Волхова
Трясинная земля.
С командиром
Танкового взвода
Мы на ней
Хлебнули киселя.

В сторону врага
Рванулись танки,
А его «КВ»,
Ломая лед,
На лесной
Болотистой полянке
Сходу встал:
Хоть лопни — не идет!

Словно дот,
Он вырос над снегами,
Над кустами
В громе и в дыму.
Пушки,
Как пудовыми хлыстами,
Били землю,
Целясь по нему.

Дотемна горел,
Взрывался воздух.
А когда
В тяжелой тишине,
Как веснушки,
Высыпали звезды,
Долетело:
«Лейтенант, ко мне!..»

Полз по кочкам стылым,
По настилам,

Выбиваясь
Из последних сил.
Кулаком
Мерцающим светилам
На волне отчаянья
Грозил.

А в землянке,
От нагрева душной,
Не поняв,
Что собралась гроза,
Он стоял,
Как мальчик простодушный:
Медный чуб,
Озерные глаза.

Он стоял и ждал
Совсем другого:
«Молодцы, ребята!
Так держать!..»
Командир полка,
Скупой на слово,
Поднимаясь,
Не заставил ждать.

«Знаю. Понимаю,
Что трясина.
Но война —
На то она война.
Два часа даю тебе —
Машина
Быть в расположении
Должна.

А не то...»
Он взвесил на ладони
Пистолета
Черное литье.
Пулями
На мерзлом небосклоне
Заморгали звезды:
«Всё твое...»

«Вот тебе
И Юрьев день, бабуля,
Вот тебе и выход
В первый бой!..»
Путь обратный.
Но не снег, не пуля
Лейтенантской
Правили судьбой.

Не просил никто,
Не бил тревогу.
Комполка,
Наверно, знал секрет:
Танковое братство
На подмогу
Лейтенанту
Двинется вослед.

Так и было.
По настилам стылым,
Пропечатав
Траками снега,
Эта сила
Громом заходила,
Покатила
В сторону врага.

Прямо у него
Под самым носом,
Наплевав
На зверскую пальбу,
Вырвала
Своим железным тросом
Из трясины
Братскую судьбу.

Дружество!
Души людской вершина!..
Лейтенант докладывал:
«Приказ
Экипажем выполнен.
Машина
В боевой готовности
Сейчас...»

Командир полка,
Скупой на слово,
Не заставил
Лейтенанта ждать.
«Отдыхайте».
Ничего другого
Не прибавил, кроме:
«Так держать!»

Так держать!..
Земля вставала дыбом,
День и ночь
Кружилась карусель.
Шли «КВ»,
Под стать зеленым глыбам,
В сторону весны,
На Карбусель.

В смотровые щели
Лиловели,
Багровели
Белые поля.
И держалась радость
На пределе:
«Здравствуй,
Новгородская земля!

Здравствуй, каждый кустик
С искрой синей,
Здравствуйте, холмы —
За валом вал!..»
Будто вместе
С матерью-Россией,
Молча, лейтенант
Торжествовал.

Я не видел,
Как на поле этом,
Словно тень
Возникнув на броне,
Заслонив
Рукою с пистолетом
Свет в глазах,
Он высился в огне,

...Возвратясь
Из зарубежной дали,
Я потом прочел
В его стихах,
Что и Гус, и Бруно
Так вставали,
Утверждая правду
На кострах.

Время-птица
Быстро пролетело.
Не тупилось
Жизни острие.
Как большая роща,
Поредело
Ныне
Поколение мое.

С лейтенантом,
С другом закадычным,
Всякое
Бывало у меня.
Но заминок
По мотивам личным
В счет не брали
На черте огня.

Он меня позвал,
А не другого,
На рубеж,
Где вечно зелены,
Подняли
До неба голубого
Свой огонь
Две тихие сосны.

В сторону весны
Прошли метели,
На висках
Оставив белый след.
Лишь коснувшись веток,
Не сумели
Погасить
Их молчаливый свет.

И сдается,
Слушает округа
Голос наших
Невозвратных дней:
«Три танкиста,
Три веселых друга...»
В поле сосны
Вместо двух парней.

До скончанья лет
Осталось пламя
На лице
У третьего из них.
В молодость
Озерными глазами
Смотрит он,
Живущий за троих.

*Май 1977*

## *После войны*

Познакомились мы с ним поздней осенью сорок пятого года на еще гремящем трамваем Невском проспекте. Орлов шел вместе с тогда уже известным мне Михаилом Дудиным, который носил шинель со знаками отличия «старлея», как он любил себя называть. Само собой получилось — Дудин верховодил всей стайкой недавних фронтовиков, несмело отворявших двери редакций, да так навсегда и остался запевалой нашего, теперь уже редеющего поколения.

— Сергей! — протянул мне руку светловолосый парень с пятнами от ожогов, оставивших незалечимую память на лице.

Пальцы его суженной ладони едва сжимали руку. Ладонь была оперирована, и сухожилия в ней намного сократились.

На «ты» мы перешли тут же. Да и как могло быть иначе. «Вы» у нас бы и не получилось.

Было у Орлова любимое слово — «ребята», которое я вскоре от него услышал. Этими ребятами являлись: худенький, недавно вернувшийся из Венгрии, еще ходивший в кителе Толя Чепуров, журналист и критик боевой майор Митя Хренков, прихрамывающий, раненный под Ленинградом в начале войны, шумный Леня Хаустов, самый молодой из фронтовиков Сережа Давыдов. Позже «ребятами» Орлова сделались его московские товарищи из той же когорты поэтов-фронтовиков: Наровчатов, Максимов, Межиров, Соболь и однокашница Сергея по Литинституту Юлия Друнина, по праву причисливаемая к «ребятам». Ребятами все мы остались для него и перевалив через пятьдесят.

Но тогда, в Ленинграде, до пятидесяти нам было заоблачно далеко.

В конце сорок шестого года вышла первая книжка Орлова «Третья скорость». По-нынешнему и книжкой-то ее назвать трудно: книжечка форматом в записную, с мягкой серовато-фиолетовой обложкой, с меньше чем восемьюдесятью страничками текста. Но непрочно склеенный карманный томик быстро исчез с прилавков, хотя

был издан значительным по тем временам тиражом в десять тысяч экземпляров.

Свою первую книжку Сергей радостно и щедро раздаривал многочисленным друзьям и знакомым, вскоре оставшись чуть ли не без единого экземпляра. Напечатанный в 1946 году Лениздатом и вряд ли ушедший за пределы магазинов нашей области, сборник «Третья скорость» стал теперь предметом гордости собирателей поэзии.

Но не в формате и не в бумаге было дело. Несмотря на свой внешне непрезентабельный вид, книжка была событием. То, что в литературу пришел художник со своей значительной темой, сделалось понятным всякому, кто хоть сколько-нибудь разбирался в стихах и любил их. Ведь именно с желтоватых газетных страниц этого маленького сборника впервые услышалось ставшее со временем крылатым стихотворение, начинавшееся словами: «Его зарыли в шар земной...»

Об Орлове заговорили. Его заметила столичная критика. О «Третьей скорости» горячо отозвался Павел Антокольский. Ведущие поэты старшего поколения в Ленинграде признали незаурядный талант недавнего танкиста.

Сергей возвратился к прерванным войной занятиям в университете. Но что-то у него с филологическими науками не ладилось.

Жил он трудно. Совсем неустроенно квартирно, изрядно безденежно. Правда, денежно он так никогда и не зажил. Сперва зарабатывал мало, потом была семья, мать, затем семья сына, еще студента, жизнь на два дома, на два города.

Но это уже было потом, а тогда над бытовыми неурядицами он не задумывался. Жалоб на сложности жизни я от него не слышал, хотя встречались мы достаточно часто, и в обстановке, которая располагала к доверительным разговорам.

Он не умел приспосабливаться — писать барабанные стихи, до которых и газеты и радио в те годы были охочи. Был далек от поэтической журналистики. Не хотел, да и попросту не мог, ничего приукрашивать. И на суровую свою фронтовую память не пытался наводить глянец. Он оставался верен пережитой им горькой военной правде, кровь и мозоли которой стоили Победы.

...Были мы молоды и не чуждались жизненных радостей. Тем более что еще не до конца верили в то, что вернулись с войны, а это само по себе уже являлось нема-

лой удачей. Имелись среди нас такие, что пользовались успехом у слабого пола и, что таить греха, по возможности не терялись. Да, находились, но не Серега, как его тогда многие звали. Он был стеснителен и не показно, а на самом деле нравственно светел.

Зимой мы, группа молодых писателей, жили в Комарове, в еще старом, деревянном Доме творчества. Днем, трудясь по своим комнатам, чутко прислушивались к скрипу ступенек на лестнице: хорошо бы кто пришел, помешал работать. Вечерами, после ужина, томились от безделья. Однажды дали согласие забредшему к нам культурнику из дома отдыха совслужащих, что находился неподалеку, провести там литературный вечер. Пошло человек пять, и вечер получился удачный. Нам дружно хлопали. Несколько отдыхавших там девушек вызвались нас проводить, а проводив, надолго задержались. Когда гостьи собрались уходить, послали за той, которую увлек Орлов. Вернулась ее подруга, удивленно проговорила:

— Сейчас идет. Представляете, все время читал ей стихи. «Минутку, — сказал. — Еще несколько строчек».

А вскоре Сережа влюбился. Влюбился с прямотой чувств и темпераментом всей своей непосредственной натуры. Но что-то там с его романом не очень складывалось. Осведомленные люди говорили, что родителей его избранницы пугали жизненная неустроенность Сергея и ненадежность профессии. Их, далеких от литературных кругов, страшила неясность материального положения поэта. Девушка и сама металась между разумными доводами и чувствами. Но ведь и вправду у Орлова не было ничего, кроме таланта.

И все-таки хоть и не сразу, но были сломлены препятствия, преодолено сопротивление родителей. Сергей победил. Не помню ничего похожего на свадьбу. Они и не были в характере моего поколения. У Орлова, как и у всех нас, появилась жена, а потом и сын Владимир. С Велой, как мы называли его жену Виолетту, он прожил более четверти века, сперва в нашем городе, а потом в Москве. Были они отличной, хорошо понимавшей друг друга парой, людьми духовно близкими. Оба отзывчивые. Оба чуждые идее накопительства и сытого благополучия.

Однако я забегаю вперед, а хочется рассказать о тех, уже теперь далеких днях, когда гонорары наши были малы, карманы пусты, но жизнь казалась прекрасной.

Тогда чуть ли не на каждом углу снова, как до войны, действовали пивные. Заведения, надо сказать, очень даже

неплохие, ныне повсюду закрытые и замененные немногочисленными пижонскими барами. Сидели в полуподвальных или первоэтажных зальцах таких пивных мужчины, под кружечку-другую пенистого «жигулевского» вели неторопливый разговор, закусывали горячей семипалатинской колбасой. Водку пили редко. Безобразий в пивных почти не бывало, и уж никто не «давил на троих» ни в подворотнях, ни в лифтах. Сиживали за нехитрыми столиками и мы, начинавшие литераторы. Удовольствие обходилось дешево, но главным для нас было общение. Ведь тогда мы не то что не мечтали о своих «кабинетах», но и комната на одного казалась чем-то несбыточным. Наверное, все написанное в те годы друзьями — ныне известными поэтами — впервые я услышал за кружкой пива.

Но случалось, не хватало и на пиво. Тогда ходили по улицам. И вели разговоры на ходу. Кто читал, кто слушал стихи. И вот ведь удивительно: несмотря на бытовую неустроенность, никогда мы не назывались ни озлобленным, ни сердитым поколением, о котором так много писалось на Западе. Военное свое прошлое не считали чем-то исключительным. Потому и не требовали никаких преимуществ, твердо веря в свои возможности и в то, что должное место и в мирной жизни завоюем.

Как-то раз Сережа Орлов провожал меня до самого Ковенского переулка, где я жил с молодой женой и явившимися на свет близнецами. Мы долго стояли на углу улицы Восстания, — пригласить его к себе я не мог. Условий для того не было. Уже молчали, говорено было много, и вдруг Сергей, как бы мысля вслух, сказал:

— Нет, надо все-таки учиться. Так ничего не получится...

Вскоре он уехал в Москву и поступил в Литинститут, обретя там близких его духу однокурсников.

В Ленинграде он в те годы бывал наездом. Прибывая на каникулы, живо рассказывал новости столичной литературной жизни.

Понемногу налаживалась послевоенная писательская жизнь. Оперялось и наше литературное поколение. В Ленинграде уже не первый год издавался новый ежемесячник «Нева». Возвратившись из Москвы, Сергей стал в нем заведовать поэзией. В пятидесятых годах с новой силой зазвучала тема бессмертного подвига народа. Таланту Орлова нашлось где развернуться. Но он не повторял задов. О войне теперь писал по-иному, как бы оглядываясь на незабываемое и делая своеобразную перекличку с теми,

кто пришел на смену военному поколению. Оказавшись ночью на улице, он пристально вглядывался в лица молоденьких танкистов, которые с утра будут участвовать со своей машиной в праздничном параде. С понятной грустью рассказывал в стихах о выступлении в армейском клубе:

«Встать!» И ветер прошел по залу.
Мне хотелось сказать: «Садись».
Повстречали меня сначала,
Будто гость я, а не танкист.

Возле Кировского проспекта, вблизи студии «Ленфильм», поднялся новый писательский дом. Сергей по праву получил в нем квартиру. Переехал туда с женой, сыном и матерью Екатериной Яковлевной.

Выходили его новые книги. Вышел объемистый для поэта томик «Стихотворения». Открывался он большим циклом «Стихи о войне». Даря мне сборник, Сергей написал: «Аркадий! А мы такую книжку прочитали. Не нам о непрочитанном жалеть».

Со времени надписи на титуле, с выхода «Третьей скорости», прошли добрые полтора десятка лет. За эти годы Орлов прочитал сотни книг и вовсе уже не утверждал, что «прочитанное» на войне избавляет от необходимости много знать и читать. Надпись лишь свидетельствовала о том, что боевая школа и солдатская дружба для него остались неизменными.

Немногим позже, уйдя из «Невы», он стал работать референтом по поэзии в нашей писательской организации. Хлопотливая эта полуканцелярская должность никак не подходила ни к беспокойной натуре Сергея, ни к его уже утвердившемуся поэтическому имени, но он говорил:

— Что сделаешь. На стихи жить не могу. Нужна зарплата.

Да и писалось опять, как он уверял, мало и нелегко.

— Понимаешь, — не без иронии признавался Сергей. — Жил я с мамой и братом в одной комнатке, а писал!.. Теперь живу... Квартира — небо, Петропавловка напротив, а путного ничего не пишу.

Сейчас мы знаем, что сочинял он и очень даже хорошие стихи, но, то ли недовольный собой, то ли не уверенный в том, что пишет нужное, необходимое читателю, отправлял стихи в ящик стола, чтобы вернуться к ним позже, да так и не возвращался.

В те дни дружили они с Михаилом Дудиным. Прожи-

вали на одной лестнице. Близки были по возрасту и по биографиям. Оба обстрелянные, хватившие военного лиха. Дудин провел на Ханко всю легендарную оборону полуострова. Орлов горел в танке. Разные по характерам, они, однако, во многом сходились. Дудин, с завидной широтой его многообразной палитры, давно и прочно занимал видное место в литературе, пользовался в Ленинграде немалой популярностью. Орлов относился к нему с уважением младшего брата к старшему, считая его и умудренней и жизненно опытней.

Несколько вещей они написали вместе. На страницах «Ленинградской правды» появились небольшие поэмы под двумя фамилиями. Но содружество в поэзии было недолгим. Очень уж это были разные художники, и опубликованные стихотворные главки, по-видимому, все же писались порознь. Звонкие, возвышенные строфы дудинской лиры явственно отличались от очень земных четверостиший, скорее всего принадлежавших перу Орлова.

Для Сергея война осталась памятью накрепко запечатленных картин, порой совсем не героического, а суровобытового содержания. Такой он ее запомнил, навсегда оставаясь цепким на детали.

Орлов дружил с художниками. Бывал в их мастерских. Как-то, придя от живописца Бориса Федорова — тот только закончил крупное полотно «Рейхстаг взят!», — передавал впечатление от увиденного:

— Понимаешь, кончилась война. Взяли рейхстаг. Никто ни в кого не стреляет. Стоят, курят. Все кругом избито снарядами, а впереди у каждого своя мирная жизнь. Армия сделала то, что от нее требовалось. Дальше все иное...

Я смотрел на Сергея и чувствовал внутреннюю в глубинах его души обиду. Как, наверное, ему хотелось дойти со своим танком до Берлина и увидеть час наступившего мира, когда еще догорали костры войны. Сколько бы было написано замечательных стихов о советских парнях, которые все-таки дошли до Берлина.

— И вот стоят эти люди, — продолжал Орлов. — Не солдаты уже — мужики, оглушенные внезапно наступившей тишиной.

В сюжете картины он увидел черты подлинной правды, которую особенно ценил в произведениях о войне. Вернувшись из кино, где смотрел картину «Освобождение» (Сергей любил ходить на дневные сеансы), коротко сказал:

— Похоже. Настоящая война, какой была.

Помню, на площади возле Дворца культуры имени Ленсовета происходили съемки фильма, посвященного военному времени. Возле закамуфлированных бронетранспортеров, ожидая команду режиссера, томились «немецкие» солдаты в серо-зеленых мундирах с расстегнутыми воротами, с автоматами на шее. Где только набирали киношники этих блондинистых и рыжих здоровяков?!

Как всегда, конечно же, сыскалось достаточно досужих зевак: кому-то довелось повидать настоящих гитлеровцев, кто-то, к своему счастью, знал их только по кино. Оказались в толпе и мы с Орловым. Он с ребячьим любопытством рассматривал массовку, придирчиво оглядывал оружие и машины, потом удовлетворенно заключил:

— Настоящие фрицы. Все правильно. Только сапоги не такие. Надо бы широкие, голенища раструбом. Они туда обоймы совали.

На него оборачивались мальчишки. Умолкнув, смотрели с уважением: человек знает!

Война, оставившая на лице его печать — ожог, который маскировала шкиперская борода, не забывалась.

Как-то раз он пришел ко мне с номером «Комсомольской правды». В нем рассказывалось о бытующей в ГДР легенде о пленных русских танкистах. Они во время испытаний нового немецкого бронебойного оружия на своей «тридцатьчетверке» вырвались с полигона. «Красный танк» с отчаянным экипажем пошел гулять по дорогам фашистской Германии и, наводя ужас на обитателей близлежащих городков, оставался свободным до тех пор, пока не был расстрелян подоспевшей артиллерией.

— Давай с тобой напишем пьесу. Или лучше сценарий, — предложил Сергей. — Ты же драматург.

Я не удивился его предложению. Дело в том, что в конце сороковых годов в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола состоялась премьера нашей с Евг. Мином пьесы «Мирное утро». Речь в ней шла об офицерах саперного батальона. Возвращаясь с войны с Японией, часть эта остановилась неподалеку от границы с Китаем, да так и осталась на дальневосточной земле. Зал тогда был набит до отказа, и премьера прошла хорошо. В первом ряду балкона сидели мало еще кому известные Толя Чепуров и Сережа Орлов. На них пьеса произвела хорошее впечатление. После окончания спектакля, в фойе, в группе пожимавших нам руки знакомых были и они. «Здóрово, ребята! — восхищался Орлов. — Молодцы!» Поддерживал

его в оценке и Толя. А мы, упоенные свалившимся на нас успехом, даже не догадались позвать их на ужин, который после спектакля устраивали актерам. Много позже наши товарищи говорили: «Эх вы! А мы-то хвалили! Так хотелось тогда посидеть, отметить. Нам-то ведь самим было не на что».

И вот, с тех пор уверовавший в мои драматургические способности, Сергей предлагал мне писать вместе с ним сценарий:

— Давай, это же вещь! Я песни напишу. И насчет танка все могу.

Он, конечно, мог не только «насчет танка». Но, к тому времени набив достаточно шишек с постановками пьес и зная, что такое «пробить» сценарий, да к тому же всерьез занятый прозой, я отказался от заманчивого предложения поработать с Орловым.

Наверное, и к добру для него. Соавтора Сергей нашел в своем друге Дудине. Никогда прежде не писавшие ни пьес, ни сценариев, они отлично справились с этой работой. В результате их совместного труда и усилий студии «Ленфильм» на экраны вышел волнующий фильм «Жаворонок», основой которого явилась легенда о пленных танкистах. Двумя десятками лет отдаленная от войны, картина явилась гордой песней не знающему предела мужеству советских людей. Фильм стал гимном миру и проклятьем войне.

Песен для него авторам писать не пришлось. В эпиграфе-прологе к «Жаворонку» звучали положенные на музыку уже знаменитые стихи «Его зарыли в шар земной...».

В шестидесятых годах творчество Сергея Орлова обрело значительный вес. Его поэзия получила широкое признание.

В то время во главе ленинградских литераторов стоял поэт первого славного поколения советских художников слова Александр Андреевич Прокофьев. Он высоко оценивал стихотворный дар Орлова, активно содействовал приему Сергея в Союз писателей, поддерживал его первые шаги в печати. Обладавший поразительной памятью, Александр Андреевич знал наизусть немало поэтических строф Орлова и при случае читал их вслух.

Интересно было наблюдать, когда они встречались в обстановке, способствовавшей доверительному разговору. Они отлично понимали друг друга. В оценках припоминаемых стихов обычно не расходились. Глубоко преданные

теме русского человека на российской земле, душевно любящие Родину, но при том остающиеся стойкими интернационалистами, они знали цену подлинному стихотворному слову. Смотришь на них со стороны и видишь: разговаривают с хитринкой. Каждый будто старается выведать нечто ему еще неизвестное в таланте другого. Так, наверно, исстари вели беседы истинные умельцы своего дела. Старый, дорожащий секретами своего мастерства и вовсе не готовый их передать каждому, кто того захочет, и молодой, уже примеченный стариком, а может быть, и способный его в чем-то и превзойти.

Летом 1964 года мы с Орловым семьями жили в деревне Мерево, близ города Луги. Наши жены Вела и Галя дружили. Мои дочери, обе первокурсницы, и еще не окончивший школу Вова Орлов проводили время компанией, отделившись от «стариков», которыми они нас считали. Младший Орлов гонял на мотоцикле, к ужасу обеих матерей, усаживая за своей спиной то одну, то другую из наших дочек. Он был своим среди деревенских парней, поскольку Орловы проводили в Мереве не один год. Сергею нравилось, что сын его растет не комнатным, книжным юношей. Может быть, в нем он хотел видеть свою юность и верить в то, что и этот парень не дрогнет, если в жизни его наступит решительный час.

Однажды мы сидели с Серегой в домике, который снимали Орловы. Было включено радио. Диктор объявил, что сейчас выступит Михаил Светлов. Слабым голосом, но как всегда вдохновенно, тот прочитал свою неувядаемую «Гренаду».

Мы долго молчали. Затем Сергей сказал:

— Правильно, что дали старику выступить. Последняя, наверное, запись...

К Орлову Светлов относился с нежностью. Иначе, как Сережей, его не называл, и тот платил ему привязанностью.

Увы, предчувствия Сергея не обманули. Осенью Светлова не стало, и та запись его голоса действительно была последней.

Еще задолго до того, как Сергей переехал в Москву, между нами произошла размолвка. Собственно, не было ничего и похожего на ссору. Не было объяснений. Но от-

ношения сделались сухими. Прежние простота и дружелюбие из них куда-то ушли. Так сложилось — мы стали по-разному оценивать происходящее в нашей писательской среде Ленинграда. Случалось, что кидали друг другу и едкие обвинения в пристрастности к отдельным явлениям. Но так, больше из желания уязвить один другого. И вдруг Сергей позвонил мне и сказал:

— Слушай, знаешь что... Зря мы все это. Вот тут и Велка говорит... В общем, если мы, свои-то ребята, станем друг против друга... Тогда что? Тогда плохо. Верно же.

Противоборство окончилось, но прежнее сразу не вернулось.

Вскоре мне стукнуло пятьдесят. В Доме писателей состоялся товарищеский вечер, и Сергей на него пришел с Виолеттой. Было что полагается: речи, телеграммы, шумное застолье. Первое слово сказал Михаил Дудин. Между прочим, он пошутил, заявив, что наши с ним недостатки нужно отнести за счет царской власти, при которой мы оба еще родились. Они с Орловым подарили мне киноаппарат-пистолет. Сергей пытался тут же снять первый фильм — «50-летие», чтобы он потом, как он сказал, демонстрировался на моем столетии.

В тот вечер Сергей прочитал стихи, написанные за полтора часа до застолья. Эти стихи существуют в единственном, подаренном мне экземпляре, и потому привожу их тут полностью.

*Аркадию Минчковскому*

Офицеры запаса. Солдаты великой войны,
Что вы пьете на первых своих юбилеях?
Вы на службе гражданской не вышли в большие чины —
Потому к вам не катят бочонки с елеем.
Нет елея... Ну его к черту, елей!
В вашу честь в сорок пятом ревели огнем батареи.
И вставала с коленей Европа. Над ней
Ваши стяги горели у Эльбы и Шпрее.
Из имперских подвалов вино не вино,
Спирт из кружек — и тот не хмелен был для вас он.
Офицеры запаса, ах как это было давно!
Вы хмелеете нынче от хлебного кваса.
На собраньях молчите. Не лезете в спор.
От семейных забот, как подносы, сияют плешины.
Был когда-то лихой капитан и сапер
Наш Аркадий Минчковский, плевал он на мины.
А сегодня ему пятьдесят. Лысоват, член бюро.
Огорчен, что не выбран в правление.
Ах, Аркадий, да плюнь ты на это добро,

Ты ведь сам выбирал для себя направление
В сорок пятом, когда полыхал горизонт.
Выбор был небольшим, но ты выбрал Победу.
Так и дуй до горы, а Литфонд — это все же не фронт.
Можно в нем уступить свое место соседу.

*Сергей Орлов*

*12 января 66 г.*
*20 ч. 45 м.*

— Не обиделся? — спросил он меня, передавая напечатанные на листке стихи, когда умолкли застольные аплодисменты.

Но я и не подумал обижаться. Стихи были хорошие. Тем более что в Литфонде я никаких мест никогда не занимал, и понадобился он тут лишь для меткого словца. Ну и хорошо.

Прошло несколько лет. Сергей переехал в Москву и стал секретарем Российской писательской организации. Отношения наши вошли в нормальное русло еще задолго до того. Он был прав: как могли конфликтовать мы, когда теперь уже на наши плечи легла обязанность воспитания молодой смены литераторов, людей с разными характерами, порой и легко ранимых.

Все будто сложилось ладно, и хотя Сергей жил от нас в отдалении, дружеский его локоть мы чувствовали постоянно.

7 октября 1977 года в Доме писателей имени Маяковского был праздничный вечер. Отмечался день новой, только что принятой Верховным Советом Конституции СССР. После вечера мы группой друзей спустились в кафе. Налили по первой рюмке и выпили в честь праздника. Наполнили и по второй, но тут Анатолия Чепурова позвали к телефону. Чепуров ушел, а мы ждали с налитыми рюмками. Шутили и смеялись, — праздник! Вскоре Анатолий вернулся. Я взглянул на него и понял: произошло что-то серьезное.

— Умер Сережа Орлов, — сказал он. — Внезапно. Несколько часов назад. Позвонил Хренков.

За столом наступила тяжелая пауза. Праздничного настроения как не бывало. Наполненные рюмки долго оставались нетронутыми. Начали расспрашивать о подробностях, но Анатолий тогда еще ничего не знал. Вскоре разошлись до домам.

---

Вечер памяти Сергея Орлова у нас в Ленинграде был устроен спустя год с небольшим. Белый зал Дома писателей имени Маяковского был полон. На подмостках, прислоненный к мольберту, стоял портрет улыбающегося Сережи, каким мы его видели в хорошую минуту. За столиками с цветами сидели близкие друзья поэта. На вечер в Ленинград приехали Юлия Друнина, Валерий Дементьев, Марк Максимов, Григорий Поженян, Марк Соболь, Николай Шундик. Здесь были и ленинградцы — давние фронтовики, те, кто начинал поэтический путь вместе с Орловым. Вечер открыл его старый друг Анатолий Чепуров. Потом выступали Михаил Дудин, Дмитрий Хренков и другие товарищи Орлова. Здесь были вдова поэта Виолетта Степановна и мать Екатерина Яковлевна. Звучал записанный на пленку голос Сергея Орлова. Приглашенные артисты и поэты-друзья читали его стихи. Читали их, как свои. Нет, лучше, чем свои, вдохновенней. Потом читали и стихи, посвященные его памяти. Кинорежиссер Леонид Менакер вспоминал встречи с Орловым, когда шли съемки «Жаворонка». Вечер начинался прологом к фильму, в котором с потрясающей силой звучало «Его зарыли в шар земной...». Кончился вечер последней частью картины, в которой над злобой и ненавистью торжествовало человеколюбие, а над черной мерзостью нацизма свет единения людей.

Зажглись люстры в зале. С портрета снова улыбался Сергей. В рядах были его земляки. Наверное, десятка два белозерцев пришло на вечер. В зале находилась и молодежь, которая знала Орлова только по стихам и счастлива была видеть многих прославленных его друзей.

После вечера собрались внизу. Выпили памятную за Сергея. Сказали то, что еще было недосказано наверху. А потом вечер продолжился иначе. Не столько торжественно, как дружески просто: был в ударе Дмитрий Хренков. Вспоминая, он стал рассказывать, как в дни молодости безденежные, но не унывающие Орлов и Дудин с их приятелем художником Алексеем Соколовым ходили в поход по Ладоге. Рассказ изобиловал забавными эпизодами, и все смеялись. Казалось, с нами смеялся и Сережа. Ведь он так ценил шутку. Его с нами не было и уже никогда не могло быть. Но если бы он тут находился, он бы непременно наутро сказал:

— Отлично сидели вчера, ребята. Митя Хренков молодец. Здорово всех веселил.

МАРК
СОБОЛЬ

## „В кубанке овсяных волос...“

Много лет назад один старый писатель произнес странную для меня в ту пору фразу: «Мне очень трудно жить: два моих лучших друга стали памятниками». Как грустно, что сегодня я его понимаю!

Даже на вечерах памяти ушедших друзей вдруг порой послышится, будто речь идет не о человеке, а о монументе. А я с ним когда-то читал стихи до утра, спорил, смеялся, иногда ненадолго ссорился, мы вместе шумствовали и пели, понимая толк в застолье, вместе бедовали, вместе радовались... Конечно, замечательно, что, уйдя, друзья воплотились в улицы, в пароходы «и в другие долгие дела», но я бы, даю слово, отдал половину оставшихся мне годков за одно живое рукопожатие.

В Сергее Орлове ничего не было от монумента. Даже «маститости» он не приобрел, несмотря на громкое имя, высокую должность, солидный возраст...

Вот выплывает из памяти бывший Дом пионеров, старомосковский особняк на тихой улочке Стопани. Мартовским утром 1947 года здесь открылось 1-е Всесоюзное совещание молодых писателей. Здесь ребята нашего поколения впервые сошлись все вместе, многие впервые посмотрели друг другу в глаза — и сдружились на всю жизнь.

Я уже знал, что Сергей Орлов горел в танке, наизусть помнил «Его зарыли в шар земной...», «После марша», твердил про себя тогда еще не напечатанные строчки:

Жил на свете, не скучал
В офицерском звании,
Пулю-дуру повстречал
Родом из Германии.
Покачнулся белый свет,
Ничего на свете нет.

— Сережа... — назвал он себя, подавая мне руку.

Только позже я разглядел шрамы, следы ожогов на его лице. А сперва увидел высокий, очень чистый лоб, «кубанку овсяных волос» и озорные, с лукавой чертовщинкой глаза. Марк Максимов сказал про его лицо, что оно «кра-

сивое, как время». Меня же с первой минуты захватило его обаяние — с той нашей встречи до последнего дня. Не знаю, был ли он красив, но ручаюсь, что был прекрасен.

В нем подкупала удивительная открытость, распахнутость — навстречу друзьям, шуткам, на которые откликался мгновенно, — и, конечно же, всем существом своим он вбирал в себя и сам излучал поэзию. Он был жаден до жизни, словно торопился наверстать утраченное. Взрослея, он внешне становился собраннее, спокойнее, но не угомонилось в нем острое и заинтересованное любопытство, жажда действия. Может быть, с годами постороннему взгляду это становилось не так заметно. Но меня ничуть не поразило, когда однажды, увлекшись астрономическими выкладками, он с напористым темпераментом убеждал всех и каждого, что мы, земляне, инопланетного происхождения. Или, к примеру, чуть ли не всерьез был готов поверить чьей-то, а может, собственной придумке, что, мол, дядя Евгения Онегина был редактором, причем зловредным: еще бы, он самых честных «правил»! Необходимого для настоящего поэта неистребимого мальчишества ему хватало с избытком. При дотошной добросовестности, придирчивости к собственной работе — над стихом или в служебном секретарском кабинете. В нем как-то совершенно естественно уживались добротная крестьянская основательность и, я бы сказал, моцартовское начало. Сергей был добрым, отзывчивым, ранимым и вместе с тем весьма «твердым орешком»: если в чем-то накрепко убежден, будет стоять на своем до конца!

Когда мы были еще невероятно молоды, кто-то из ребят придумал загадку. Идут четыре поэта: Сергей, Сережа, Серега и Сережка. Спрашивается: кто есть кто?

Угадывали почти безошибочно: Сергей — Васильев, Сережа — Наровчатов, Серега — Смирнов, Сережка — Орлов.

Дело не только в том, что Орлов — младший по возрасту. Тут была угадана человеческая характеристика: шуточная, но в общем-то верная. Характеристика манеры общения с людьми и самооценки каждого. Я любил и люблю их всех, но проще и вернее (во всяком случае, для очень молодого человека) было дружить именно с «Сережкой». Тут надежность и взаимная выручка обеспечены безоговорочно.

Память моя устроена так, что я слабовато запоминаю значительные события, зато четко помню всяческие житейские эпизоды. Может быть, это у многих фронтовиков:

павшие товарищи снятся только живыми, в различных, порой забавных бытовых обстоятельствах...

Однажды, в конце сороковых или начале пятидесятых, сидя в каком-то второразрядном кафе, мы — Михаил Львов, Марк Максимов, Орлов и я — вполголоса читали по кругу стихи. В строчках еще отчетливо звучала война, но многое было и о сегодняшнем дне, времени возрождения. (Скажу в скобках, что нам, фронтовым писателям, этот переходный период дался нелегко.) Орлов прочитал одно из лучших своих стихотворений тех лет — «Жеребенок».

Вдруг из-за соседнего стола, где гомонили подвыпившие фронтовики, яростно поднялся богатырского сложения дядя.

— Вы чего тут шепчете? — заорал он на все кафе. — Думаете, это стихи?! Поэты копеечные — сочиняют черт те что, а настоящего понятия нету. Вот я вам сейчас прочитаю — стихи!!! «Его зарыли в шар земной, а был он лишь солдат...»

Наш сосед прокричал стихотворение до конца. Я чуть не сделал глупость: уже готов был рукой показать на Орлова — вот, мол, автор. Сергей, побелев, приложил палец к губам: молчи!

Позже, по дороге домой, он грустно сказал:

— Сколько нам всем надо сделать, чтоб вновь пробиться к читателю!..

Тогда он был еще безбородым, и в крохотной парикмахерской около Литинститута рыжая Валя подолгу мучилась, уголком бритвы выковыривая кустики щетины, растущие из живой кожи между рубцами.

— Бороду, что ли, бы отпустил!.. — сердилась она.

Не по ее ли подсказке появилась знаменитая борода? Нынче бородачей не счесть, а тогда это было в диковинку. Даже игра такая существовала, вроде пари: кто первым увидит пять бородатых, тот и выигрывает...

В ту пору мы, фронтовая братия, собирались вместе куда чаще, чем теперь (да и сколько нас на сегодня осталось?). С чего бы ни начинался разговор, он все равно сворачивал на воспоминания. Словно мы все сошлись в придорожной «обогревалке», и никакие тут не писатели, а пехотинцы, саперы, танкисты, — настолько в душах еще гремела и горела Великая Отечественная война.

Кто-то посторонний, проходя мимо нас именно в такую минуту, чуть коснулся Сережкиной бороды и нагловато хмыкнул:

— Эй ты, Добролюбов!..

Я никогда не видел Сергея в подобном гневе. Он вскочил, стукнул кулаком по столу и крикнул в упор, словно выстрелил:

— Я вам не Добролюбов! Я командир танкового взвода!

Мне бы хотелось привести небольшой отрывок из книги воспоминаний. Это было напечатано еще при жизни Орлова; прочитав, он тут же позвонил мне и удостоверил, что все сказанное — чистейшая правда.

«Для меня, как и для моих ровесников и однополчан, война слишком долго не кончалась. То есть вообще-то она закончилась, давно отгремело салютами 9 Мая, а мы всё еще вроде бы не вышли из боя. Уже вставали возрожденные города и заводы, но мы смотрели на них как бы все еще из-за бруствера окопа.

И однажды был мелкий житейский случай, почти анекдот. Нечаянная реплика в московской забегаловке, в инвалидной «деревяшке» первых послевоенных лет.

Мы заскочили туда вдвоем — Сережа Орлов и я. Среди тех немногих моих друзей, что остаются надежными всю жизнь, я счастлив назвать поэта Сергея Орлова, красивого человека. Фашисты подбили и сожгли танк, в котором был Сергей, опалили ему лицо и руки, но и стянутым шрамами ртом он торжественно и просто провозгласил свой реквием погибшим солдатам... Я думаю, что не скомпрометирую друга упоминанием о забегаловке.

В густом от самокруток и дешевых папирос тумане к нам двинулся какой-то парень. Когда он подошел совсем близко, мы разглядели на его лице рубцы от ожога.

Вот сейчас он спросит:

— Что, браток? Тоже танкист?

Но парень хлопнул Сергея по плечу и весело заорал:

— Что, браток? Тоже сталевар?

...Так кончаются войны».

Я не успел поблагодарить Орлова за щедрое его умение мгновенно и тактично подсказать товарищу точное слово в стихотворении. Вот, к примеру, я однажды прочитал строчку: «И вдребезги стекла в окне». Сергей тихо поправил: «брызнули». Как сразу все стало зримее, слышнее, попросту лучше! Честно говоря, в моих стихах есть не одна его находка.

Он называл свою молодость победной, бесстрашной и... неблагоразумной. Как Маяковский, он надеялся и верил, что

вовеки не придет к нему «позорное благоразумие»; знал, что даже старым, «как перечница медная», будет поступать, не изменив наказу собственной юности, прошедшей «на дымном гребне фронтовых ночей». Это не просто слова и строчки стихов, это — истина, подтвержденная всей его жизнью, хоть и оборвалась она задолго до старости.

Конечно, можно рассказать куда больше и подробнее, чем я это сделал. Но для этого нужно спокойствие, дистанция времени. А в моих ушах все еще гремит троекратный воинский салют в дождливый октябрьский день на заполненном народом кладбище...

ЕГОР
ИСАЕВ

## *На расстоянии памяти...*

Сергей Орлов начал войну в самом ее разгаре и в самых таких видных, напористых войсках — в войсках броневого щита и тарана. Весь, можно сказать, в железе и весь на виду. Ведь танк, хоть он и пластун по сути — ползком движется,— а вещь, что ни говори, очень заметная, удобная для прицела. Особенно, когда ровно — ни бугорка, ни тени под огнем, — как это было когда-то подо Мгой, невдалеке от Ленинграда. Страшно как ровно... И смертельно жарко! Особенно, когда броневые махины сходились в рукопашной. Да, да, именно в рукопашной. Как сходилась когда-то пехота — штык в штык, как схлестывалась кавалерия — клинок в клинок... А тут — танки! Лоб в лоб, огонь в огонь.

И где-то там, у станции Мга, в сорок третьем — а теперь на расстоянии памяти! — шел тяжелый «КВ» лейтенанта Орлова. Еще не Сергея, нет, а просто Сережки с Белого озера, что под Вологдой, белобрысого паренька, который к тому времени, может, и поцеловаться-то как следует робел, а тут — на́ тебе! — уже лейтенант, командир самоходного боевого железа. И вот она, смотровая щель, вровень с раскаленным от стрельбы орудийным дулом... Вот она — огневая точка зрения воина-танкиста. Взгляд, так сказать, через всю Европу — от той самой станции Мга до Новгорода, от Новгорода до Вислы и далее, за Вислу, туда, в направлении Победы.

Жизнь прошла с тех пор,
Не просто годы.
А за ней, там, где огни встают,
В сполохах январской непогоды,
Возле самой смерти на краю,
Скинув молча полушубок в стужу,
Лейтенант в неполных двадцать лет,
Я ремень затягиваю туже
И сую под ватник пистолет.
Больше ничего со мною нету,
Только вся Россия за спиной
В свете догорающей ракеты
Над железной башней ледяной...

. . . . . . . . . . . . . .

А земля огромна, фронт безмерен,
Лейтенант — песчинка средь огня.
Как он там в огне ревущем верит
В мирного, далекого меня?

Тут как бы два Орлова. Орлов — лейтенант, почти мальчишка, тогдашний Орлов, каждодневно стоящий на краю смерти, и Орлов — нынешний, жженый-пережженый и все же уцелевший в огне, Орлов пожилой и много переживший, такой привычно мирный, добрый человек. Он вглядывается в свое лицо, как в колодец пережитого, и такое чувство: видит не столько себя, свое лицо в глубине, сколько лицо своего давнего товарища-однополчанина, возможно уже погибшего давно. И это не литературный прием, желание сблизить в слове далекое вчера с сегодня, это — свойство памяти, свойство души. У хороших людей всегда так: говорят вроде бы о себе, а на самом деле о других. Такая отстраненность и придает образу наибольший масштаб обобщенности.

Его зарыли в шар земной,
А был он лишь солдат,
Всего, друзья, солдат простой,
Без званий и наград.
Ему как мавзолей земля —
На миллион веков.
И Млечные Пути пылят
Вокруг него с боков.

Как видите, вроде бы об одном только, о частном, а на самом деле — о многих и об общем. И опять: сказано высоко, объемно сказано и в то же время предельно индивидуально, лично. Для себя лично и для других. Всенародно сказано.

А вот другое стихотворение — про лесную кукушку. Простенькое оно какое-то, тихое, а вот щемит почему-то, больно щемит, как та былинка на осеннем ветру у каменного обелиска, выше которого, кроме звезды над ним, ничего уже нет... А может, в душе у нас щемит?

А было это в прифронтовом лесу, может, за две-три минуты до атаки, когда каждый нерв, как шильце, — вперед! Вдруг закуковала кукушка. И тот, кто ее услышал, на какое-то мгновение стал тогда до невероятности невоенным, доверчивым... Как тогда — у себя дома, у себя в лесу, у себя в детстве, в юности... И каждый про себя считал: сколько же она ему накукует? Вот она — наивность железных людей!

Накуковала кукушка много, а в живых после боя остался лишь один.

Но думал каждый: «Доживу, возможно,
Не всех людей хоронят на войне».
И эти двадцать лет в лесу тревожном
Накуковала птица только мне.

Заметьте: уже всего лишь птица, а не чародейка-кукушка.

Весь строй этого орловского стихотворения отличен от стихотворения Твардовского «Я убит подо Ржевом...». И все-таки нервный корешок правды у них один.

И былинка все та же — вот щемит, щемит она на ветру то ли в строке, то ли за строкой где-то... Тридцать лет, как отгромыхала война, а вот — щемит. Щемит и, как на каком-то знобком оселочке пережитого, вострит нашу память, покою не дает...

И так — через все богатое, многомерное творчество Сергея Сергеевича Орлова, через все его книги от первого сборника до избранного. И тут каждый раздел — раздел не просто, а раздел-перекат, как на северной ключевой черемуховой реке. И вся эта река, звонкоструйная, чистая, полнит собой глубокое Белое озеро — озеро рождества поэта, озеро его юности.

Я знал, что Сергей Орлов работает над новой книгой, знал и даже поторапливал его при встречах: хотелось, чтобы она у него поскорей вышла.

Но Орлов, как всегда, умел не торопиться — так он любил свою работу — и, как всегда, оставался верен своему рабочему шагу: шел как и шел — ровно, уверенно, без суетных рывков и досадных срывов.

И это не только в творчестве.

Это у Орлова было во всем.

Это — и в слове, и в деле.

Это — и в службе, и в дружбе.

Это — в самом характере Орлова, в его, я бы сказал, северянской первооснове, в уставе души: уж если делать, так добротно, уж если баять, так красно.

И — совестливо!

Вот первопункт его жизненной и творческой заповеди. И поэтому все, к чему так или иначе имел касательство Орлов: Орлов — руководитель семинара, Орлов-секретарь, Орлов-докладчик — все, все говорило нам, что это его —

личностно орловское. Его — обстоятельное, талантливое, яркое.

А ярче и талантливее всего это проявлялось в стихах.

И мы ждали от него новых стихов.

Ждали новую книгу...

И вдруг — во что до сих пор никак не хочется верить — Орлова не стало.

Для нас, близких друзей поэта, весть о его кончине сперва показалась какой-то чудовищной нелепостью, граничащей с обманом: как так?! Вроде бы особенно ни на что не жаловался, не докучал врачам, и вдруг!..

Но в том-то все и дело, что это не совсем так, «вдруг».

Была война. Была та самая Великая, изо дня в день четыре года смертно полыхавшая война, на которой Орлов, дважды горевший в танке, чудом, можно сказать, уцелел. Она, та война, была не только тысячеверстой линией огня и крови, линией поминутной смерти и мучительной каждодневной боли, но и многолетней, обращенной сюда, в сторону нашего сегодня, полосой чудовищных разрушений, пожарищ, пустырей, полосой ноющих к непогоде ран, полосой безутешных материнских и вдовьих слез, полем перенапряженных нервов, полем памяти, полем пережитого.

Более тридцати лет прошло с того дня, когда война отошла от Орлова, а вот он, Орлов, все эти тридцать с чем-то лет так и не смог отойти от войны. Все эти тридцать с чем-то лет он, сугубо мирный человек, безвыходно находился в поле того самого перенапряжения, которое денно и нощно, как электрическое облако, ходило в его сознании, толкалось в нем и требовало, требовало, как высверка грозы, памяти и памяти, слова и слова.

И Орлов писал.

Писал о войне, о своих друзьях-товарищах, незабвенных фронтовых побратимах. Писал правдиво и выстраданно, без всяких там велеречивых суесловий и претенциозных изысков. Писал так, чтобы хоть на мгновение, хоть на самое малое чуть-чуть высветить и продолжить в своем слове жизнь тех, кто навсегда остался там, на поле боя. Писал так, как когда-то в своих фронтовых тетрадях:

Он ничьих не называл имен
Перед смертью, в душном медсанбате,
И не звал в атаку батальон,
Тщетно поднимаясь на кровати.
Адресов в планшете не нашли,
Слез никто не обронил под вечер,
Холмик рыжей, глинистой земли

Не спеша насыпали на плечи.
И ушли, а в небе тучка шла
И неслышно, будто мать над сыном,
Словно слезы, скорбна и светла,
Уронила крупные дождины.

Писал с той же сердечной достоверностью, но с еще большей взыскательностью и мастерством.

Писал, как любил.

Писал, как помнил, как благодарил.

Писал и был счастлив хотя бы тем одним, что все, о чем бы он ни писал — о войне, о Родине, о любви, о космосе, — было необходимо людям.

И вот перед нами его «Костры» — книга, которую во многом собрал и составил сам поэт. Все же остальное после его смерти завершила вдова поэта, Виолетта Степановна Орлова. И надо сердечно поблагодарить ее за то, что она очень бережно, с чувством сложившейся уже композиции новой книги, включила в нее уникальные, можно сказать, стихи из записных тетрадей поэта, написанные им в основном там, на передовой линии огня. И эти стихи придали новым стихам поэта какую-то особую глубину и дополнительную даль. Большой талант, правда и мастерство — вот что во всей многогранности явлено в этой удивительной книге.

Всегда он сторонился шума и держался глубины. Не любил быть значительным и «поэтичным» с виду. В суждениях был всегда обстоятелен, строг, но не категоричен. Это выдавало в нем очень доброго человека. Мог радоваться радости других. Рядом с ним было всегда надежно. Он любил театр в театре, на сцене, но не в жизни. Поэзии на «публику» не доверял. И — уж в каком железе был! — сердцем не ожелезился: был очень похож на сельского учителя истории — за холмами, за шеломами Россию видел. И вдаль. И вширь. И в глубину. Таким я его знал, таким я его буду помнить.

## *Под сводами души твоей высокой...*

*1*

Я в этот храм
Вступила ненароком —
Мне попросту
В дороге повезло.
Под сводами
Души твоей высокой
Торжественно мне было
И светло.

Над суетой,
Над бедами,
Сквозь годы —
Твой опаленный,
Твой прекрасный лик!
Но нерушимые
Качнулись своды
И рухнули
В один ничтожный миг...

*2*

Ты умер, как жил,—
На бегу, на лету,
С портфелем в руке,
С сигаретой во рту.
Наверно, в последнем
Секундном аду
Увидел себя
В сорок третьем году,
В пылающем танке,
В ревущем огне,
И, падая, понял:
Убит на войне...

*3*

Кто-то тихо шептал твое имя,
Кто-то выдохнул: «Значит, судьба...»

Холод лба под губами моими,
Смертный холод высокого лба.

Я не верю ни в черта, ни в бога,
Но о чуде молилась в тот час...
Что ж ты сделал, Сережа, Серега,
Самый добрый и смелый из нас?

Как ты дал себя смерти осилить,
До зимы далеко не дойдя?..
Провожала поэта Россия
Ледяными слезами дождя.

Осень шла в наступление люто,
Вот-вот бросит на кладбище снег.
От прощального грома салюта
Лишь не вздрогнул один человек...

4

Плечи гор плотно-плотно туман закутал —
Здесь бродил ты лишь год назад...
Хорошо, что тебя провожали салютом,—
Ты был прежде всего
                    Солдат.

Море хмуро, вода отливает сталью,
Тих рассеянный странный свет...
Хорошо, что у гроба стихи читали,—
Ты был прежде всего
                    Поэт.

Ах, как Времени быстро мелькают спицы,
Как безжалостно мчится век!..
Хорошо, что так много пришло проститься,—
Ты был прежде всего
                    Человек.

5

Что же делать?
Чем дальше, тем горше.
Я смириться с бедой
Не могу.
Ты —
Внезапною судорогой в горле,

Ты —
Сверлящею болью в мозгу.

Ночь.
Костер нашей дружбы потушен.
Я одна
В темном лесе опять.
Для того лишь
Нашла твою душу,
Чтоб навеки
Ее потерять...

Без костра
В темном лесе мне страшно.
Вот-вот хлынет
Лавина огня.
Словно танка враждебного
Башня,
Притаившись, глядит на меня...

*6*

На Вологодщине
Есть улицы Орлова,
И говорят, что будет теплоход
«Сергей Орлов».
Звучит поэта слово...
Вот только в дверь мне
Он не звякнет снова
И, пряча в бороду улыбку,
Не войдет.

Уже не будем с ним
До хрипа спорить,
Читать стихи,
Глушить (не только!) чай...
Один лишь раз
Друзьям принес он горе —
Убил своим уходом
Невзначай...

*7*

Загрустив однажды почему-то,
«Есть ли дружба?» —
Ты меня спросил.

Эх, Сергей!
Когда б хоть на минуту
Выходили люди из могил!
Ты забыл бы
О любой обиде,
Ты б ничьей
Не вспоминал вины,
Потому что
С нежностью б увидел,
Как тебе
Товарищи верны.

*8*

Я до сих пор
Поверить не могу,
Что ты на том —
Нездешнем берегу,
Куда слова мои
Не долетят,
И даже матери
Молящий взгляд,
И даже вскрик отчаянный
Жены
Теперь к тебе
Пробиться не вольны...

А я все так же, так же,
Видит бог,
Хватаю трубку,
Услыхав звонок,—
Как будто бы
Из черной пустоты
Вдруг позвонить на Землю
Можешь ты...

*9*

Снова жизнь — снова цепь атак.
Пред тобой в долгу навсегда,
Я верна нашей дружбе так,
Как орбите своей звезда.

По тебе свой сверяю шаг
И любую свою строку.
Ты мне нужен, как нужен стяг,
Чтоб остаться полком полку.

## ВАСИЛИЙ СУББОТИН

### *Лицо танкиста*

Танковые войска в эту последнюю войну выдвинули из своей среды поэта, само имя которого — Орлов! — имя человека, сидящего в машине с мотором в шестьсот лошадиных сил, звучало символически. Многих поразило тогда, я думаю, как сочувственно, с какой жалостью было им сказано о машине, о всем известном танке «КВ»:

Мы всё перенесем с тобой:
Мы люди, а она стальная...

Всякий раз, когда я слышал эти стихи, эти классические в поэзии Отечественной войны строки, у меня сами собой возникали в сознании другие стихи Сергея Орлова, другие его строки, также очень известные, знакомые:

Танкисты спят, как запорожцы, в травы
Закинув руки, растрепав чубы...

Лишь долгое время спустя, после того как уже вышла его первая книга — называлась она «Третья скорость», — когда многие стихи этой прекрасной, этой великолепной книги, отдельные строки ее распространились настолько, что приобрели характер и славу афоризмов, мы увидели Сергея Орлова, его самого, его обожженное в танке лицо. Лицо танкиста, о котором мы ничего не знали, когда читали его стихи, эти его «порохом пропахнувшие» строки, которые он, по собственному признанию, «из-под обстрела вынес на руках»!

Я, может быть, какой-нибудь эпитет —
И тот нашел в воронке под огнем,—

с полным правом писал он о своих стихах.

Наверно, я был одним из тех немногих людей, кто мог бы знать Сергея Орлова без этих его страшных шрамов, плохо прикрытых позднее отпущенной бородой. Мне уже приходилось говорить об этом... Дело в том, что

зимой 1942 года в Челябинске мы в одно и то же время с ним получали танки, вот эти самые танки «КВ», там, в Челябинске, вырабатываемые, и, возможно, находились в одной и той же казарме. Прибывающие с фронта танкисты получали здесь технику, сами собирали танки на заводе и уезжали на фронт. Завод, на котором делались танки, был рядом. Я говорю «возможно», потому что все совпадает по времени, по срокам. Возможно, что мы даже спали на одних и тех же нарах. Не встретились же мы с Сережей Орловым только потому, что экипажи формировались один за другим, положение на фронте было тяжелое, люди сменялись очень быстро, не успев познакомиться, не успев как следует узнать друг друга. Стояла, как уже сказано, зима, было очень холодно. Все мы были одинаковы, в одинаковых танковых шлемах, очень холодных, в ватниках и полушубках, вымазанных в тавоте и газойле. Думаю, что я не раз встречал его в те дни...

О том, что Сергей Орлов был у нас и, возможно, жил в одной с нами казарме, я узнал только спустя некоторое время из попавшей мне на глаза книжки стихов с пылающим заревом на обложке. Так мне запомнилось. Книга называлась «Фронт», и в нее, как я помню, кроме стихов Орлова, входили и другие стихи.

Интересно, что когда я много лет спустя был у Сергея Орлова дома, в его домашней библиотеке книги этой не оказалось. Или он мне ее не показывал. Я не знаю почему, но Сережа как бы стеснялся этих своих стихов, может быть, они казались ему слабыми, словно бы он не хотел, чтобы они были кому-нибудь известны. Я уж сейчас не помню, какими они были, те стихи учившегося здесь, в Челябинске, танкиста. Книжка его вышла в Челябинске после того, как лейтенант Сергей Орлов в составе танковой роты отправился на фронт.

Сам я увидел Сергея Орлова в Москве в 1947 году, на 1-м Всесоюзном совещании молодых.

Сергей Орлов написал много замечательных, много первоклассных стихов, которые должен был написать он и которые никто другой не написал и не мог бы написать. Но когда мы его хоронили, перед его распахнутой — в Кунцеве, под Москвой, среди поникших ветел и берез,— готовой принять его гроб могилой мы прочли его старые стихи, которыми он вошел когда-то в поэзию своего поколения и своей страны: «Его зарыли в шар земной...»

Мы его хоронили в дождливый день 12 октября 1977 года, тридцать три года спустя после того, как стихи эти были написаны. Стихи эти, как оказывается, были написаны в 1944 году. Обгорел он на Волховском фронте в том же сорок четвертом году.

Сергей Орлов умер несправедливо рано. Несправедливо потому, что когда умирает в том возрасте, в каком умер Сергей Орлов, человек, который уже умирал однажды, умирал так, как умирал Сергей Орлов, такая смерть кажется особенно обидной и несправедливой.

Я писал когда-то, еще при жизни Сергея Орлова, что он ни разу не рассказал в стихах о том, что горел в танке. Теперь, после его смерти, когда стали публиковаться его старые, не напечатанные им при жизни стихи, я увидел, что такие стихи у него были, он их просто не печатал. Это стихи возвращения.

Не таким, не в войну, с полпути,
Я мечтал в этот домик прийти.
Щеки в шрамах, в багровых рубцах
(Нету прежнего больше лица).

И дальше там у него о руках — строки, которых не привожу.

Остается небольшая малость:
Жизнь дожить без лишней суеты...—

писал он незадолго до смерти. Это тоже в не опубликованном им при жизни стихотворении.

Я так и не собрался спросить у него, как он написал свое стихотворение «Его зарыли в шар земной...». Как это вышло, как случилось? Теперь этого, я думаю, уже никогда не узнаешь... В самом деле, как, при каких обстоятельствах рождаются стихи, подобные этому единственному в нашей поэзии стихотворению? Стихотворению, которое даже среди лучших стихов Орлова стоит отдельно, обособленно, как нечто из ряда вон выходящее, ни с чем не сравнимое, ни на что не похожее. Ни одно другое стихотворение Сергея Орлова нельзя поставить рядом с этим. Стихи эти возвышаются над всем, что он написал...

Но может быть, он кому-нибудь об этом рассказывал?

Мы с Сережей учились в одно время в Литературном институте. Сережа поступил сразу на второй курс. Наши товарищи, пришедшие с войны поэты, к этому времени уже окончили институт, а мы сидели за партой с молодыми, прямо из десятилетки, ребятами, которые были моложе нас по крайней мере на десять лет и казались нам почему-то одинаково розовощекими. Сидели рядом: он на одной парте, я на другой. Писали диктанты, сдавали с грехом пополам грамматику, учили немецкий язык, который, признаться, знали гораздо хуже, чем наши не воевавшие с немцами товарищи по курсу, что нас, помню, тогда очень удивляло, мы никак не могли с этим примириться, не могли понять этого. Сережа приехал из Ленинграда, снимал комнату. Семья его в это время оставалась в Ленинграде, требовала забот, приходилось думать не только о себе. Для него это было трудное время. Трудно было начинать заново, писать о чем угодно, но только не о войне, не о том, что было для нас самым главным в жизни... Мы все тогда писали эти стихи, необязательные для себя, работали не без издержек и срывов. Сережа, уже известный поэт, сидел, как уже сказано мной, за партой, сдавал экзамены, случалось, проваливался, частенько болел, перемогался, но не отступил, не сдался, а дошел до конца, вместе со всеми, вместе с этими розовощекими юнцами, с маменькиными сынками, как мы считали, защитил диплом, сдал все экзамены. Не у всех, не у каждого из нас на это хватило терпения и выдержки, у него — хватило.

Через много лет, когда Сережа стал жить в Москве, а я переехал на улицу Крупской, мы с ним обнаружили, что живем на одной улице, что его дом находится напротив моего, на другой стороне улицы. Выяснив это, мы договорились часто встречаться, договорились, что в самое ближайшее время он побывает у меня, я — у него. Но, как всегда это бывает в Москве, встреча наша все откладывалась. Мы и сами не осознаем, как заматывает нас большой город! И только не скоро, весной 1977-го, мы, возвращаясь из ЦДЛ с какого-то проходившего там собрания (жена Сережи Виолетта была в это время в больнице), заехали к Сереже, он завез меня к себе. Мы и в самом деле жили рядом друг с другом, из окна его комнаты было видно окно моей. Я увидел такую же двухкомнатную квартиру, что и у меня... О многом мы переговорили в тот

вечер, в ту ночь. Расставаться не хотелось, расстались поздно, часа в три ночи. О многом он мне рассказал в тот день.

В этот раз, откуда-то с Таймыра или с Чукотки, тоже уже поздно, часов в двенадцать, кажется, звонил Дудин, и они тоже долго не могли закончить разговор, долго говорили.

Больше мы с ним не виделись. Старость нас разъединяет.

Вообще у меня такое ощущение, что когда Сережа жил в Ленинграде и когда мы были моложе, мы виделись чаще, чем когда мы жили рядом, из дверей в двери, из окна в окно.

Один за другим уходят наши товарищи. Вслед за Михаилом Лукониным — Сергей Орлов. Миша — летом одного, Сережа — осенью другого года.

Русская поэзия и русские люди никогда не забудут солдата, написавшего стихотворение «Его зарыли в шар земной...».

МАРК
МАКСИМОВ

*Звездное чудо*

Вертикали Москвы, озаренные к первому дню мая, не гаснут по девятый. Победа следует за весной. Так велит календарь. А ведь было иначе — Победа однажды предварила весну. Утвердила однажды и навсегда. И сейчас кажется, что планета догнала себя в извечном движении по кругу.

Такой образ шара земного проступает сквозь новые, не хочу называть их посмертными, стихи поэта Победы, весны и полета. И то, что произошло с ним самим, похоже на это звездное чудо. Сергей Орлов совершает по кругу даже не вторую, как суждено исконной литературе, а третью свою жизнь.

Первая оборвалась в сорок четвертом...

Пожалуй, говоря об Орлове, я не внесу вклад в привычное литературоведение. Он был из тех, кому с лихвой хватило жизненного и смертельного опыта и чьим стихам в силу этого чуждо понятие «лирический герой». Он был просто героем. И в жизни, и двойником самого себя в скульптурных строках, из которых, все равно — от первого или от третьего лица написанных, встает человек подвига, долга и дружбы, непостижимо скромный, искренний и достоверный. Поэт и рыцарь, витязь.

Писать о стихах Сергея Орлова — значит писать о нем.

Я землю эту попирал ногами,
К ней под обстрелом припадал щекой,
Дышал ее дождями и снегами
И гладил обожженною рукой.

Нашему поколению близок путь Орлова. Это не преимущество, а счастье. Трудное счастье, диктующее художнику при любых взлетах фантазии предпосылку жизненной подлинности.

Как-то он меня похвалил: «Это не стихи — это правда». Тогда я обиделся. Сейчас понимаю — фактографию он не терпел, но правда, достоверность были для него и высшей оценкой поэзии. Он считал, что обобщение должно взлетать крылато, даже реактивно, но взлетной площадке положено быть на земле. Взлет начинался для него

с детали. Точной, заземленно дотошной. Часто обобщение таится в самой детали. Вот о затонувшем боевом корабле, на котором все приборы еще живут. Все, кроме часов.

Показывая север с югом,
Фосфоресцирует компа́с.
А на часах, где цифры с кругом,
Три года длится первый час.

Все точно, включая моряцкое ударение «компа́с». Но как много за этой точностью в двух последних строчках...

7 октября 1977 года остановились часы Сергея Орлова. Схватившись своей обожженной рукой за сердце, он упал в служебном коридоре, и часы разбились. Старенькие часы «Победа», подаренные мамой Екатериной Яковлевной, когда он, восстав из мертвых, пришел с войны. Пришел через длинные госпитали, где эта рука была привязана запястьем к лицу — с этого запястья на сгоревшее веко пересаживался кусочек кожи.

Лейтенант Орлов водил в бои тяжелый танк. Подо Мгой танк дважды горел. Друзья выносили из огня юного командира. Он не любил рассказывать. От него знали только, что был контужен, обожжен и числился в погибших. И еще — что от осколка бронебойного снаряда его спасла медаль «За оборону Ленинграда». Об этом говорил весело и охотно, но так, что ясно было — должное воздает не себе, а своему Ленинграду.

Однажды Орлов позвонил и сказал, что его узнал по телевизору бывший комбат Григоренко, пришло письмо. Оно начиналось так: «Сережа! Ты жив, ты видишь!..» Вскоре Юлия Друнина и я познакомились с Иваном Михайловичем Григоренко в Останкине, снимаясь для передачи, посвященной Сергею Орлову. Комбат рассказывал, как лейтенанта, сбивая огонь с комбинезона, несли два танкиста. Как в то солнечное утро он, Григоренко, подумал, что лейтенанту не жить, а уж солнца и подавно больше не увидеть.

Орлов, что называется, «про себя» и явно для себя скороговоркой бросил единственную фразу: «Я-то до сих пор считал, что тогда была ночь...»

В 1978 году в «Литературной России» мы прочитали стихи, которые он прятал с 1945 года:

Не таким, не в войну, с полпути,
Я мечтал в этот домик прийти.
Щеки в шрамах, в багровых рубцах
(Нету прежнего больше лица).

А письмо комбата я так и не смог у него выпросить — ни для публикации, ни для прочтения. Он стеснялся.

Он всегда стеснялся. Казалось, именно поэтому и в жизни, и в стихах не дорассказывает, не договаривает. А может, он просто был неисчерпаем...

С того ночного утра, с того осколка подо Мгой и пошла вторая жизнь Сергея Орлова, трудно и уверенно пошла через тридцать четыре года и тридцать три книги, от сборника «Третья скорость» и до трехтомного собрания сочинений, которое он успел подготовить к печати.

Прошу прощения у читателя за эту невольную игру в триады. Моим словам сейчас не до игры. Они еще болят. Просто так сложилось. И вот 7 октября произошло то самое звездное чудо — началась третья жизнь поэта.

Виолетта Орлова, жена и прекрасный друг, еще разыскивает письмо комбата. Разыскивает в архивах, если так можно назвать неразбериху рукописей стихов, написанных на клочках, иногда почему-то на кальке с двух сторон, писавшихся лежа и на ходу, а раньше — на танковой броне. Письменному столу в праве на жительство в квартире было отказано.

Я умышленно не называл до сих пор цифр. Не они характеризуют поэзию. Но нельзя не поразиться: уже найдено более трехсот стихотворений, не напечатанных при жизни. Большая часть датирована военными годами, есть и стихи последних лет.

Остается небольшая малость:
Жизнь дожить без лишней суеты —
Так, как в дни, когда она касалась
Ежечасно огненной черты.
И могла сгореть в одно мгновенье,
Может, тыщу раз на каждом дню...
Не пугаться, не искать спасенья,
Не питать надежду на броню.

Стихи и биография поэта встают рядом. И поэтому я больше говорю о связанном с его юностью, с войной. Но тематические привязанности Сергея Орлова во всех новых публикациях широки.

Продолжается его влюбленная песнь о России — о ее истории, судьбах, природе, о ее хлебе насущном и куполах, о ее ракетах и сказках:

За Вологдой метели с бубенцами,
Летят, поют живые голоса,
И где-то за горами и лесами
Спокойно спит душа моя краса.

Среди «заграничных» выделяются стихи о современном Китае, не просто публицистические, осуждающие, но и пропитанные горьким сочувствием к несчастному народу.

Есть пейзажные и философские стихи, есть светлые и мучительные строки любви. И на особом месте — поэтическое завоевание космоса. Возможно, к этой теме Сергей Орлов пришел поначалу в столь естественном для него поиске продолжения подвига народа в новых послевоенных поколениях:

Со дна траншей мы наблюдали звезды
И до конца поверили земле —
Седой, колючей, неуютной, грозной,
В цветах невзрачных, пепле и золе.

Для нас была единственной защитой
Насыпанная бруствером она.
И звезды лучезарные зенита
Нам были ярче видимы со дна.

Но его космические взлеты добры. Они — от войны, но не о войне, а о насущной, как хлеб, необходимости мира в мире.

Конечно же, не все новые стихи Сергея Орлова равноценны. Как, впрочем, и прежние, как достояние любого поэта. Но не будь вершин и склонов, литература была бы плоской. А здесь вершин достаточно для горного хребта, и читателю то и дело открывается возможность восхождения.

По человеческой природе чудо требует объяснения. Я слышу: почему же к нам сейчас приходит столько неизвестных стихотворений, почему они не печатались ранее?!

Ответ: по единственной причине — большой, пожалуй, чрезмерно взыскательности поэта. Впрочем, это еще не все объяснение, а лишь его заголовок. Подзаголовков много. Решаюсь объяснять Сергея Орлова, так сказать, изнутри. В одних случаях он боялся, что, как говорят спортсмены, не берет собственную высотную отметку. Так, после «Его зарыли в шар земной...» другие первоклассные стихи о воинах, павших за Отечество, поэту представлялись недостойными огласки. В других случаях ему казалось, что допускает перепевы. Скажем, «Приснится когда-нибудь лето...» он считал вариантом известного «Приснилось мне жаркое лето...». Может, в работе так оно и было. Но ведь, несмотря на лексическую и ритмическую близость, это два самостоятельных произведения. А бывало,

наверное, и так — стихотворение откладывалось «на просушку» из-за неудавшейся строки. Слово оканчивалось буквой «б», а следующее начиналось с «п». И не то чтобы он так уж заботился о губах читателя, которым трудно будет выговорить эти взрывные, а просто помнил, что литературу порой еще называют изящной словесностью.

У меня на ладони комсомольский билет № 4235182, выданный в декабре 1938 года Белозерским райкомом ВЛКСМ Орлову Сергею Сергеевичу. Билет, от обложки до обложки пробитый подо Мгой осколком снаряда, срикошетившим о медаль и, по счастью, ослабевшим оттого у самого сердца. О медали я знал, билет вижу впервые. Уже музейный билет. Гражданская участь поколения.

Счастливо и грустно ожидать на Волге теплоход «Михаил Луконин». Уже есть улицы Сергея Орлова в Вологде и Белозерске, по северным путям пойдет судно с его именем на борту. Воистине, «чтобы, умирая, воплотиться...». Говорят: «Ушел от нас». Но Сергей Орлов приходит к нам, даже к тем, кто знал его близко, приходит все явственней и крупней.

Его поэтическое лицо неотделимо от человеческого, и это обожженное и вдохновенное лицо красиво, как само Время.

## *Тебе с Россией вместе быть...*

### 1

Думал ли, ведал ли смолоду,
весь изувечен войной,
что через отчую Вологду
улицей ляжешь одной?

Кашка цветет вдоль обочины,
мята, лиловый кипрей,
белых ромашек отточины,
маковки светлых церквей.

Небо закатной полоскою
высветлит эти края...
Мир, где рождалась неброская
строгая муза твоя.

Перед домами старинными
с жизнью твоею я слит...
Даль запылала рябинами,
словно бы танк твой горит.

### 2

В Белозерском музее
лежит под стеклом
комсомольский билет.
Пятна крови на нем,
опален он огнем,
и осколок оставил свой след...

Молодой командир не погиб от свинца,
мир в то время не знал про него...
Это первая книга поэта-бойца,
но бессмертная книга его.

3

Друзья уходят.
Надо мыслить чище.
Переписать — в чем грешен — набело.
И не застолье нынче,
а кладбище
меня с тобою в августе свело.

Но ты воспел
отвагу битв
и поле,
и ты в завидной памяти живешь:
тебе с Россией вместе быть, доколе
венчает землю золотая рожь.

СЕРГЕЙ
БАРУЗДИН

## *Незащищенность*

Мы познакомились с Сергеем Орловым в 1947 году на 1-м Всесоюзном совещании молодых писателей. Почти ровесники, мы, казалось, были очень разными. Он, как и я, прошел войну, но был в моих глазах героем — горел в танке... Он, как и я, писал стихи, но был уже поэтом, а я — начинающим самоучкой. Он имел за плечами знаменитое «Его зарыли в шар земной...».

Мы много лет дружили, но для меня всегда оставалось загадкой, как он, смелый воин, был робок и неуверен в себе, когда речь шла о публикации его новых стихов. У нас, в «Дружбе народов», мы раз пять-шесть печатали его большие подборки, и каждый раз это было мукой: Сережа без конца менял в них строки.

У меня была задумка — сделать Сережу заведующим отделом поэзии в «Дружбе народов», и Сережа почти согласился на это, но Союз писателей РСФСР «перехватил» его на должность секретаря. Он был одним из самых добрых и работоспособных секретарей российского Союза, и многие молодые всю жизнь будут благодарны ему за это.

Настоящая поэзия всегда соседствует, по моему глубокому убеждению, со скромностью и даже незащищенностью души. После смерти Сережи Орлова осталась масса его неопубликованных стихов — и военных, и послевоенных. Осталась не потому, что их автор считал, что не пришла еще пора их печатать, а потому, что он не был убежден в их зрелости и законченности. В этом тоже весь Сережа. А стихи эти на поверку оказались и зрелыми и завершенными, и спасибо Веле, что она опубликовала их. Жаль, что сам Сережа не мог знать уже читательской реакции на эти стихи...

Поэт, как говорится, богом данный, волей судьбы смелый воин, Сережа был в жизни человеком удивительно робким и застенчивым. И не защищенным душевно.

Сейчас мы понимаем, как неотделимы стихи Сергея Орлова от нашей большой и многогранной поэзии. И не только стихи военные и послевоенные, а и даже далекое детское стихотворение «Тыква», с которого начался поэтический взлет Орлова-поэта.

ДАНИИЛ
ГРАНИН

### *На берегу*

...Много лет, пожалуй вплоть до конца жизни, занимала его мысль о происхождении человека. Началось это чуть ли не в сороковые годы, еще задолго до полета Гагарина в космос. Уже тогда Сергей Орлов стал считать, что человек попал на Землю из других миров. Постепенно он становился все более убежденным сторонником инопланетного происхождения человечества, придумывая все новые и новые аргументы. Формы храмов, будь то католические соборы или православные, доказывал он, неслучайны, они напоминают очертания межпланетных кораблей. И как он был рад, когда появились в печати первые фотографии нашего космического корабля «Союз». Я помню, как С. Орлов водил нас на выступления Зайцева, который по тексту Библии пытался найти факты, подтверждавшие внеземное происхождение человечества, как заинтересовывали С. Орлова всякие гипотезы, связанные с Балбекской платформой, с Тунгусским метеоритом, летающими блюдцами, фильм, который демонстрировался в городе — «Воспоминания о будущем». Были у него и собственные доказательства. «Почему человека так тянет к звездам? — не раз говорил он. — Почему с таким волнением смотрят на звезды? Звездное небо вызывает всегда какое-то особое чувство в душе». И снова и снова все убежденней и убедительней анализировал он это чувство, где была своя неизъяснимость с печалью и смущением, и выходило, что это говорит в нас память предков, прапрапамять нашего звездного происхождения, тех давних космонавтов, которые, по его словам, прибыли на Землю, поселились здесь или во всяком случае положили начало нынешнему человечеству.

Я, прикованный к своему техническому, физическому образованию, недоверчиво требовал доказательств, спорил, опровергал и все же поддавался не столько его доводам, сколько его вере. Он верил, что мы не одиноки в космосе. В его теории была мечта о вечности человека. Это была потребность, особенность его поэтического дара. Я понял это не сразу. Поэзия выражалась для С. Орлова не только через стихи, она пропитывала всю его натуру, она была

способом его мышления. Поэтическое познание мира — особое свойство таланта, тот внутренний поэтический хрусталик, который позволял иначе видеть Вселенную и многое увидеть в ней. Он мыслил как поэт, и, обращаясь к тайнам мироздания и человеческой родословной, он оставался поэтом. В нем своеобразно уживался мыслитель, сильный мыслитель, увлеченный главными проблемами естествознания, и поэт, который придавал его мысли ту особую провидческую фантазию, какая свойственна только большим поэтам и художникам.

Сергей Орлов не был фантастом, человеком не от мира сего. При всем своем интересе к космосу, к другим мирам, к звездам, он любил землю со всеми ее бедами, невзгодами и потрясениями. Некоторые вещи его поражали, другие почему-то не волновали его души. Так, поездка в Англию на него почти не произвела впечатления, зато поездка в Китай его поразила, и надолго. Он много рассказывал о Китае, возвращался к своим наблюдениям, предчувствуя, что ли, узел, который завяжется здесь через несколько лет.

Вообще отзывчивость к мировым событиям была у него развита чрезвычайно, он как бы страдал «гипертонией» восприимчивости к этой самой мировой политике.

Как-то в году семидесятом, после трудного рабочего лета, мы с Сергеем Орловым решили поехать на две недели к морю и в октябре месяце, взяв жен, как говорится, дикарями отправились в Адлер. Все сезоны кончились, побережье было безлюдно, но было тепло, и вода еще не остыла, мы целыми днями бродили по пустым пляжам.

В столовых и буфетах жарились шашлыки, лежали хачапури, и официанты с неслыханной приветливостью зазывали нас. Сергея, с его рыжей бородой и рыжей гривой, принимали за моряка-ирландца. Такого юга, теплого и пустынного, мы не видели. И почему-то в этой мирной солнечной тиши мы отдались воспоминаниям о войне.

Как ни странно, Сергей Орлов не очень-то любил вспоминать военные эпизоды. Война, с ее законами дружбы, чести, с ее оценками подлинного, прочно вошла в его душу, он оставался солдатом больше и дольше всех нас и старался поддерживать в каждом из нас чувство солдатского братства, достоинства. Именно этот военный дух отличал Сергея Орлова, и тем не менее при этом он большей частью избегал рассказов о своей войне.

А тут, в тот октябрь, вдруг нас обоих потянуло, понесло к тем сороковым, пороховым годам. Мы внезапно обна-

ружили, что забыли, катастрофически забыли некоторые подробности танковой техники, всякие торсионы, фрикционы, марки рации, даже плохо помнили размещение снарядов внутри танка. А казалось, что впечатано навеки. Оказалось, что забылась техника, забылись даты, перипетии отдельных боев, по-видимому, мы — такая у меня была мысль — не сумели бы написать свои военные мемуары, хотя именно Сергей Орлов из года в год, не повторяясь, возвращался к военной теме. Война опалила не только его лицо, но и душу — и болью, и светом. Он говорил о том, что мы, в сущности, последние солдаты, потому что новая война если будет, то потребует совсем иной солдатской службы. В глазах всех молодых мы должны поддерживать это звание своим гражданским поведением. Почему же, почему этого не получается? Даже непонятно, отчего тот самый человек, который бесстрашно ходил под огнем в атаку, боится выйти порой на трибуну, сказать правду, опасается вступиться за товарища...

Он приводил разительные примеры, были какие-то поводы для этих разговоров, но запомнились не они, а печальное недоумение и безответные вопросы, которыми он пытал меня.

Сам он тоже не всегда, но лучше и строже многих из нас, соблюдал эти требования. Я вспоминаю, сколько сил приложил он к тому, чтобы опровергнуть несправедливую критику в адрес отличной повести Виктора Курочкина «На войне как на войне...». И так же бился он за доброе слово о поэзии Глеба Горбовского — поэта младшего поколения, не знавшего войны...

Той адлеровской осенью мы оба осматривали, осмысливали свою войну, себя на ней, свое поколение. Я делал это впервые, и мне помогла та нелегкая умственная работа, в которую Сергей Орлов умел вовлекать, его неожиданные задумчивые вопросы...

Космическое видение, о котором я упоминал, порой позволяло ему мыслить удивительно широко, отстраненно, как будто он смотрел на все издалека, из звездного неба. Не в этом ли секрет знаменитого орловского стихотворения «Его зарыли в шар земной, а был он лишь солдат...»? И тогда, на пустынном адлеровском берегу, у подножия белесого теплого моря, было такое ощущение, словно мы сидели где-то на берегу Вечности, издалека обозревая пережитое, определяя его масштабы, истинную цену содеянного в Великой войне.

Я познакомился с Сергеем Орловым году в пятидесятом. Забыл точные обстоятельства, помню какое-то невзрачное кафе-забегаловку на Литейном проспекте и шумную веселую компанию вокруг Сергея Орлова. То были молодые тогда ленинградские поэты — Владимир Торопыгин, Олег Шестинский, был там мой товарищ по Кировскому заводу поэт Николай Новоселов, был там, кажется, Леонид Хаустов, еще кто-то, говорили о литературе, читали стихи, все как и положено среди поэтов, но при всем этом было ничем не подчеркнутое ощущение главенства Сергея Орлова. И впоследствии, даже в присутствии поэтов старшего поколения, личность Орлова всегда ощущалась отдельно, не слитая с другими, в нем был центр, если не главный, то во всяком случае своей, независимой галактики. Однако начало, первое появление передо мною Сергея Орлова, я вспомнил потому, что это будет повторяться еще много лет — постоянное вращение, вовлечение, притяжение к Сергею Орлову людей самых разных, которым всегда были интересны его суждения, его вкус, его мысли, людей, которые нуждались в его дружбе, которые тянулись к нему... Он был всегда окружен. Кто-то к нему приезжал, кто-то жил, кто-то его искал, часто это бывало в ущерб его работе, его стихам. Видимо, он без этого не мог. Так же как он не мог, не умел легко зарабатывать на жизнь. Он не занимался переводами, почти не писал очерков, статей, рецензий. Он был верен только стихам, одним стихам. Конечно, как-то приходилось подрабатывать, но делал он это с трудом, неохотно.

Было заведено, что в день 9 Мая мы, бывшие фронтовики-писатели, собирались и под предводительством Сергея Орлова отмечали праздник Победы. Следил Орлов за этим обычаем строго, да и сам обычай был в сущности заведен им и его стараниями поддерживался. Приходили М. А. Дудин, Д. Т. Хренков, Б. М. Пидемский, Б. А. Фельд, А. К. Соколов, мы с Сергеем. Это была несколько даже торжественная церемония, происходили какие-то встречи, неожиданные, удивительные, к нам подходили какие-то люди, узнавали Михаила Дудина, Сергея Орлова, читали их стихи, просили их прочесть. Однажды мы все поехали в гости к моему комбату, где собрались мои однополчане, и Орлов там пел и читал стихи, и все в этот день было освещено алым отсветом Победы, все было оправдано, и жизнь наша казалась оправданной, и снова мы были молодые, беспечные, бесстрашные, как в то лето 1941 года...

СЕРГЕЙ
ДАВЫДОВ

* * *

На бивуаках танковых колонн,
сжав карандаш, он колдовал над словом.
Был в юности, как бронза, обожжен,
навылет ранен временем свинцовым.

Любил Неву. И радовался новым
стихам друзей. И в песни был влюблен.
Был мудрым, звонким, золотоголовым.
И был раним. И был незащищен.

Вмещало сердце звезды, океаны,
все дни войны, все мгинские бураны,
любовь к Отчизне, преданность друзьям.
В Москве меня еще недавно встретив,
он говорил: «Стихи — совсем как дети!»

И вот ушел — стихи доверив нам...

## ВЛАДИМИР ТОРОПЫГИН

### *Ценности будничные, высокие...*

Сейчас, когда я вспоминаю годы ранней юности, первые студенческие годы и хочу определить самое характерное в личности и творчестве Сергея Орлова тех лет — тоже студента, только на семь лет старше, чем многие его однокашники, пришедшего в университет не со школьной скамьи, а с войны, — я склоняюсь к тому, что это, самое характерное, можно определить так: постоянные поиски ценностей.

Слово «ценности» он вообще очень любил...

В своей первой автобиографии — автобиографии к томику избранного, вышедшему в издательстве «Художественная литература», — он написал: «Танкисты не любили громких слов и верили в будничные высокие ценности: дружбу, товарищество, долг».

Веру в эти, уже открытые им, ценности он внушал и нам — тем, кто был помладше, тем, кто не воевал. Фронтовая их будничность возвышала будничность обыденную.

Сергей написал предисловие к моей книжечке «Избранная лирика», вышедшей в издательстве «Молодая гвардия». Там была такая фраза: «Поэзия рождается, как искра, как молния в столкновении разных полюсов обыденного». Признаться, тогда я не очень четко понимал смысл этой фразы. Потом мне стало ясно, что речь здесь идет о том импульсе, который дает столкновение разных систем ценностей, разных подходов к жизни, разных жизней.

И каждая книга Сергея Орлова — «Третья скорость» и последовавшие за нею «Городок», «Одна любовь», «Дни» — кажется мне настойчивым поиском непреходящих ценностей жизни:

> Век, я хочу с тобою спорить
> о смысле злобы и добра...

Но все это: и предисловия, и раздумья над импульсами, и «Городок», и «Одна любовь», и «Дни» — все это уже пятидесятые и шестидесятые годы, а тогда, в середине сороковых, жизнь наша состояла в основном из университетских занятий и каждодневных прогулок с чтением сти-

хов и разговорами о поэзии. Сергей — широколобый, с овсяным, как он сам определил, чубом, с лицом, покрытым военными шрамами и ожогами, — был, бесспорно, самым авторитетным среди поэтов-студентов: его «Тыкву», «Пускай в сторонку удалится критик...», «Его зарыли в шар земной...» и многое другое все мы знали наизусть, хотя «Третья скорость» еще только печаталась, а вскоре вышла и она, эта книга, сразу ставшая знаменитой. Сергей часто ездил в Москву (вероятно, уже задумал перебраться в Литературный институт, что, кстати, вскоре и состоялось). Из Москвы он привозил стихи поэтов-ровесников, атмосферу тамошних литературных споров.

— Большое количество архаизмов в стихах — ужасно! — говорил он и похихикивал: — Одному такому архаисту сказали: «Языком ваших стихов в наше время даже священнослужители не изъясняются...»

В другой раз обрушивался на усредненный, безликий, «правильный» язык и рассказывал такую историю:

— Иностранец не мог разыскать нужную ему улицу. Остановил прохожего. Спрашивает: «Скажите, пожалуйста, как пройти на улицу имени такого-то?.. — «Вы что, иностранец?» — смеется прохожий. «Как вы это угадали?» — удивляется иностранец. «Слишком правильно по-русски говорите!..» Ужасны стихи, написанные на «иностранном» языке!..

И в конце каждой прогулки — его собственные новые стихи, читаемые с естественной, только ему свойственной, разговорной интонацией...

Во время его учебы в Литературном институте я несколько раз бывал в снимаемой им в Москве комнатке, где-то возле Белорусского вокзала, но запомнил ее плохо, потому что дома мы не засиживались: Сергей спешил познакомить меня со своими московскими друзьями — Марком Максимовым, Марком Соболем, Григорием Поженяном (с Михаилом Лукониным и Семеном Гудзенко я был знаком раньше — по ленинградскому семинару молодых, которым они руководили). Сергей гордился своими друзьями — поэтами фронтового поколения, любил их, стремился радостью общения с ними поделиться с приезжающими ленинградцами.

После его возвращения в Ленинград возобновились наши прогулки по городу, к ним прибавились поездки за город, на рыбалку. Ловили лещей и окуней на заросшем камышом озере Каннельярви. Беседы шли, как правило, о космосе.

Все знавшие Сергея помнят его пристрастие к теме космической, и не только в его собственных стихах, а и в чтении научной литературы, и просто в дружеских беседах. Теперь я прихожу к выводу, что многие его стихи — это соединение темы космоса с темой поиска нравственных ценностей.

Это было все-таки со мной:
с неба на земные континенты
я ступил, затмив собой легенды,
в форме космонавта голубой —

это не просто исповедь лирического героя, это исповедь поэта с характером первых наших космонавтов! Недаром он и «Слово о Циолковском» написал!

Вспоминаю, как в пятьдесят шестом году, после долгого отсутствия, в Ленинград приехал Ярослав Васильевич Смеляков. Мы с Сергеем разыскали его где-то возле Обводного, в маленькой комнатке.

Ярослав Васильевич сказал:

— За прошедшие годы я пересмотрел очень много кинокартин, а вот книг стихов не видел, так что не знаю даже, есть ли сейчас поэзия... — И он попросил Сергея почитать.

Сергей читал много. Когда он кончил, Смеляков сказал:

— Вижу, что поэзия есть!..

Кажется, после той встречи я написал посвященное Сергею восьмистишие:

О земле читаю, о небе ли —
и представить мне нелегко,
что на свете когда-то не было
сочиненных тобой стихов.

Словно в мире подлунном исстари
жили эти стихи всегда,
как восходы, закаты, пристани,
златоглавые города.

Не могу не рассказать еще об одной памятной мне встрече. Случилось так, что в день захоронения праха Неизвестного солдата у Кремлевской стены Сергей и я были в Москве. Мы жили в гостинице «Москва», окна нашего номера выходили на угол улицы Горького и Манежной площади. Нам хорошо была видна торжественно-траурная процессия: бесконечная вереница машин, везущих венки, пушечный лафет с гробом, колонны людей.

Звучала печальная мелодия. Потом, когда гроб стали опускать в могилу, музыка прекратилась, и над площадью зазвенел голос:

Его зарыли в шар земной,
А был он лишь солдат...

Сергей был взволнован, взволнованы были все находившиеся в это время рядом с ним: еще бы, мы были свидетелями, как стих Орлова, говоря лермонтовскими словами, «звучал, как колокол на башне вечевой»...

Я счастлив, что жизнь одарила меня дружбой с таким старшим товарищем, счастлив, что он учил меня вере в ценности жизни — ценности будничные, высокие...

АНТОНИНА
МАСЛОВСКАЯ

## „Орлов Сергей в „Неве" руководил..."

Белый зал Дома писателя полон.

Деревянная тренога бережно держит на сцене портрет Сергея Орлова.

Высвечен прожектором лик друга. Черной креповой ленты нет. Ни к чему она. Не возьмет его больше смерть!

Он, Сережа, вернулся к нам в Ленинград. Мы собрались не на годовщину смерти, а на его второе рождение.

Невольно листаешь книгу, когда уходит ее творец. Вздыхаешь над автографом. Выстраданное поэтом пронизывает. Его раздумья — наши раздумья, это единит нас.

Звучит голос Орлова... Он ниже, чем живой, но обвыкаешься, и вологодский выговор щемит сердце. Вихрем пронеслись кадры «Жаворонка». И хорошо, что люстры притушены.

Вспоминают друзья. Вспоминают легко и благодарно.

Молча сидят в президиуме Екатерина Яковлевна, мать поэта, и овдовевшая Виолетта Степановна. Сидит на уроке мужества ясноокий внук Степан. Семилетний ребенок знает, по ком страдают дома,— сцепил зубы.

«Невцы» распрощались с Орловым в 1963 году. Упрочилось имя, возрос авторитет Сергея Сергеевича, и ему доверили руководящую должность в правлении Союза писателей РСФСР. В Ленинграде он бывал желанным гостем. Виделись мы за год до его кончины. Человеческая доброта — прочный заслон от старости. Та же приветливость, та же улыбка, то же оканье.

Скоропостижная смерть Сергея Сергеевича на пике творческих достижений оглушила ленинградцев. Я не представляю Орлова мертвым, но был некролог в «Литературной газете», вернулись скорбные ленинградцы, которые опустили гроб с телом дорогого нам человека в землю.

Лежит наш Сережа в Москве, но корни его в Ленинграде. Тут его молодь — посаженная и выхоженная.

Берет слово Анатолий Аквилев — ветеран войны, танкист. Он читает поэму, посвященную брату по оружию... Сгорели в танке сыны. Никто и никогда не утешит мать — ни скорбь Родины, ни бессмертие их, ни посмертные награды. Ничком распласталась на земле страдалица, исступ-

ленно ласкает она траву... Потеплела травушка — откликнулся родимый сынок...

Волглыми становятся глаза Екатерины Яковлевны. Она открыто плачет — ей полегчало...

Явственно помню застенчивого Толю Аквилева, который протянул Сергею Сергеевичу блокнот, исписанный карандашом. Орлов полистал, и лицо его озарилось. Огромный цикл составился из прочитанного, и тут же эта подборка была подписана в набор.

В приемные и неприемные дни к Орлову приезжали земляки, заходили танкисты, шли художники, чтецы, поэты именитые и начинающие.

Поначалу он стыдился исполосованного огнем лица, прятал в перчатки чудом спасенные хирургом руки. Потом рубцы упрятались в бороде, ощетинились бакенбардами. Мы гордились его обличием — горелый танкист! Виделась нам прежде всего душа Сергея — прямая, бескомпромиссная, незащищенная. Он взрывался от пошлости и снобизма. Он говорил правду любому не моргнув глазом.

...Закрыт вечер памяти. Расходятся друзья.

Светлая грусть, высокая гордость, и, как вздох облегчения, вспомнился мне шуточный дудинский экспромт:

Орлов Сергей в «Неве» руководил
Поэзии убыточным отделом.
Ни времени, ни силы, ни чернил
В своей работе трудной не жалел он.

Он ежедневно преступал порог
Редакции и думал о победе...
И сам редактор вытащить не мог
Его домой намеком об обеде.

Он отощал, и сердце запустил,
И поредел в усердьи бородою.
Поэзия, известно, много сил
Берет, здоровью пригрозив бедою.

Но, как он ни старался, ни потел
Рубашкой чешской до последних ниток —
Не процветал поэзии отдел
И нес «Неве» лишь форменный убыток.

Все тут верно, кроме одного — при Сергее Орлове поэзия в «Неве» процветала. Рождались новые имена, набирала силу молодая поросль. Стороной обходили редакцию пошляки и графоманы.

МИХАИЛ
ХОНИНОВ

## *Его стихи всегда в бою...*

Военных лет пора лихая —
Весь мир
В немолкнущих громах;
Земля под взрывами вздыхает,
И дым не тает в небесах.

Казалось, выжить невозможно
В разгуле тысячи смертей —
Ни ночью
В заревах тревожных,
Ни днем
В раскатах батарей.

Сигнал тревоги спозаранку
В окопах вздыбливал полки;
И шли грохочущие танки,
Бросались вниз штурмовики.

И, в лоб фашистов атакуя
С заданьем — выбросить
десант,
Машину вел свою стальную
Сережа — старший лейтенант.

Разрывом черные букеты
То слева встанут,
То правей...
Тупой удар!
И вспышка света
Бьет по глазам ножа острей.

Огонь охватывает танки,
Как кучу хвороста в жару;
Броня снаружи и с изнанки
Пылает чадно на ветру.

А он не прекратил атаки,
Покинув свой горящий танк,—

Сам был пылающий, как факел,
Сережа — старший лейтенант.

Как табуны коней гривастых,
Промчалось
много-много лет.
Но ежедневно,
Ежечасно
В сраженье был
Сергей-Поэт!

Как долгу верные солдаты,
Его стихи
Всегда в бою;
Они любить нас учат свято —
И жизнь,
И Родину свою.

Перевод с калмыцкого
Игоря Романова

## ДМ. МОЛДАВСКИЙ

### *Рыцарь в шлеме танкиста*

Как-то Мартирос Сергеевич Сарьян говорил о разнице между процессами зарисовки и рисования. Зарисовка — это стремление уловить и запечатлеть те или иные внешние черты предметов, сохранить правдоподобие, сходство. Рисование — это другой процесс, это — отражение явлений во всей сложности, противоречиях, глубине.

Мы будем говорить не о художнике, но о поэте. О поэте, чье творчество — не зарисовки, пусть весьма правдоподобные, а рисунки «во всей сложности, противоречиях, глубине».

Поэт Сергей Орлов. Я знал его еще послевоенным — юным, озабоченным неустроенным бытом и невышедшими книгами... Те книги вышли давно, стали классикой, а поэта уже нет, и вчерашние рецензии превращаются в воспоминания или страницы истории.

В стихах Орлова — зрелого, признанного, сложившегося — и тех, которые мы все знали по сборникам, и тех, которые внезапно раскрылись перед нами уже после его смерти, сохранилось это внутреннее беспокойство, неустроенность души, жадный интерес к мирозданию и людям. Без этого стихов бы не было, была бы гладкопись.

Познакомились мы с Сергеем Орловым вскоре после войны в Ленинградском университете. Я был аспирантом кафедры фольклора, а он — студентом, но не рядовым студентом, а студентом-поэтом, который уже широко печатался в журналах, о котором уважительно говорили в аудиториях и коридорах.

Хорошо помню рассказ Сергея Орлова о 1-м Всероссийском совещании молодых писателей в Москве: он мне передал привет от нашего сверстника — молодого польского критика, переводчика Евгения Шварца. Говорили об университете и о том, что поэт все-таки должен ехать учиться в Москву, в Литинститут имени Горького, и т. д.

Потом встречи в университете прекратились: Сергей Орлов учился в Москве, и встречались мы с ним почему-то в поезде, разумеется, в бесплацкартном вагоне, где, заняв третьи полки, мы вполголоса делились литературными — и только литературными — новостями. Надо сказать, что Сергей Орлов не любил так называемые «личные», «заду-

шевные» разговоры. Понадобилось много лет знакомства, перешедшего в дружбу, чтобы в разговоре появились подробности, да и то редко, — болезнь Виолетты, его жены и самого близкого друга, или внука Степки, — да и об этом Сергей Орлов говорил, только если уж припрет по самое горло (внука он любил самозабвенно — помню, как раз или два они с Виолеттой приезжали на Ленинградский вокзал в Москве и, преодолевая смущение, хотя отношения у нас были не такие, чтобы смущаться из-за пустяков, передавали «для Степки» какие-то пакеты).

В вагоне я иногда встречал Сергея вместе с другим литератором, его тогдашним приятелем. Человека этого я не очень любил и всегда подчеркнуто спрашивал: «Ну, как твой Кусиков?» — имея в виду неизменного спутника другого Сергея — Есенина, увы, не украсившего его биографию. Вот этот «Кусиков» был некоторое время при Сереже, и я «подначивал» его; Сережа об этом знакомстве говорил потом с печалью и презрением.

Я запомнил его ранимым, мягким, бесконечно благородным; со злостью он говорил лишь о пошляках, приобретателях да литературных «хуторянах».

Среди людей его поколения, которых я знал, пожалуй, только он да еще Сергей Владимиров обладали такой душевной щепетильностью, хрупкостью, благородной, душевной ранимостью. Любая случайно вырвавшаяся у него резкость, о которой собеседник тут же забывал, заставляла его мучиться буквально несколько дней. Он был очень мягок и очень честен. Никогда не слышал от него никакой двусмысленности. Было в нем что-то от классического русского интеллигента — от чеховского интеллигента, хотя по возрасту, по биографии он не попадал в эту категорию.

Последняя прижизненная книга Сергея Орлова называлась «Белое озеро». В нее вошло многое, тогда мы думали — почти все! — написанное поэтом. Она как бы суммировала его сборники «Третья скорость», «Поход продолжается», «Городок», «Камень», «Созвездие» и другие. И отразила черты его характера.

Но начнем не со стихов.

Сергей Сергеевич Орлов родился в 1921 году в селе Мегра, в сорока километрах от Белозерска. Родители — Сергей Николаевич и Екатерина Яковлевна — сельские учителя.

Год рождения — 1921-й, чаще всего я встречаю его не в справочниках или энциклопедиях, а на кладбище:

«1921—1941» или «1921—1942»... Когда-то после разговора с Сергеем Орловым я написал:

«Есть среди людей этого года рождения счастливцы. То, за что они сражались, неколебимо, сами они живы, и уж их-то не пугают невзгоды и несчастья среднего калибра. Может быть, отсюда тот философский оптимизм, который пронизывает поэзию Сергея Орлова, да еще та радость жизни, которая порой просто фонтанирует в его стихах:

Косматый, рыжий,
словно солнце, я
оптимистичен до конца.
Душа моя —
огнепоклонница,
Язычница из-под венца.

Главное — вечно, остальное приложится, „и ничего не может статься с весной и Русью никогда"».

Но война все-таки догнала его... Я узнал о его смерти на далеком аэродроме, когда бортпроводница протянула мне газету с некрологом. Самолет уходил в небо, а мне казалось, что я проваливаюсь, что рвутся ремни, связывающие меня с этим куском выброшенного вверх металла.

Итак. Белозерск. Мегра. Это тоже слова не простые. Лет за десять до рождения Сергея Орлова в этих местах побывали два фольклориста — Борис и Юрий Соколовы. Сборник их — «Сказки и песни Белозерского края» — стал классическим сборником русского народного творчества, а край, открытый ими, так и вошел в нашу литературу как славный край сказок, песен, легенд. Удивительных. Уникальных.

Книга братьев Соколовых — редкая; на всех известных мне экземплярах чернильный штамп «В продажу не поступает» — явная дань цензуре, не без основания усмотревшей в книге крамолу. А крамола действительно была — острой сатирой на командующие классы были пронизаны сказки, о тяжелой неволе и социальном неравенстве говорилось в песнях...

Край, где родился поэт, где прошло его детство, был песенный, сказочный, с юмором и с аккумулированной ненавистью к угнетателям.

Я бывал там, на вологодской земле, размашистой яркой осенью, совсем непохожей на смиренные пейзажи вологодских живописцев; был в Ферапонтовском монастыре, где хранились знаменитые ныне фрески. И затаив дыхание слушал тамошнюю речь, округлую, точную, рас-

писную — то беспорядочно щедрую, как осенний лес, то продуманно точную, как фрески Дионисия.

Мы почему-то, говоря о писателе, стесняемся делать упор на его детские впечатления. Это неверно, — для поэта, для языкотворца они порой главенствующие. Очень умный и очень культурный писатель может их подновить, подправить, обогатить — так делал, работая над романом «Петр I», Алексей Толстой. Но запас, полученный с детства, — основной, неделимый, неразменный фонд. И хотя фольклорные параллели или цитаты в стихах Сергея Орлова редки, в них живет отблеск волны Белозерья, которая омывает сказки и песни, записанные Ю. и Б. Соколовыми, и несет отраженные в ней контуры северных изб, монастырей и часовенок. Осталась любовь к слову, к афоризму, к пословице, любовь к притчам (помните его стихи: «Не имей сто рублей... Слава богу, не имеем...»?).

Родители — учителя.

Это значит — культурная стихия, окружающая поэта с детства. Это значит — органичность книги в доме, как и органичность песни на улице. Впрочем, песня на Севере, конечно, входит и в дом учительницы. И не зря спустя полвека я выпытываю у Екатерины Яковлевны уже позабытые ею песни:

...Уж мы ходили,
да мы гуля-а-ли
На все четыре устьи-и-ца.
Как на первом устьи-и-це-е
Там вода бежи-ит
студен-а-ая...

— Я сама пела, Сергей Николаевич пел... «Есть на Волге утес...», «Вниз по матушке по Волге...», «Вечерний звон», «Вниз по Волге-реке...», «Хаз-булат удалой...»... И еще была песня «У зори, у зореньки...»: «У зори, у зореньки много ясных звезд, а у темной ноченьки их и счету нет...»

— А у вас колядовали?

На лице Екатерины Яковлевны, кажется впервые за многие-многие месяцы после смерти Сергея, промелькнула улыбка.

Коляда, коляда.
Зародилась коляда
На второй день рождества.
Мы ходили, мы искали
Колядовщика.
Нашли коляду
У Петрова двора,

У Петрова двора
На семи столбах...

Книга и песня — хорошее начало для поэта.

Но было другое, вероятно важнейшее.

Биографии людей «г. р. 1921» не бывали гладкими и в самом начале. Время врывалось в жизнь, как шаровая молния в избу... Отец умер рано, в семью вошел отчим — человек тоже передовой, активный. Ивана Дмитриевича Шарова в числе других двадцатипятитысячников послали на Алтай — колхозы организовывать. Сперва он был председателем коммуны «Спартак» (Сережа как-то упомянул об этой коммуне: «На работу шли сообща с песнями, на обед шли с песнями — садились за общий стол и ели все вместе одно и то же — еда была простая, но было ее вдоволь»). Потом — председателем сельхозартели в селе Новая Чемровка, затем в Бийске, в сельхозартели «Алтайская флора»... Позднее его послали в Новосибирск учиться в плановый институт, а оттуда он перевелся в ленинградский институт.

Бийская область — это снова песня и снова народный говор. Но еще, главное, ощущение времени на стыках судеб — не людей, а классов, народа... Сергей Орлов вспоминал: «За красный галстук в те годы влетало от кулацких сынков, но я носил его с гордостью, как мои друзья пионеры».

...Екатерина Яковлевна вспоминает, что Сергея в раннем детстве на посиделки не пускали, а пел он хорошо и песен знал немало. Еще рассказывает, что любил рисовать и лепить — из глины и снега, увлекался радио и долгие часы проводил в наушниках. А главное — книгочеем был немалым... Учился в десятилетке в Белозерске, потом поступил в Петрозаводский университет. В «Белозерском колхознике», районной газете, и в республиканской «Ленинское знамя» печатались его стихи, должна была выйти первая книга.

И до войны были у него стихи превосходные — недавно Виолетта Орлова переписала для меня несколько его стихов 1940—1941 годов. Я просто поразился свежести сравнений, стойкому народному юмору, точности видения. В стихах этих — весенняя река «ледовую сорочку разорвала нынче поутру», черный грач «по полю важно ходит, будто бы районный агроном», «стучал кузнечик маленьким мотором, как робот, голенаст и несуразен», «шли муравьи, закованные в латы», «кувшинки, как следы зве-

рей никем не виданной породы» и, наконец, блистательное: «Вся река усыпана гвоздями, шляпками серебряными книзу...»

Конечно, война определила направление мыслей, чувствований, ассоциаций поэта, и думаю, что правы критики, ищущие основные мощные истоки творчества Сергея Орлова в военных впечатлениях и военных сравнениях.

Я сам поражался силе этих мотивов, определявших звучание и тональность даже стихов и поэм о любви, — поэма его так и называлась — «Одна любовь» — и звучала как высокая декларация реальных человеческих отношений, пощечина ханжам, глубокое и сильное произведение.

Можно говорить о движении поэтического характера, о появлении новых интонаций. Но война навсегда осталась в стихах Сергея Орлова. Можно считать ее точкой отсчета. Можно назвать ее щемящей раной. Она стала критерием гнева, а подчас и отчаяния. Она стала мерой дружбы и любви. Она врывалась в самые мирные и самые «гражданские» стихи поэта напоминанием о том, что было, и о том, что не должно повториться.

Ярок, мучительно знаком образ героини поэмы — женщины, которой «не дарили роз», а она «ждала, что все же будут розы». И поэт, человек трудной военной биографии, вспоминает, что и ему жизнь не подносила цветов:

Четыре года посреди земли,
Слепящим громом разрывая воздух,
Передо мной вставали и цвели
Бризантные, клубящиеся розы.

Здесь даже цветы ассоциируются с разрывами, а травы с колючей проволокой. И хотя в стихах последних лет тема солдатских переживаний уступает теме философского осмысления мира, война незримо присутствует и там. Это то, с чем засыпает и просыпается человек, что приходит к нему во снах и не уходит наяву.

Фронтовые дни остались для Сергея Орлова не только воспоминанием, но и каким-то узлом, связывающим нити самых разнообразных чувствований и впечатлений. Более того, иногда кажется, что сама яркость красок на палитре поэта возникает благодаря сравнению сегодняшней жизни и военных впечатлений.

И лишь, пожалуй, в стихах о великом искусстве старой Руси — о Дионисии да о старых песнях, о том, что постав-

лено поэтом выше повседневных забот, мотивы войны замолкают, чтобы остаться где-то в памяти, «в уме».

Стихи Сергея Орлова — и те, которые прочно вошли в память читателя еще в первые послевоенные годы, и более поздние, которые как бы укрепили создавшееся у нас мнение о С. Орлове как о певце солдатского братства, и совсем новые, казалось бы, далекие от поэзии недрогнувшего мужества военных лет — создают очень определенный образ поэта. Он стремится найти закономерность явлений, их внутреннюю связь, найти философское объяснение самых разных явлений. В целом ряде стихотворений он говорит о подвиге, который только потому и стал подвигом, что был сотворен массами («Второй»). Он напоминает о тех, кто создал, может быть, самые удивительные и важные вещи в истории человечества и остался неизвестным («Кто был изобретатель колеса»). Он пишет о проложивших первые пути и о молодых людях, для которых битвы его поколения — далекая история, нечто вроде битвы на поле Куликовом. Из всего этого складывается образ героя поэта, человечного, умного, защищенного от великих обид и ненужной морализации. Ему понятны законы истории, и он стремится проложить прямой путь от моральной силы далеких предков до наших современников, «запросто великих» («Коммунисты»).

Сергей Орлов—один из поэтов начала сороковых, которое приняло эстафету двадцатых годов, разумеется внеся в нее коррективы времени, и передало ее тем, кто пришел в поэзию уже спустя два десятилетия.

Поэты редко появляются в эпоху спокойного развития общества. Чаще они возникают на острой грани социальных и общественно-психологических сдвигов, отражая большие явления в жизни общества. Разумеется, традиция в поэзии это не просто преемственность, это и развитие, и полемика; качества, приобретенные поэзией военных лет, — ненависть к громким словам и глубокий не распыляемый на фразы патриотизм, органичное ощущение себя наследником всей исторической славы страны и чувство ответственности за ее судьбы, не романтическое, а бытовое видение смерти, ощущение себя на передовой в прямом смысле этого слова. Стихотворения Сергея Орлова — не зарисовки. Это рисунки, обогащающие и дополняющие мир.

И не случайно в его стихах сильно и цветовое решение, и собственно рисунок (сюжет, концепционность, доминанта мысли).

«Поезд пригородной зоны в лес поехал, как этаж новостройки освещенной...» Или еще: «Летит сосна, роняя иней, как бы споткнувшись на бегу». Рисунок стиха разный — и данный «впрямую», и с логическим сдвигом. Гибкость линии. Лаконизм. Точность перспективы. И всегда есть нечто «фронтовое»; в стихах о сосне этот фон ярок, не заметить его нельзя:

Но от сравнения с солдатом
Я отрешиться не могу,
Вот так споткнувшимся когда-то,
Назад лет двадцать, на снегу.

В других стихах, строки из которых я привел, постоянного фона — то есть войны — на рисунке нет. Но о чем бы ни писал поэт, где-то не в «подтексте», а в подсознании — война, воспоминания о том, «как редело наше поколенье». В более поздних стихах поэта очевидно стремление рассказать не просто о красоте мира, о счастье жить, о всем том, что особенно заметно человеку, за спиной которого «столько грома, крови, боли и на дыбы встает земля».

В рисунке этих стихов редки фольклорные стилизации; поэт не очень часто пользуется лексикой народной песни или сказки. Но о чем бы он ни говорил, на память приходят образы пословиц, поговорок, народной фразеологии. И ощутим в этих стихах северный говор — та удивительная речь, которую можно уподобить лесной тропинке, то огибающей валуны, то подходящей к озерцу.

В последнее время мы с Сергеем Орловым встречались часто — каждый раз, когда он приезжал в Ленинград, и в каждый мой приезд в Москву. Мы гуляли с ним вечерами, обычно выходя то на Петровскую набережную Невы, то к Петропавловской крепости.

Обычно гуляли молча.

Иногда Сергей читал стихи. В разговорах проявлялась его симпатия к людям, гордость за наших «стариков». Помню рассказ Орлова о вечере, посвященном Мариэтте Шагинян, — это было после получения ею Ленинской премии.

Надо сказать о поразительной доброжелательности Сергея — он всегда радовался успехам товарищей и никому не завидовал. И никогда не хвастал сам! Никогда!

Ощущение молодости входило в его лирические стихотворения, обновляя и освежая краски (в стихотворении

«Весна» поэт рассказывает и о последних льдинках, подобных лебедям, о сиреневой гари бензина, о дымящемся перегоне).

Мир вещественный, полный ярких красок и реально ощутимых предметов, — в стихах С. Орлова очень веселый, очень молодой мир. Иногда кажется, что поэт его видит впервые, хочет со всех сторон рассмотреть разные предметы, ощупать их руками. Щедро нагнетает он образы и цвета: «Зеленый, и красный, и синий...»

От рисунка — к цвету.

Север наш своего живописца не нашел — были, конечно, художники, и вовсе не плохие, а вот такого, чтобы сломал незнамо откуда идущее и «краски там блеклы, и тона неярки, и линии скромны», — не знаю... Вместо живописцев краски и тона Севера открывают прозаики, фольклористы, поэты... Меркнут краски любого карнавала перед осенними тонами Севера, когда над ультрамариновой гладью озера бушуют синие и алые листья осин, желтые березовые, да еще и небо вдруг раскроется синим-синим...

В стихах у Сергея Орлова: «Встала в небе радуга цветная, как ворота на конце шоссе»; «Белый, красный, золотистый город, неба, солнца, красок кутерьма». Или: «Девушки с льняными волосами и глазами неба голубей», или: «Мне на Волге потом рассказали матросы: плыл по Волге цветами усыпанный остров» и т. д.

...Опять вернемся к детству, к концу двадцатых — началу тридцатых годов.

Напомню, что тогда Сергей Орлов еще и не был поэтом, а был лишь скромным юношей-читателем, в мире, окружающем его, уже совершались дела, огромные по своим масштабам, искренне и точно отраженные в тогдашних стихах и поэмах.

Шло преобразование деревни.

Шла реконструкция промышленности.

Переделка разума.

Все это входило в быт, в семью. И все это воспринималось как перестройка Вселенной.

Александр Прокофьев писал, например:

Мир не видывал такой погони
Лихорадки мачт и крепких рей.
Мы другое время узаконим
На просторах суши и морей.
. . . . . . . . .
Небо опрокинуто корытом,
Смелый день восходит на Памир.

Кончено,
повенчано,
покрыто.
Люди перестраивают мир.

Вселенная начиналась рядом — за кумачовым плакатом на избе-читальне. Космос был продолжением революции. Так был воспринят мир еще в самых первых стихах нашей поэзии. Порой мы говорили о поэтах этих первых послевоенных группировок с уважением, нежностью, в которой тем не менее проглядывала и ирония: их штурм небес, воображаемые полеты в иные миры — все это еще совсем-совсем недавно казалось сказкой в нищей и разоренной стране. Но сегодня ирония ушла.

Революция не меняла масштабов ни на одном из этих этапов, а поэты, продолжающие то, что было создано и пять и шесть десятилетий назад, говорят об этом с полным правом. А космос, Вселенная, миры — после полета Ю. Гагарина они уже не столь далеки от нас!

Но стык повседневности и миров определял масштабы видения и раньше.

С этим Сергей Орлов пришел в войну; с этим вышел из нее.

И война разделилась у него на две — одна страшная, бытовая, изнурительно-каждодневная, та, которая огнем и смертью ворвалась в его танк, и та, тоже страшная и неимоверно трудная, но уже иная — вселенская, революционная, космическая, которая рисовала масштабы будущей победы.

Одна не отрицала другую. Была война, пережитая солдатом, бойцом, и война, осмысленная философом и историком.

Теперь об одном удивительном разговоре с Сергеем Орловым, который происходил 10 или 11 апреля 1961 года.

Идем мы с Сергеем по улице Братьев Васильевых. И вдруг он спрашивает:

— Как ты относишься к Циолковскому?

Я говорю, что в детстве читал о нем и считаю, что это был, конечно, гениальный человек...

— Нет! — говорит Сергей, — я тебя о другом спрашиваю. Знаешь ли ты, что не пройдет и двух-трех лет, как человечество устремится во Вселенную? Все материки, все страны открыты. А человечество не может жить без открытий — это просто в природе, в душе человека... Я вот все думаю о межпланетных перелетах...

И он долго рассказывал мне, какой, по его мнению, должна быть ракета, которая уйдет во Вселенную. Мы помянули нашего фантаста А. Беляева, еще немного поговорили и разошлись.

А уже на следующий день (или через два дня) я звонил Сергею Орлову и орал в трубку слова экстренного выпуска «Ленинградской правды» от 12 апреля 1961 года.

«...Свершилось великое событие. Впервые в истории человек осуществил полет в космос... Первый человек, проникший в космос, — советский человек, гражданин Союза Советских Социалистических Республик!»

Вселенная, космос, Земля — все это вдруг стало удивительно достижимым, почти так же, как в стихах самого начала двадцатых годов, но уже с иными реалиями:

...И я когда-нибудь, однажды,
Вдруг уподобясь кораблю,
Земли космическую жажду,
Как из стакана, утолю.

Сергей Орлов любил фантазировать на космические темы. Не раз он доказывал мне, что Землю много раз посещали представители иных планет, иных цивилизаций. И память об этом сохранилась в старых эпосах... Я принял игру, и мы, встречаясь, перебирали мировые эпосы от «Гильгамеша» до «Калевалы», где легко и просто находили если не расписание, то во всяком случае описание межпланетных рейсов.

Сергей как-то доказывал мне и «теорию», по которой все православные храмы, католические костелы и мечети по своей форме — воспроизведение неких космических кораблей. Отсюда летучесть пропорций, устремленность ввысь, обтекаемость и т. д. Верил ли он в это сам? Не уверен. Вероятно, это была одна из тех «легенд для себя», которую порой создают люди, живущие на колоссальных перегрузках, утомленные и переутомленные, — для отключения.

Многие его произведения — стремление разобраться в самых острых, самых суровых проблемах времени. Чувство причастности к глобальным, космическим событиям, которое многое определяло и в ранних стихах поэта, сегодня проявляется в конкретном видении того, как «выходит к звездам человек»...

Сергей хорошо знал народный эпос. Он не был таким коллекционером частушек, какими были К. Коничев или

А. Прокофьев, но знал их множество. Хорошо знал народные афоризмы, хотя в речи никогда их не обыгрывал. Знал и лубок. После какого-то совещания зашел ко мне вместе с двумя приятелями. Приятели были у меня впервые и, естественно, обратились к книгам; С. Орлов достал папки с лубками и еще и еще раз поражался их фантазии, юмору, невероятным масштабам и пропорциям.

Когда я опубликовал в «Ленинградском альманахе» легенду о ленинском броневике, услышанную в начале блокады, он запомнил ее и использовал в стихах, которые так и назвал — «Ленинский броневик»:

Нипочем ему огонь орудий,
Он ходил в метели и огне,
Говорят, его видали люди
В трудный час почти по всей стране...
На него в войну равнялись танки,
Рвя блокаду бурей броневой.
Он опять ходил во все атаки,
Был под Сталинградом и Москвой.

Часто цитировал стихи товарищей, иногда пародии, иногда стилизации «под частушку». Одну из них, сочиненную кем-то из его сокурсников, я помню:

— Ты не ухни, кума,
Ты не эхни, кума!
— Я не с кухни кума,
Я из техникума!

Я думаю о фольклорных связях поэта, но необходимо написать и о глубоком знании им литературы и искусства вообще. Он превосходно знал поэзию — от классиков до самых юных современников; он превосходно знал и прозу, и драматургию, и современный театр.

Проверяя себя, я написал письмо Виолетте Орловой, попросил написать о роли книги в жизни Сергея.

Привожу ее ответ:

«...Вы поставили передо мной довольно трудный вопрос — „Сергей Орлов и книга", трудный даже и потому, что сам Сережа очень не любил подобных вопросов. „Писатель и книга", „Как вы пишете?" и другие подобные вопросы вызывали у него насмешку и даже резкость. „Как я пишу — беру авторучку и пишу, как все люди пишут". Но постараюсь ответить Вам.

По рассказам Екатерины Яковлевны, в детстве и юности Сережа читал очень много. Читал ночами и на уроках, читал за едой и на улице, с детства не расставался с газетой, был в курсе всех событий в стране и в мире, нередко

спорил с отчимом, бурно отстаивая свое мнение. С газетой и радиоприемником Сергей не расставался и в дальнейшем. А книга? Я не могу сказать, что Сергей всегда был с книгой, что много работал над книгой. Когда Сергей писал какую-либо статью, рецензию или доклад, он пользовался книгой, только когда работа закончена и ему необходимо сверить цитату. У меня было такое ощущение, что книга как будто мешает ему, сковывает его мысли, отвлекает от чего-то своего, только ему самому ведомого. Может быть, это и потому, что статьи и рецензии он чаще всего писал о поэтах и поэзии, а поэзию он знал превосходно. «Слово о полку Игореве», Пушкина и Лермонтова, Блока и Брюсова, Куприна и Пастернака, Киплинга и Антокольского, Тихонова и Луговского, Корнилова и Ушакова, Смелякова и Твардовского, не говоря уже о друзьях — поэтах фронтового поколения, он мог цитировать, не заглядывая ни в какие книги.

Последние годы, работая секретарем Союза писателей Российской Федерации, Сережа очень внимательно следил за журналами — «Дружба народов» и «Новый мир», «Октябрь» и «Север», особенно ревностно он относился к журналу «Наш современник», в этом журнале он прочитывал все от корки до корки, радовался его успехам, болел его болью. И не потому, что журнал «Наш современник» — орган Союза писателей России и даже не потому, что редактор журнала его друг и земляк, а потому, что на страницах этого журнала были такие имена, как Бондарев и Распутин, Белов и Астафьев, Шукшин и Троепольский. Произведения этих авторов не могли оставить Сережу равнодушным. Каждое новое слово этих писателей он принимал как праздник, праздник души, праздник литературы. Он радовался сам, заставлял радоваться других. Встречая непонимание или равнодушие, спорил, доказывал, убеждал...

Как член комитета по Ленинским и Государственным премиям, Сергей прочитывал много книг, выдвинутых на соискание премии. Это книги поэзии и прозы, драматургии и литературоведения, книги по истории театра и музыки. В период заседаний комитета Сереже снова, как в детстве, приходилось читать ночами: дня не хватало. Но две книги — «Земля людей» Сент-Экзюпери и «Мастер и Маргарита» Булгакова — Сережа читал бесконечно. Они лежали на тумбочке у кровати, а Сережа всегда читал лежа, как, впрочем, и писал частенько тоже лежа» (письмо от 2 февраля 1978 года).

В письме не названо имя Маяковского. Екатерина Яковлевна рассказывала, что в детстве для Сергея поэт революции был самым любимым, «самым главным». Эта любовь сохранилась. Приходили и уходили другие имена, а Маяковский оставался...

Я никогда не даю читать товарищам мои статьи в рукописи, особенно если это статьи о них. Но рукопись очерка о Сергее Орлове «Космос и война», написанного для журнала «Аврора», я дал ему прочитать. Завязался разговор: идет ли поэт Сергей Орлов от войны, или война — лишь этап, пусть большой, но лишь этап в его поэтической биографии. Я всегда считал, что Сергей Орлов возник на войне, но с годами понял, что это не совсем так — война не определила и не исчерпала все возможности поэта. Моя статья была ответом на наши с Сергеем разговоры... Увы, получилось так, что вышла она уже после его смерти.

Я думаю о поэте и перечитываю свои заметки о нем. На воспоминания надо иметь право, и литератор, да еще критик по профессии, не может, не имеет права после смерти поэта сказать: «Мы были друзьями, но я о нем не писал!» Так не бывает в литературе — пословица «Дружба — дружбой, а табачок — врозь», достаточно неприятная в иных случаях, здесь звучит особенно противно.

Я много раз писал о поэте Сергее Орлове, начиная с рецензии «Грозное оружие», напечатанной в «Ленинградской правде» в 1948 году, в «Звезде», в «Неве», в «Нашем современнике».

Вместе с Сергеем Орловым мы заседали в разных комиссиях и секциях Союза писателей — в Москве, в Ленинграде, в Смоленске... В нашем, втором творческом объединении киностудии «Ленфильм» ставился фильм по сценарию его и М. Дудина «Жаворонок», вместе выступали на вечерах... Обо всем и не напишешь! А писать надо: к этому зовет не только долг дружбы, но и долг историка литературы, ибо поэзия Сергея Орлова — это глава (и притом глава значительная!) в истории советской поэзии.

КОНСТАНТИН
ВАНШЕНКИН

## „Это Серега Орлов..."

Я впервые увидел Сергея Орлова осенью сорок восьмого года, когда по инициативе Антокольского в столицу прибыла группа авторов коллективного сборника «Молодой Ленинград». А стихи его прочитал в сорок седьмом, вскоре после демобилизации. Тогда гремела вокруг новая блистательная плеяда — печатались и выступали повсеместно Луконин, Недогонов, Наровчатов, Межиров, Гудзенко, Дудин. И Орлов был среди них равным. Еще бы! Он написал знаменитое «Его зарыли в шар земной...». Одно время вокруг этих стихов поднялся шумок, кто-то утверждал, что они появились под влиянием стихотворения Вильяма Вордсворта «Люси» в переводе Маршака. Конечно, это не так. Да у Орлова все здесь и гораздо весомей, значительней. За него вступились, даже печатно. Но, как это бывает, по-настоящему постояли за себя сами стихи. Меня же с первого прочтения остановило другое: «...солдат простой, без званий и наград». Я слишком долго был рядовым, чтобы не забыть, что это тоже з в а н и е, причем самое распространенное. Как видно, подобные, обычно не замечаемые погрешности порою встречаются и в шедеврах.

Больше всего поразила меня цитата из какой-то статьи об Орлове, прочитанной на улице, на газетном стенде, в начальную пору моей гражданской жизни:

Я порохом пропахнувшие строки
Из-под обстрела вынес на руках.

Она врубилась не только в память.

И еще одно из наиболее выстраданных, наиболее «танкистских» его стихотворений:

Бронебойным снарядом
Разбитый в упор лобовик,
Длинноствольная пушка
Глядит немигающим взглядом
В синеву беспредельного неба...
Почувствуй на миг,
Как огонь полыхал,
Как патроны рвались и снаряды.

Как руками без кожи
Защелку искал командир,
Как механик упал,
Рычаги обнимая,
И радист из «ДТ»
По угрюмому лесу пунктир
Прочертил,
Даже мертвый
Крючок пулемета сжимая.

Это бесстрашное сочетание профессионально-точной терминологии («лобовик», а не «лобовая броня», «ДТ» и проч.) глубоко трагической ситуации, где опять же действие каждого описано с предельной, зримой четкостью, и спокойствия «беспредельного неба» над уже мертвым танком производит сильнейшее впечатление.

Орлов был еще безбородый. Открытое его лицо несло на себе следы огня. Позволю сказать, что это нисколько его не портило. Через мгновение вы уже переставали их замечать. И все-таки это его мучило. У него есть суровые стихи:

Вот человек — он искалечен,
В рубцах лицо. Но ты гляди
И взгляд испуганно при встрече
С его лица не отводи.

Мне кажется, что они написаны не только и даже не столько о себе, что они шире личного, что это обобщение. Но, конечно, это и собственная боль. Потом он отпустил бороду — задорно торчащую, рыжеватую. Она как-то очень подошла к его облику и характеру. Тогда еще не было молодых бородатых — на него оглядывались. Когда же началось массовое увлечение бородами, он время от времени переживал, не выглядит ли глупо, как гонящийся за модой. Разумеется, говорил он это не вполне серьезно.

Неожиданно для многих, и для меня в том числе, он поступил в Литературный институт, который большинство воевавших уже закончило или заканчивало. Сверстников было мало. А по положению таких, как он, — авторов многих книг, членов Союза — никого. Но он держался очень естественно, просто, ездил на занятия из переделкинского общежития, сердечно и дружески относился к молодым.

Через много лет он перебрался в Москву окончательно, став одним из секретарей Союза писателей РСФСР. При его солдатской безотказности и редкой добросовестности

служба забирала его целиком, не оставляла сил и времени. Он мечтал жить на Вологодчине, ловить рыбу, много писать. Но то не было денег, то мешало другое. Множество раз звонил он мне с работы, «из конторы», как он говорил, приглашал в разные места — в Архангельск, в Смоленск, на выездные заседания правления или секретариата. Но все как-то не получалось.

Существует разная техника таких официальных телефонных общений. Например, вам звонят и говорят: «Такой-то просит вас поехать (или выступить)...» А между тем ты его хорошо знаешь, часто встречаешь и, может быть, даже с ним на «ты». Или другой вариант. Звонок: «Минуточку, сейчас с вами будет говорить...» Ну, это понятно. Человек занят и поручил своему секретарю соединить его с вами. Орлов звонил только сам: «Костя? Здорово! Это Серега Орлов».

И все-таки мы ездили с ним, и не раз, в разные годы.

Помню, глубокой осенью пятьдесят четвертого были на съезде писателей тогдашней Карело-Финской республики, в Петрозаводске. Большинство делегации составляли ленинградцы, я же приехал московским поездом рано утром, в темноте. Меня встретили, проводили в гостиницу, я поднялся в номер, побрился, подошел к окну и сквозь сосны увидел прекрасный выпуклый кристалл Онежского озера.

В ту поездку я близко познакомился с Саяновым, Граниным. Однажды, после дня заседаний, собрались у кого-то в номере и просидели чуть не до утра, читая стихи, — не только Саянов и мы с Орловым, но и Сергей Воронин, и, кажется, даже Гранин. Ведь все прозаики писали когда-то или тайно пишут стихи. В те годы еще мощно действовали удивительная взаимная тяга и интерес друг к другу.

На обратном пути я задержался в Ленинграде, мы с женой были в гостях у Орловых. Сергей жил тогда с семьей в длинной, по-ленинградски большой, но одной комнате. Его мать показалась мне тогда старой. Теперь она мне старой не кажется. Сын Вовка был совсем маленький, его тут же укладывали спать. Жену Виолетту, которую я, по-моему, увидел тогда впервые, Сережа называл Велкой.

И еще мы не раз встречались с Орловым в Коктебеле. Тогда на берегу стоял только белый дом Волошина, сзади него тоже белый и старый, так называемый «муравейник», впереди, у моря, маленькая столовая и еще десятка полтора дощатых коттеджей, скрытых чахлой зеленью. Все это патриархально, без затей и удобств.

Берег был совершенно пустынным. Шелестело море, шуршали сдвигаемые прибоем камешки. Мы часами лежали у воды, под выцветшим тентом, разговаривали, слушали «стариков». Но ведь тогдашние «старики» были довольно молоды — Вс. Иванов, В. Каверин, А. Крон... Они относились к нам внимательно и просто. Это было счастливое время, когда почти все наши уцелевшие на войне друзья были еще живы.

За все годы я ни строки не написал в Коктебеле. Да и мои товарищи тогда не работали там. Сейчас я не могу себе представить, чтобы я ехал куда-либо на лето и не брал с собой начатую прозу, статьи, рецензии. Как это ни удивительно, в молодости мы больше отдыхали. Мы лежали на топчанах, под выцветшим тентом, молчали или разговаривали. Время от времени кто-нибудь звал: «Ну, пошли!» — мы вставали и — головой вперед — погружались в соленую синюю воду. Глубина нарастала стремительно.

Любители коктебельских волшебных камешков ползали у самой воды, разгребали гальку.

Как-то Сергей позвал меня в Лягушачью бухту — рыбачить. Всю нашу снасть составляли лески и крючки. И был еще сшитый из марли мешок для улова. Мы вышли после обеда и зашагали по извилистой — вверх-вниз, влево-вправо — узкой тропинке. Я шел следом за Сережей. Нам не встретилось ни души. В Лягушачьей было уже хмуро, за спиной нависали скалы, в море громоздилось несколько гигантских каменных глыб. Сейчас они выглядели вполне живописно, но жутко было представить себе, как они валились когда-то сверху.

Наживкой нам служили маленькие крабики, прятавшиеся у самой воды под мокрыми камнями. Мы разделись и, держа над головой наши свернутые полосатые пижамы — наиболее распространенную тогда курортную одежду, — вплавь добрались до первой глыбы и вскарабкались на нее. Наверху было прохладно, и пришлось быстро одеться. Но камень не успел совсем охладиться. Вода была еще освещена солнцем, и нам с четырех- или пятиметровой высоты хорошо было видно, как густо резвится кефаль. Рыба брала не только наживку, но и голый крючок или цеплялась за него боком и спинкой. Мы наполнили наш мешок и вернулись тем же путем, уже в темноте. Эти полдня, проведенные вдвоем возле моря и скал, оставили долгий след в памяти, и через много лет мы в разговоре не раз туда возвращались.

И еще — в семьдесят третьем — мы летели вместе в Югославию, на международные Стружские вечера. Помню совсем раннее летнее утро, мы живем уже рядом, и я заезжаю на такси за Орловыми (он едет вместе с Велой). Потом мы мчимся через всю Москву, по пустым, еще мокрым от поливки улицам в Шереметьево, где нас уже ждут Альфонсас Малдонис и Лев Аннинский. Потом обед и ночевка в Белграде, короткий перелет «Каравеллой» в поднявшийся после чудовищного землетрясения Скопле и длинный автобусный путь на юг, почти по всей Македонии. Затопленная людьми Струга, стихи на всех языках и Охридское озеро, цветом воды, волной и простором столь похожее на море. И встало в памяти другое озеро — девятнадцать лет назад! — и тоже стихи, и мы с Сережей...

На обратном пути мы провели несколько дней в Белграде. И как-то раз засиделись за завтраком в ресторане, на высоком этаже отеля. Внизу лежали крыши и сады, остро сверкало лезвие Дуная, а мы с Сергеем все вспоминали давние времена, Фатьянова, Шубина, Недогонова, Гудзенко, связанные с ними серьезные и забавные истории. Остальные слушали, а Аннинский еще задавал вопросы. Потом он воскликнул:

— Вы должны все это записать! Это так интересно. А то умрете, и все это уйдет с вами!..

Едва мы спустились, Серега сказал мне:

— Вот сукин сын! — И передразнил: — «А то умрете...»

Через несколько месяцев Аннинский напечатал большую статью о четырех поэтах военного поколения, в том числе об Орлове. Статья получилась удачная, и Сергей говорил:

— Так вот почему он все расспрашивал!..

Была одна история, смутно мучившая меня долгие годы, хотя я не был ни в чем виноват. В середине пятидесятых меня попросили в «Литературной газете» написать рецензию на книгу Сергея Орлова «Городок». Я написал, и, конечно, вполне доброжелательно, как у нас говорят — положительно. В конце же я пожелал автору новых удач и, главное, новой художественной дерзости, поиска. Не будучи мастаком по части выдумывания заголовков, я после долгих размышлений не нашел ничего лучшего, чем дать рецензии название сборника — «Городок». Однако дежурный редактор, подписывая номер, изменил заголовок на броское: «Больше требовательности!», что меняло весь смысл статьи. Я увидел это уже в газете...

Шел пленум правления Союза писателей в помещении тогдашнего Дома кино, на Ленинградском шоссе. Я встретил Сергея, и он сказал мне расстроенно:

— Зачем же ты так?..

Я объяснил, как было дело. А то, что заголовок не отсюда, при прочтении рецензии бросалось в глаза. В тот же день он снова остановил меня:

— Я выяснил, все точно...

Больше мы об этом никогда не говорили, но заноза во мне все равно осталась. И вот здесь, в Белграде, он как-то сказал, не помню уже в связи с чем:

— А ты обо мне когда-то хорошую рецензию написал.

Разумеется, мы встречались не только во время поездок. За все эти годы — и десятилетия! — мы общались великое множество раз. И разговаривали о многом, в том числе о вещах и проблемах профессиональных.

Деликатный и доброжелательный, он бывал строг, когда дело касалось главного. Как-то мы заговорили об одной книге, случайно попавшейся мне в сорок четвертом, в Белоруссии. В ней описывалась жизнь танкового экипажа, и я поразился фальшивости приводимых там ситуаций и психологических положений. Конечно, я не знал тогда, что ее автор провел войну на Каме, даже без кратковременных выездов на фронт. Теперь я спросил у Сергея, как у танкиста, насколько достоверно описана хотя бы техника, хотя бы материальная часть.

— Все по уставу, — отвечал он хмуро, — все по наставлению.

С годами мы сблизились с ним больше, чем прежде, а не наоборот, как бывает порой.

Есть улица Сергея Орлова, есть теплоход его имени. Благородны и трогательны эти шаги по увековечению его образа. И все-таки после поэта остаются прежде всего его книги, его «порохом пропахнувшие строки», запечатленная в них судьба прекрасного, чистого поколения и стреляного, контуженого, жженого танкиста Сергея Орлова.

### *Встреча*

Воды поздние светят сурово.
Среди сизого красный закал.
И доносится: — Миша, здорóво!
Я не сразу тебя и узнал.

Как ты молод! За смертной оградой
Ты таким представляешься мне
В снежном мареве, с Колей Отрадой,
На короткой на зимней войне.

Ты вовсю бороздишь эти воды.
Голос твой хрипловатый не молк.
Есть в бортах твоих признаки моды —
Что ж, и раньше ты знал в этом толк.

Ты такой же в походке, в повадке.
Вновь с тобой повидаться я рад.
Ты, по-моему, Миша, в порядке,
Как мальчишки сейчас говорят...

Воды поздние светят сурово.
Луч уставился в рубку, слепя.
— Извини меня. Здравствуй, Серега!
Я не думал здесь встретить тебя.

Подойди на минуту поближе,
Подрули поскорее сюда.
Бороды твоей рыжей не вижу.
От ожогов твоих ни следа.

Мы вставали под страшным ударом.
Мы единых корней и кровей.
Да и в детстве, наверно, недаром
Нас приметил Чуковский Корней.

Гаснут знаки деталей капризных,
Телеграфные меркнут столбы.
Остается единственный признак —
Одинаковость нашей судьбы.

И с улыбкою — правда, не с прежней,—
Где в глазах эти блики рябят,
Мы, возможно, на ветреном стрежне
И других повстречаем ребят...

...Рулевые стояли, не слыша
На ответственной вахте своей
Тихих слов: — До свидания, Миша... —
И ответных: — До встречи, Сергей...

### *Две паузы*

Мне и в голову не приходило ни записывать за ним, ни запоминать наши разговоры, ни думать, что в этих разговорах должно быть что-то личное. На личное общение я не хотел претендовать. Мы — четверо — составляли «писательскую делегацию» на Стружских вечерах поэзии. Орлов делегацию возглавлял, он был, что называется, начальство. Я, по традиции, обязательной для «русского интеллигента», считал хорошим тоном держаться от начальства «подальше» и делал соответствующие попытки, к счастью, неудачные. Были и другие психологические барьеры: и возраст (лет десять разницы), и — главное — опыт, война. Я не мог и не хотел быть с ним «на равных».

И потом, эти две недели стараниями наших македонских хозяев были настолько заполнены мероприятиями, причем интереснейшими, что члены нашей делегации между собой почти и не успевали общаться. А когда общались, в центре как-то само собой оказывался Ваншенкин, артистичный, полный юмора рассказчик, который и втягивал Орлова в диалоги,— мы же с Молдонисом больше молчали: он, возможно, в силу своего уравновешенного прибалтийского характера, я же просто потому, что слушал и мотал на ус...

За две недели мы с Сергеем Сергеевичем с глазу на глаз, может, и говорили-то раза три-четыре, не больше. От этих разговоров у меня не осталось в памяти «слов», а только ощущение собеседника, сложное и яркое. Орлов решительно не походил на «начальника» — не то, что был слишком мягок, нет, в глубине в нем твердость угадывалась,— но твердо отводил от себя все, что составляло антураж начальствования. Он мало походил и на типичного «старого фронтовика»: никакого «свинца», вроде бы и не углублен в воспоминания, слишком подвижен, любопытен, легок, что ли... Идет рядом, шаг быстрый, глаза горят, облако светлых волос летит над круглым лбом — что-то воздушное в облике, доверчивое, мальчишеское. Даже и голос, неожиданно низкий для этой «летящей» внешности, и дикторски правильный тембр речи, пожалуй слишком безукоризненной для таких любопытных глаз, — все это впрямую не вязалось одно с другим, все это смыкалось

где-то в ином возрасте, он напоминал мне мальчика с ломающимся голосом — из тех, что живут мировыми проблемами. И поскольку мне самому этот тип мил и близок, то и ходили мы с ним по Охриду, как два вечных российских студента или гимназиста, и говорили — о правде-истине и правде-справедливости, об иных мирах, о неопознанных летающих объектах и вообще о «Причине Космоса».

О поэзии ни слова. О злободневностях — тоже. За исключением двух моментов, о которых расскажу.

Один раз натолкнулись в разговоре на стихи Твардовского. Сергей Сергеевич сказал:

— «Теркин» — лучшая поэтическая книга о войне.

— Но не последняя, — уклончиво ответил я.

В его голосе мгновенно вспыхнул азарт:

— Последняя! Назовите мне поэта, который сумел поколебать для вас «Теркина»!

— Вы, — ответил я. — Вы все. Ваше поколение.

Он замолчал. Пауза длилась долго. Шагали молча по ночной улочке между шеренгами пустых магазинов, словно по неведомой планете, на которую невесть как залетели.

Другой раз подвернулась нам в разговоре какая-то злободневность. Не помню уж, что тогда, осенью 1973 года, было злобой дня, но это касалось каких-то «недостатков», «трудностей». И тут я не удержался, не упустил случая подколоть начальство и ввернул что-то вроде того, что это, мол, вы, старшие, напортачили — вон какое мы от вас неисправное наследство получаем!

Он сказал:

— Мы это наследство отстояли, а исправлять будете вы.

И опять наступила пауза: на этот раз я прикусил язык. Солнце, помню, было яркое, скалистый склон из-под ног, прямо от горной дороги обрывался в синюю глубину, а там, дальше, за бездной, за синевой, за слепящим простором озера, стояли горы горизонта — древняя Иллирия...

Я осторожно посмотрел на Орлова: не обидел ли его своей глупостью? Он моего взгляда не заметил. Он вообще был далеко. Мне показалось, что он сейчас спросит что-нибудь об Альфе Центавра. Или о том, не бегал ли я в Америку к индейцам в пятнадцать лет.

* * *

В заграничной гостинице
в час тишайший рассвета
я услышал по радио
сельский говор поэта.
Мне аукнулась Вологда!
Речь текла крутобоко,
и коробочка радио
вся тряслась, как эпоха.

Кто-то сморщился в нумере:
— Слушай, сделай потише
или — выключи... Ну его! —
Но поэт их не слышал.
Но поэт разговаривал,
и в ушах его рифмы
и шрапнельно, и сабельно
шевелились, как гривы!
Вспоминал он товарищей,
как кричал! Как от боли...
В заграничной гостинице
стало жутко, как в поле,
как в дыму напохзающем,
распирающем танки!
...Тридцать лет возвращаются
к сердцу барда атаки.
Тридцать лет под осколками,
весь в войне, до скелета.
Он горит, и не выключишь,
не задуешь поэта!
Весь в ожогах, как в рытвинах,
как в цветах. Как дорога —
до победы, до истины,
до любви.
До итога.

ЮРИЙ
БОНДАРЕВ

## *Верность поэзии*

Он иногда звонил по вечерам, и его протяжный голос: «Юра-а, здорo̍во-о!» — можно было узнать сразу по своей особенной орловской глуховатости, по особенному радостному тону. Он любил радость общения, ценил мужские встречи («Заедем в гостиницу к Мишке, выпьем по рюмочке, поговорим!»), дорожил ими, как я сейчас понимаю, больше других занятых повседневной суетой друзей и был предан фронтовому товариществу, как никто из нас, сохраняя в себе незамутненную верность военному прошлому. Эта верность мужскому братству была второй сущностью поэта Орлова, и было вроде бы спокойней, теплее оттого, что по земле ходил своей цепкой, немного пружинистой походкой он, Сергей, Серега, Сережа, готовый хоть посреди ночи встретиться или поехать куда угодно ради дружбы, душевной помощи, искреннего разговора. И в этом не было ничего наигранного, ложно рыцарского, показного, не было никакого насилия над собой — в этом сказывалась его натура, личность, человеколюбивая, исполненная постоянного молодого и веселого интереса к жизни, любопытства к миру, а не только к искусству, как это бывает порой в серьезном возрасте у познавших, почем фунт лиха, поэтов.

Мне пришлось видеть его в разных обстоятельствах, видеть добрым, сердитым, настойчивым, но мальчишески восторженным, умиленным, даже разнеженным он показался мне лишь в поездке по Вологодской области, куда отправились мы втроем однажды летом: Сергей Викулов и Сергей Орлов решили показать мне свою обетованную родину, край голубого неба, белых облаков, огромных озер и лесов.

Было это удивительное путешествие, в котором северный белый блеск солнца, радостное тепло лета, запах прогретой августом травы, синева бескрайних озер, одновременно жаркое и прохладное дуновение на лесных полянах — все ощущалось нами первозданным, чистым, как в детстве. И Сергей, несколько хвастаясь, гордясь этой сказочной землей, где родился он, заглядывал с ребяческой

лукавинкой нам в глаза, посмеивался от удовольствия, спрашивал: «Ну как, а?»

Не забуду, как лунной ночью мы бродили по тишайшему Белозерску, по его древнему земляному валу, откуда были видны внизу среди неподвижной темноты деревьев залитые луной крыши, потом сидели на деревянных перилах пристани, овеянные покоем воды, потом карабкались по прибрежным валунам Белого озера, тоже беззвучного, до горизонта лунного, пахнущего здесь влажными старыми камнями, потом стояли возле тихого, насквозь зеркального канала, напоминавшего нечто торговое, давнее, голландское (только не хватало меж берегов белых парусов лодок), и прочные каменные, с решетчатыми окнами пакгаузы, построенные еще великим Петром, смотрелись в светлую ночную воду так же, как и триста лет назад, колдовски перенося навсегда (а может, не навсегда) ушедшее время в этот безмолвный час августа.

Мы ходили с Сергеем по тропинкам его детства, по той же траве, по тем же камням, омытые тем же пресным свежим воздухом вблизи воды, тем же лунным светом, так же звучно отдавались шаги на деревянных мостках пристани, так же где-то на окраине лаяли собаки, так же мягка была пыль, так же плыла тишина ночи над темным городским валом, над латунным сверканием озерка, над верхушками деревьев.

Сергей говорил мало, смотрел вокруг, курил, как-то загадочно, почти нежно улыбался, я чувствовал скрытое оживление в нем — и только тогда понял, почему он почасту говорил, что без поездок на Вологодчину не пишется ему.

Как бы ни была мудра, оснащена опытом зрелость, все же детство, молодость — прекрасная пора человеческого утра, время познания мира чувством, время веры, надежд и утверждения любви к сущему. Все высокое и доброе, трагическое и великое, что достигла в своем развитии современная поэзия, обязано молодому порыву, неистовству сердца, беспокойному духу, и рождалось оно не в теплых перинах, а под весенними знаменами, облитыми дождями, пронизанными солнцем и пулями, обдутыми пахучими полевыми ветрами и горьким порохом сражений. Молодость — это область чувств: чуткость к правде, приятие жизни и отрицание смерти. Зрелость — это область мысли: осмысление сущего мира в движении.

Имя Сергея Орлова известно всем любителям поэзии. Его поэзия соткана из молодости и зрелости, ибо проник-

нута глубинным видением мира, наделена властным излучением чувства и мысли, и этот союз долговечен.

У него была обыкновенная и вместе с тем необыкновенная биография военного поколения, и в жизни и в стихах он всегда был скромен, честен, мужествен и непримирим. Его поэзии было присуще ликующее, жизнелюбивое начало, несмотря на печальные строки, на горечь невосполнимых утрат и уходящих мгновений бытия.

Сергей Орлов не был тороплившым поэтом, его человеческая застенчивость, его внутренняя культура отвергала эстрадный успех, заманивающие балаганные жесты, головокружительные, рассчитанные на аплодисменты качели, он не позволял себе говорить напряженно громким голосом, перебивая других, он не обгонял в суете и мельтешении собственные строки, служа высокой поэзии.

Когда я думаю о таланте Орлова, он представляется мне прекрасным прочным мостом, перекинутым из настоящего в будущее, потому что творению этого большого поэта уготована долгая жизнь.

ЛАРИСА
ВАСИЛЬЕВА

## *Ему не дано стариться*

1965 год. Туркмения. Дни декады русской культуры.

Обжигающее солнце. Мы сидим на гребне бархана: я в спасительной шапке, он с непокрытой головой. Ссоримся. Нет, пожалуй, спорим. Нет, все-таки ссоримся.

— Ты эгоистка. В вашем поколении много таких. Дети мира. Почему ты не знаешь наизусть стихов фронтовиков? Почему я знаю твои? Или они хуже тебя пишут? Впрочем, может, и хуже, но ты все равно должна знать их. Без нас не было бы и вас.

— Перестань... Мне надоели попреки. А может, я знаю...

— Прочитай хоть одно. Нет, нет, не мое. Кого-нибудь получше, посильней. Прочитай Дудина.

— Не хочу Дудина. Я, может, твои люблю больше.

— Сравнила. Эх ты!..

Мы сидим на гребне бархана, и я не думаю о том, что этот человек всего два часа назад впервые протянул мне свою изуродованную войной руку и сказал ровным глуховатым голосом:

— Сергей Орлов.

По какому праву говорю с ним как с равным? Между нами не менее двадцати лет разницы. Я никому не известна, напечатала свои стихи в трех всего-то столичных журналах, а он — знаменитый поэт, герой войны, обгоревший в танке, у него десятки книг, его по телевизору каждый месяц показывают. И сразу это «ты» — не интимное, не ласковое, а такое почти школьное, детское, грубоватое.

Там, внизу, под барханом, прикрытые брезентовым шатром, отдыхают и перекусывают Владимир Солоухин, Михаил Алексеев, Михаил Дудин, Ирина Снегова, Алим Кешоков. Наш хозяин — туркменский классик Берды Кербабаев, похожий на величественного барса, — потчует их чаем. Как попала я в это общество? А просто «генерал от литературы», директор бюро пропаганды Дмитрий Ефимович Ляшкевич «взял девицу в поездку на пробу, — говорят, скромная, — надо выдвигать молодежь, куда от нее денешься».

Хороша скромница, сидит уже битый час на бархане с Орловым и «ты» ему говорит. Хоть бы шапку, что ли, предложила: ведь человек войну прошел, не мальчишка...

— Сережа, хочешь шапку?

Он не слышит. Не обращает внимания. Доказывает, что лучший поэт сейчас в Ленинграде Глеб Горбовский, хотя я не возражаю, почти согласная с ним.

Странное это было «почти» между нами. Его вполне хватало для того, чтобы в лютом ожесточении проругаться два часа, доказывая друг другу нечто, с чем каждый и без того был согласен. Иногда мне казалось, что Сергей в разговорах со мной искал человека резко противоположных мнений, и, чувствуя это, я начинала «подыгрывать ему», «подбрасывать в печь дровишки». Печь пылала неугасимо до тех пор, пока внезапно, на резком повороте он не обрывал себя и меня:

— Хватит. Поиграли. А теперь — что ты думаешь на самом деле?

Я думала похоже. И обоим становилось скучно.

Однажды свидетелем подобной «свары» стал один серьезный человек, солидный и задумчивый. Слушая наши пререкания, он не проронил ни слова, а когда мы, приустав, смолкли, недоуменно протянул:

— Вот те на! А я-то думал, вы — друзья!

— Друзья, конечно. — Орлов взглянул на меня, поморщился: — Я бы никогда не мог в нее влюбиться. Не понимаю тех, кто может. Она — попросту свой парень. Честное слово.

Не знаю, была ли я в самом деле «свой парень». Это оттого, что он был такой, могла я с первой минуты сказать ему «ты», «Сережа». И спорить на бархане. Не была я равной ему. Не только по возрасту и положению в литературе. Эти равенства вообще сомнительны. Высоты скромности и щедрости, когда понять другого и полюбить больше себя самого, вряд ли стремился достичь когда-либо деревенский паренек, танкист, знаменитый поэт Сергей Орлов. Ему не нужно было ничего достигать. Природа слепила прекрасную форму и наполнила ее богатым содержанием. Молодые фотографии Орлова — щекастое мальчишечье лицо. Я не знала такого. Я любила красоту обожженную, шрамы и пятна на лбу, бороду, которой он хотел бы прикрыть следы ожогов, а создал с ее помощью образ то ли романтического шкипера, то ли лукавого сатира.

— Сергей, ты знаешь, ведь ты красавец!

— Стыдно смеяться над уродством. Сколько оно мне страданий дурацких в молодости причинило. Всегда думал, что такое чучело не может нравиться девчатам.

— Ты красавец, чучело.

Отмахивается, хмурится, а сам доволен. Знает, хитрец, что немалая доля правды в моих словах. Каким бы скромником его ни объявляли, скромность эта от большой уверенности была. Не самоуверенности, уверенности органической, неподвластной сомнениям, и это касалось не красоты, конечно, которая в его случае была несомненна, ибо красота мужская в шрамах, а не в румянце пухлых щек. Это касалось гармоничности его натуры, простой и жаждущей сложности.

Уходит женщина, уходит,
как солнце с неба, как река
за горизонт по шатким сходням
мостков, кувшинок, тростника...

В современной мужской лирике я не знаю стихов о женщине, для женщины более великодушных и благородных.

— Сережа, это, может быть, лучшие твои стихи. Они из ряда «как дай вам бог любимой быть другим».

Он смущается, но вижу — рад. Кому неприятна похвала.

И при этом была у Орлова одна восхитительная черта: он не придавал себе значения. Особого. Серьезного. Столь необходимого, казалось бы, для поэта его положения. Проигрывал при этом немало на местах президиумов и на страничных перечислениях, хотя и обижен никогда не был, — слишком заметен. А выигрывал зато во времени — нет солидности, прост, естествен, о себе не толкует, людям помочь норовит, посему окружен со всех сторон людьми и их делами, выглядит молодо: следы ожогов спасли его от морщин; подтянут — жирком обрасти мешали бесчисленные хлопоты о других.

Он был прекрасным сыном и мужем, отцом и дедом. На себе я узнала, какой он был брат. Не имея в семье ни сестры, ни брата, я всегда тянулась к неким братским отношениям в дружбе. И с Орловым встретилась после нескольких сильных разочарований. Меньше всего думала о нем: вот он был бы мне братом. Потому, что стал он им с первой минуты встречи и остался до конца последнего дня. Наверно, интуитивно чувствовал мою тягу к нему, как к брату. Очень был интуитивен. Даже слиш-

ком. Порой не хочешь, чтобы он заметил в тебе что-то, скрываешь как можешь, а он все равно чувствует:

— Почему плохое настроение?

— Совсем нет. Хорошее.

Добиваться не станет, а сделает так, чтобы через минуту я забыла свои печали. И не задумываясь поступится собственными делами и заботами.

— Зачем ты потащился меня веселить? Тебе нужно было свои дела делать.

— Вот еще! Мне самому хотелось поболтать, поболтаться.

Была в нашей дружбе одна, может быть, немаловажная деталь: Орлов был танкист, а отец мой — конструктор танка. Николай Алексеевич Кучеренко — человек легендарный. Всю бы жизнь свою могла я положить, дабы стать достойной его доброты, ума и благородства. Но мало мне будет одной моей жизни.

Как рвалась я познакомить Орлова с отцом. Отец хотел. Очень. Читал стихи поэта. Любил их. Орлов заставил меня однажды показать все отцовские фотографии, все статьи, очерки о нем и его танке «Т-34».

— Знаешь, если я начну писать прозу, я приду к твоему отцу...

— При чем тут твоя проза? Приди просто так. Он давно тебя ждет.

— Просто не приду. Не спрашивай. Трудно объяснить. Робею, что ли?

Иногда он соглашался прийти, но в конце разговора опять отказывался. Однажды даже решился приехать на дачу. Отец ждал, приготовил настойку собственного производства, вопреки моим уверениям, что Орлов непьющий. Но тот не приехал.

На следующее утро, разъяренная, я позвонила ему.

— Знаю, знаю — неприлично, глупо. Лариса, я, честное слово, приезжал. Ходил за забором, видел его. Не веришь? В голубой рубашке он был. В цветнике возился. Высокий, мощный, на колени с трудом вставал. Седой, лысоватый. Потом ты ему шляпу от солнца принесла. Ну вот, веришь теперь?

— Но как объяснить все это?

— Не знаю!..

Он пришел на отцовские похороны. В 1976 году. Не один, с женой. Я видела его сквозь слезы. И понимала, что пришел он не только к моему отцу, но и к другу. Может быть, к своему несостоявшемуся герою.

Всего на год пережил Орлов моего отца. И вот снова гроб, цветы, музыка, солдатский караул у гроба.

Он не успел состариться. Он не сумел состариться. Я не могу представить себе его сгорбленным, с палочкой. Образ старости его бы не коснулся. Он перехитрил ее. Пусть ценою жизни. Вспоминаю один ничего не значащий разговор с ним:

— Хочу подохнуть сразу. Чтобы не лежать, не мучиться, людей не обременять.

— Ишь какой! Не ты один хочешь. Я бы тоже...

— Знаешь, так вот идти по улице и упасть... Нет, людей напугаю. Лучше лечь спать и не проснуться. Нет, жену напугаю.

Тогда мы так и не решили, какая смерть лучше. Лучше жизнь.

Но его нет с нами. После смерти он стал больше и выше, как это бывает с настоящими явлениями жизни. Упал забор защитительной скромности, и поэт предстал перед миром таким, каким был.

# НИКОЛАЙ ДОРИЗО

* * *

Посмертные стихи Орлова...
Те,
  что держал в столе поэт.
Его мальчишеское слово
Шло к людям
          тридцать с лишним лет.
Читаю...
        Жарко встрепенулись
Года
    военные
          во мне.
Мы все давно
С войны вернулись —
Стихи
    живут
        на той войне.
Они
   доверчивы
          и строги,
Чисты,
    наивны
          и мудры,
Стихи —
        солдаты той эпохи,
Неповторимой той поры.
Посмертные стихи Орлова.
От них теплее на земле.
Как он судил себя сурово,
Их
  столько лет
          держал в столе.
Заметка с траурной каймою —
Вступленье краткое к стихам...
Какою страшною ценою
Они известны стали нам.

## *Родная почва поэта*

Уходят они, великие воители наши. Один за другим. Падают. Как в бою. И спросил себя: каким его знал я, не находившийся в числе близких, в числе его друзей? Что отличало его, кроме обожженного лица? Что я мог бы сказать о нем?

И почему-то вспомнилось, как однажды, слушая одного нашего несправедливо вознесенного поэта, с грустью подумал о Сергее Орлове: ходит среди собратьев, среди писателей — одаренных, среднеталантливых, посредственных и откровенно бездарных — этот настоящий большой поэт, смотрит на всех с доброй застенчивой улыбкой, ходит среди людей, не всегда и не ко всем чутких, а то и жестоко равнодушных, ходит этот герой, так отмеченный войной, стараясь ничем не выделяться. А ведь мог он, не будь таким скромным, поставить себя при жизни на пьедестал — и было бы это заслуженно, черт возьми! А тут — мальчишка послевоенного рождения, а талантом — пигмей рядом с Орловым... И мы позволяем таким бить себя в грудь, произносить даже приговоры, окончательные, обжалованию не подлежащие, судить обо всем с легкостью необыкновенной! Я высказал злую от горечи мысль об этом молодом человеке и назвал при этом Сергея Орлова: страшно подумать, что было бы, если бы заслуги Сергея Орлова принадлежали этому лихому малому!..

Захотелось рассказать о встречах с Сергеем Орловым не в назидание молодому пижону — он этого не стоит! — а потому, что все мы смертны, и никто не имеет права унести не только то яркое, интересное и важное, что шло от творчества такой личности, как Сергей Орлов, а и то, что говорилось им и в частной беседе, в мимолетном разговоре или было обронено, может быть, случайно. Только так мы должны относиться ко всем уходящим крупным талантам — я убежден, что Сергея Орлова, этого действительно большого поэта, будут долго и радостно открывать потомки. Мы просто обязаны сохранить для них как можно больше живых черточек, живых подробностей!

Работая продолжительное время главным редактором «Байкала», я вынашивал мысль: надо сделать так, чтобы появилась книга о великих русских землепроходцах, по-

крывавших в седую старину немыслимые сибирские пространства, открывая России все новые земли. И думалось: а не подвигнуть ли на это кого-нибудь из талантливой вологодской плеяды — пусть бы поработал над образами своих древних земляков? Но ни Сергея Викулова, ни Василия Белова идея о такой книге не зажгла. И тут пришла мысль: а обращусь-ка я к Сергею Орлову, у которого — после Александра Яшина — такое большое влияние на вологжан!

Зашел в кабинет. И был разговор. Сидел он, смотря на меня добрыми, какими-то по-ребячьи чистыми, доверчиво-умными глазами.

— Ты говоришь очень интересные вещи, — сказал он. — Но надо ли поворачивать Белова на это дело? Мне кажется, не стоит. Пусть ребята продолжают каждый свое. Проблема современного российского крестьянства, проблема исчезновения старой русской деревни — это, как ты и сам понимаешь, штука страшно важная! Не понесем ли необратимых нравственных потерь, ускоряя, форсируя этот процесс? Думаю, что это такое дело — самые крупные таланты должны им заниматься. А о Ерофее Хабарове немало написано. И будут писать. Другие!

Сказал это Сергей Орлов с застенчивой улыбкой, будто прося извинения. А слова-то — глубокие и верные! Хотя не вполне отвечали на мой вопрос: не о новой книге, посвященной Ерофею Хабарову, думал я, а о большом художественном полотне с обобщенным образом землепроходца, не обязательно исторического лица. Имелись в виду истоки дружбы между народами — не легенды и вымыслы, а действительные реальные факты истории о том, каким образом удалось крошечным отрядам землепроходцев-разведчиков беломорских торговых домов пройти неистребленными через всю Сибирь и Дальний Восток в поисках сухопутных возможностей прохода в Китай и Индию. Землепроходцы — это не казачьи ватаги. Их ведь специально обучали и долго готовили, они обходились недешево тем, кто их снаряжал!.. Пришлось мне отступиться от мысли привлечь к этому замыслу вологодцев. Я согласился с Сергеем Орловым, — потрясли меня его слова об исчезновении старой русской деревни и возможных нравственных потерях!

Другая запомнившаяся встреча — на юбилее директора издательства «Советская Россия» Евгения Александровича Петрова. Было символично, что приветствовать от российского Союза писателей пришли Сергей Орлов и Николай

Шундик — оба, под стать юбиляру, отменной скромности, честнейшие трудяги, известные на всю страну литераторы.

В перерыве сказал Сергею Орлову, что в «Байкале» у нас печаталась интересная вещь Петрова — своеобразная повесть, написанная отличным языком, названная «Год рождения — тысяча девятьсот семнадцатый». Добавил, что читатели хорошо приняли публикацию. Было много писем, называли петровскую вещь талантливой по-настоящему, от сердца писанной, взволнованной и честной.

Сергей Орлов искренне удивился:

— Неужели Евгений Александрович пишет? — Потом как-то погрустнел. — А мы заняты большей частью только теми, кто подобно курице, снесшей яйцо, орет на всю ивановскую!.. Директор нашего крупнейшего издательства написал интересную книгу, напечатал ее один из наших журналов, а у нас, на Софийской набережной, никто об этом не знает. Стыдно, ей-богу!

Редко увидишь нынче на большой должности писателя, который сумел бы сохранить в себе столько искренности в отношениях с людьми, сколько ее было в Сергее Орлове. Исполняя обязанности по должности, всегда оставался самим собой, Сергеем Орловым. Ему органически чуждо было говорить не то, что думает, а только лишь то, что велит должность. Его невозможно было представить специально готовящимся к встрече с важным посетителем, подбирающим интонацию, слова, охорашивающимся.

Как-то встретились на аллее в Переделкине. Шел я от Павла Нилина. Не могу вспомнить, с чего зашел разговор о Ленинграде, о том, как крупно повезло моему другу Ювану Шесталову. Жить в Ленинграде — это, конечно, для писателя счастье!

Сергей Орлов сморщился.

— Не надо, наверное, так, — задумчиво сказал он. — Жить — вот действительно счастье! Юван, конечно, что-то обретет важное, живя в Ленинграде, но и что-то, не менее важное, потеряет, уехав из Тюмени. Это несомненно! Вообще, как мне кажется, такому самобытному, такому кипящему таланту, как Шесталов, надо бояться остынуть. А греет только родная почва. Порвать с нею — это опасно! Есть несчастные народы в истории, которые были лишены родной почвы, — они создали великий плач, но не создали великой поэзии. Трагедия Бунина заключалась именно в этом — озябло на чужбине его поэтическое сердце. Что создал он во Франции? А что создал Алексей Толстой за пределами России? Вернувшись, стал наверстывать то, что

потерял за годы на чужбине, работал как-то даже судорожно. Конечно, не надо проводить прямой параллели между людьми, лишившимися Родины, и нашими писателями, которые тянутся в столицы. Одни — по творческим своим делам, другие — желая хотя бы на склоне лет пожить в атмосфере столицы. Я не сторонник огульного осуждения подобного стремления, — оно естественное и понятное. Но мне кажется, что Ювану Шесталову совсем незачем становиться целиком ленинградцем. Да это и невозможно. По мне — жить бы ему в Ленинграде, сохраняя себя и в родной Тюмени. Писателям такого дарования, как Шесталов, можно и надо разрешить такое — это не излишне, не баловство! И в законодательство следует внести подобное допущение. Я хочу официально ставить такой вопрос. Может, это и скрасит мое секретарство в Союзе!..

И он по-милому улыбнулся, кажется, очень довольный своей шуткой.

О нем пишут и говорят больше как об авторе военных стихов. Спору нет — сильные стихи писал на эту, свою, громовую и броневую тему. Но не в одних лишь военных стихах была главная сила поэта. В сборнике «Верность» есть стихотворение «Болото, да лес, да озера...». Привожу его не потому, что оно лучшее. Но вслушайтесь в удивительные строчки:

До песен и сказок охочий,
Хранящий и радость, и грусть,
Мой северный край. Заволочье.
Моя журавлиная Русь.

Не правда ли, это — чистое и звенящее есенинское, это — пронзительное, не нуждающееся в восклицательных знаках, нежное выражение неизбывной любви к родному краю. Так живо писать неброскую красоту северного своего края мог поэт, умеющий искать и находить творческие удачи не только в военной тематике.

Ни в чем не повторял Орлов того Сергея, но был, становился его естественным и сильным продолжением. Все лучшее — не лирическому герою, то бишь самому себе, а краю своему, «журавлиной Руси». Ни намека на самовосхваление, ни одного случая ни в стихах, ни в жизни, чтобы Сергей Орлов обмолвился о своем военном подвиге. Он всегда стыдился и краснел, когда в лицо говорили приятные вещи, хотя и абсолютно верные. Видимо, таким и должен быть настоящий Поэт!

* * *

Сегодня утром каменные листья
срываются и падают в траву,
роятся буквы и боятся мысли
беды, произошедшей наяву.

Сергей, Сергей! На темном небе танки
тяжелой преждевременной грозы.
И не тебе глядеть из черной рамки
на этот мир с газетной полосы.

Багровые на низких тучах блики
и на траве багряная роса.
Но у Победы на прекрасном лике
твоей судьбы солдатские глаза.

Грохочет бой. Огонь и сталь. И кроме
огня и стали ты передо мной
на поле боя в пламени и громе
надеждой освещаешь шар земной.

Да, ты горел, когда Светило слепо
закатывалось в огненную даль,
как черная, из каменного пепла,
пробитая осколками медаль.

И шар земной отяжелел от праха
твоих друзей — отважных сыновей
Отечества, но горький ужас страха
не тронул шрамов памяти твоей.

Сегодня туча, от беды отчалив,
легла на шрамы твоего лица.
И облако непрошеной печали
обволокло товарищей сердца.

Ты входишь в круг немого сна. И листья
слетают на колючее жнивье.

И больше пламя не играет мыслью
твоей судьбы и не палит ее.

Срываю с утра черную завесу
и наблюдаю в белой пене плёс
и голое смятение по лесу
над озером белеющих берез.

Еще я различаю понемногу
твоих тревог сигнальные огни,
еще я в силах выслать на подмогу
твоей судьбе моей заботы дни.

Спасенья нет от гибельного круга,
но, как всегда, встречая смерть в упор,
ты вздрагиваешь, видя слезы друга
и безутешный материнский взор.

Но знаю я: грядущим дням товарищ,
скрепленный с ними верностью одной,
ты свое имя, умирая, даришь
бессмертию Поэзии родной.

Перевод с сербохорватского
М. Дудина

АНАТОЛИЙ
АЛЕКСИН

## *Дорогой наш Сережа...*

Мы подружились с ним тридцать лет назад, в дни 1-го Всесоюзного совещания молодых писателей. Точней сказать, тогда я впервые пожал его обожженную войной руку. А знал я его уже хорошо, потому что художник — это прежде всего его творчество. Стихи Сергея Орлова не просто жили в моей памяти — они стали для меня символом воинской беззаветности, символом нашей Победы.

Одно из первых стихотворений Сергея Орлова, написанных еще в юные годы, было замечено Корнеем Чуковским. Это, однако, не соединило поэта с детской литературой. Но его стихи юное поколение должно знать непременно! Как и его биографию... На таких стихах, на таких судьбах должны учиться мальчишки и девчонки рыцарству, благородству, отваге. И доброте...

И все же было одно (очень важное для Сергея Орлова!) событие, которое заставило его обратиться к детской поэзии. Но уже не как писателя, а как счастливейшего, влюбленного дедушку, который каждую нашу встречу начинал с рассказов о Степке... Он читал ему вслух и стихи и прозу, а нам, своим друзьям, дарил детские откровения внука, его высказывания и оценки, которые были, право же, не по-детски мудры и точны. Сергей любил своего внука одержимо, самозабвенно... Как может любить только очень хороший, очень добрый человек!

Встречаясь с Сережиной мамой, учительницей по профессии, присутствуя на открытии мемориальной доски в школе, где учился будущий поэт и где преподавала его мама, я подумал, что это трогательное, трепетное отношение к юным пришло в сердце поэта как бы «по наследству», досталось ему от матери.

Я очень любил Сережу... И не мыслю сегодняшнего и завтрашнего дня без него. Но, как уже не раз утверждалось, жизнь большого писателя не обрывается его физической смертью — она продолжается его книгами. А стало быть, путь Сергея Орлова в грядущее будет очень долгим и таким же благородным, прекрасным, каким был при его жизни.

ВАЛЕРИЙ
ДЕМЕНТЬЕВ

## *Стихи и дни Сергея Орлова*

### *Плоты*

Летом 1947 года Сергей Орлов приехал в Вологду. Я не помню сейчас, при каких обстоятельствах мы с ним познакомились, но ясно помню, как втроем — с Сергеем Викуловым и Сергеем Орловым — мы шли длиннейшим Советским проспектом к перевозу, где возле Лесной биржи всегда стояли плоты. С этих плотов хорошо было нырять, хорошо было и загорать на чешуйчатых, теплых, попахивающих смолкой бревнах. Закрыв локтем глаза от колючего солнца, мы лениво перебрасывались отдельными словами. Счастье такого сладкого ничегонеделанья, такого беспечного, как в детстве, купания с плотов, которые приплыли, наверное, от самого Белозерска, было столь новым и невыразимым, что оно кружило нам голову и озаряло все вокруг радужным светом.

На противоположной стороне, во Фрязиновой слободе, над ветхой церквушкой с криком кружились черные птицы, а здесь, на плотах, было тихо и было слышно, как пошлепывала о бревна вода, как глухо били вальками бабы по мокрому белью на фрязиновском портомое.

Сергей Орлов тогда еще не носил своей знаменитой шкиперской бородки, но его рубцы и шрамы нам, бывшим фронтовикам, были незаметны. Мы просто не видели их. И он это отлично чувствовал и знал. Правда, если что и привлекало наше внимание, так небольшие латки на предплечье — отсюда хирурги брали кожу для пластических операций. Эти латки светлели больше обычного на его светлом и незагорелом теле. Вообще он был худощав, подборист.

— Слушай, Орлов, — сказал один из нас, прервав блаженную дрему. — Хочешь, стихи почитаю?..

— Валяй! — Сергей разом поднялся, сел, охватил руками колени.

В середине солнечного лета
Я глядел, не опуская век,
На фигуру этого атлета —
Здорово устроен человек!

Сергей расхохотался, потому что в этом стихотворном экспромте явственно пародировалась его интонация, его образная речь. Да и вообще намекалось на его отнюдь не богатырское телосложение. Позднее Сергей любил возвращаться в застольных разговорах к этому послевоенному лету, к этому купанию и экспромту, который, судя по всему, ему нравился.

### *В городском саду*

Вечерами, когда над куполами Софийского собора с криком кружились городские стрижи, мы шли на Соборную горку. И здесь, на крутом береговом откосе, подолгу смотрели на закат, на воду, мерцающую алыми отблесками, на излуку, испещренную головами купающихся и темными пятнами прогулочных лодок. Из парка доносились звуки духового оркестра — на эстраде играли, как и до войны, «Синий платочек». Для порядка мы заглянули на танцплощадку, где в эти ранние предвечерние часы одиноко кружились девчата в белых носочках и ситцевых платьицах с белыми воротничками. Но мы не пошли танцевать, а вернулись на Соборную горку — излюбленное место вологжан, которым отрадна и красота речной излуки, и какая-то особенная, исполненная сосредоточенности и величия тишина, изредка пересыпаемая звоном курантов. В соседстве с Софийским собором, этим белоснежным чудом северного зодчества, думалось широко, говорилось свободно, читалось легко и задушевно. Я имею в виду стихи, которые в ту пору мы особенно любили читать друг другу. Да и позднее Сергей Орлов сохранил эту привычку — читать новые стихи множество раз и самым разным людям, как бы проверяя стихи на слушателях, в чем-то убеждая самого себя. Правда, стихотворение «В городском саду» мне довелось прочитать в одном из сборников поэта несколько лет спустя, но я сразу же понял, почему тогда так часто и внезапно замолкал Орлов, почему он глядел на этот закат, на реку, на танцплощадку из дальней дали, немыслимой нам в ту пору.

...После короткого, глубокого вздоха начинается это стихотворение:

В саду городском в воскресенье
Оркестр на закате гремит,
И ситцевый ветер веселья
По желтым дорожкам летит...

В стихах этих, как и всегда у Орлова, нечто обыденное, не побоюсь сказать, трогательно-привычное — лишь сигнал для внутренней настройки, которая подхватывает поэта, подымает его на крыльях воодушевления — выше, выше... И уже не с колокольни, откуда открываются голубоватые от тумана окрестности Вологды, а с какой-то иной высоты видятся ему пути-дороги нашего фронтового поколения.

...Прощаний не помню короче,
Дороги тонули в пыли.
Мы песню про синий платочек
На память с собой унесли
Из этого самого сада,
В котором играет оркестр,
Со старой дощатой эстрады,
Где нет на скамеечках мест.

...Что я могу еще добавить к этим стихам?.. А только то, что в августе семьдесят восьмого года на старинном здании, стоящем возле Софийского собора, возле крепостной стены, появилась табличка: «Улица Сергея Орлова». Нет прекраснее места в родной Вологде, и нет теперь для меня более памятного, чем этот береговой обрыв.

### *Крестьянская застава*

В пятьдесят четвертом году Сергей Орлов приехал заканчивать высшее образование в Литературный институт имени Горького. Между тем наступили зимние холода, а постоянного жилья у Орлова не было: ездить на пригородных поездах в Переделкино, где в бывших дачах располагались комнаты студенческого общежития, он не хотел, да и не мог по состоянию здоровья. Вот и ютился то за ситцевой занавеской в коммунальной квартире где-то возле Белорусского вокзала, то жил в номерах, то приезжал ночевать ко мне на Крестьянскую заставу. «Мы живем на Крестьянской заставе...» — начиналась наша песня, сочиненная в дороге. Нынче не сохранилось ни названия этого старого московского района, ни домов и домиков с неизменными вязами под окнами, закрытыми парадными подъездами, печками, облицованными кафелем. От бывшей Крестьянской заставы теперь идет Волгоградское шоссе — многоквартирные дома, обширнейшие пустыри для новых застроек.

В одном из домов по Новоселенской улице у меня была крохотная комнатка, которую мне предоставили родители моего друга Всеволода Назарова, погибшего в марте сорок

пятого года в Венгрии. И хотя Елена Дмитриевна и Андрей Захарович каждый день топили печь, облицованную все тем же старинным кафелем, в комнатке было более чем прохладно. Однажды ночью у Орлова даже волосы примерзли к металлической спинке кровати, о чем он не раз вспоминал в дружеском кругу. Но как студент Сергей Орлов имел множество льгот, вернее, получилось так, что он сам себе устроил свободное посещение занятий. Ибо и в ту пору он уже был известным поэтом, одним из лучших среди фронтовиков. Его творческая активность в домике на Крестьянской заставе была исключительно велика — он создавал третью книгу стихотворений «Городок», которая мне чем-то напоминала «Районные будни» Валентина Овечкина. И Сергей радовался этому сравнению. В одном из очерков, посвященных его творчеству, мне доводилось писать, что после поэтического монументализма, запечатленного в сборнике «Поход продолжается», поэт вдруг как-то светло и дружелюбно оглянулся вокруг. Он всмотрелся в тихий северный район, в его будни, в его людей — «министров поля и реки». И с грустью заметил, что только родной городок «не растет, не строится, как надо...»:

Вкруг его, как видно, не найдут
Никаких таких месторождений,
Только реки сонные текут,
Льны цветут, да облака плывут,
Да базар шумит по воскресеньям.

Но жизнь этого, как бы раньше сказали, заштатного городка полна чудес и удивительных людей. Когда Сергеем уже было написано стихотворение о «маленьком, смешном и популярном» фотографе, я во время нашей полуночной беседы рассказал, что однажды из громкоговорителя в некоем районном центре мне довелось услышать довольно-таки странное объявление — диктор сообщил, что по заявкам товарищей радиослушателей будут передаваться русские народные песни в исполнении... нет, не знаменитой на весь мир певицы, а работницы местной промкооперации. Через некоторое время Орлов читал мне свое новое стихотворение «Шура Капарулина поет...».

Замечу, что именно там, на Крестьянской заставе, я имел возможность видеть, как работает Сергей Орлов над своими стихами. Он их, по собственному выражению, «вытаптывал», он сочинял их на ходу, он переворачивал

в уме одну и ту же строчку множество раз, а затем заносил строки и строфы на первый же попавшийся листок бумаги. В то время он не вел тетрадей, но я помню его листочки из блокнота, из тетрадки, я помню даже бумажную салфетку со стола ресторана ЦДЛ, на которой довольно четким округлым почерком, с отдельно стоящими друг от друга буквами, было написано какое-то стихотворение. Иные слова были перечеркнуты, но стихотворение было видно почти что сразу. Позднее, когда мне довелось заниматься творчеством Есенина, я не мог не поразиться этим сходством и почерка, и самого творческого процесса: ведь Есенин тоже сочинял стихи в уме, а затем почти готовые записывал на первый же попавшийся клочок бумаги. Вообще в Орлове меня часто поражало что-то воистину есенинское — его удивительно легкая походка, его врожденная артистичность, которая угадывалась и в жестах, и в манере поведения, его феноменальная память не только на свои стихи, но вообще на стихотворные тексты, наконец, его умение говорить так, что за словесным образом угадывался и второй и третий смысл... Сергей Орлов много читал, но отнюдь не по институтским программам. Нет, читал он быстро и только то, что было ему внутренне необходимо. Когда однажды он пришел со мною в Публичную библиотеку, где я проводил все дни и вечера, то через какое-то время он откровенно заскучал в этом огромном, ярко освещенном, заполненном шорохом страниц зале и тихо-тихо и как-то незаметно исчез.

...За стихотворный цикл, опубликованный в журнале «Огонек», Сергею Орлову была присуждена ежегодная премия журнала. По-моему, это была его первая литературная премия. Ранним январским утром мы приехали в здание комбината «Правды», но не столько за экземпляром журнала, сколько за гонораром. И потом долго и чинно завтракали в ресторане гостиницы «Москва». Сергей читал «Соловьиху» Бориса Корнилова, которого превосходно знал с довоенной поры. И так хорош был этот долгий и дружеский завтрак, эти белоснежные скатерти, этот хрусталь на столе, что нас не страшил даже жгучий январский ветер, который ожидал на улице.

Метель за всеми четырьмя углами
Такая, что не выйти за порог,
Как будто полюс Северный снегами
Обрушился с утра на городок...

Я на ощупь протянул руку к телефонной трубке и сразу же узнал Сергея Орлова.

— Слушай, как называли между собою солдаты немецкий автомат?

— А полегче у тебя ничего другого не нашлось?

— Я серьезно спрашиваю. — Сергей начинал сердиться. — Не могу вспомнить... «шмассер»... «шмайссер»...

За окном серел осенний рассвет, и в этом зыбком, скользящем и призрачном свете здание новостройки, возвышающееся напротив, казалось, медленно, как океанский теплоход, вплывало в мою квартиру.

— Ты что? — Нетерпение Сергея росло. — Пропал куда-то... Хочешь, я тебе весь стишок прочитаю?.. Сам все поймешь...

И деловым тоном начал читать стихи, которые обдумывал, надо полагать, не одну ночь и которые сразу же отбросили меня назад, в огненные сороковые.

Днем я никак не мог избавиться от смутной тревоги, внушенной мне этим новым стихотворением Сергея. Садился ли в троллейбус, заходил ли в Союз писателей, протискивался ли в вагон метро, временами — среди всей этой деловой суеты и человеческого многолюдья — я погружался в стихотворные строки. И хотя ни одной я не запомнил наизусть, они жили во мне зримыми образами, вернее — видениями. Вот я видел прозеленевший — в уродливых шишках и наростах — старокрымский лес, вот ручей в ложбине, слабо окрашенный кровью раненых партизан, кровью медсестры, которая только что стирала в этом ручье бинты...

Фельдфебель был из здешних мест —
Выслуживал, старался...
Он к ней наперерез
Без «шмайссера» поднялся...

Вначале мне показалось, что Орлов в давнем фронтовом эпизоде еще раз выразил свою главную творческую идею: все безвестное воистину величаво, если величавы и возвышенны цели, во имя которых гибнет человек. Но постепенно мне стало раскрываться и нечто иное. И я подивился душевной силе и личному мужеству Сергея Орлова, ибо он выразил в этих стихах и нестерпимо жгучее чувство беззащитности перед чем-то неотвратимым, я бы сказал, роковым... Орлов не хотел успокоительных слов — память войны не позволяла ему солгать в главных «про-

клятых» вопросах человеческого существования. Орлов не щадил себя, но он щадил близких и друзей, которых не всегда посвящал в эти свои мысли, которые, вероятно, возникали в нем помимо воли. Его духовный мир был необычайно сложен, и были у него тайны, которые он поверял только стихам.

Некоторые поэты, желая восславить героизм наших современников, вольно или невольно подменяют эстетические понятия «возвышенного» понятием «поразительного». И создают стихи, действительно поражающие внутренней пустотой. Орлов никогда не смешивал эти понятия. Напротив, он был твердо убежден, что поэзия не должна поражать других ни внешними эффектами, ни громкими и пустыми словесами. Однако его воин «без званий и наград» покорил сердца множества множеств не только этой своей рядовой судьбой, но и необыкновенной «планетарной» славой.

И вот сейчас, возвращаясь к раннему звонку, в общем-то обычному в наших дружеских отношениях, я думаю о том, как все-таки важен был этот звонок: он внезапно приоткрыл завесу над напряженной духовной жизнью, которой жил Орлов до последнего часа.

А стихотворение «Где вязы кронами сплелись...», посвященное Юлии Друниной, было опубликовано в посмертной книге Орлова «Костры». Добавлю: среди двухсот стихотворений, ранее неизвестных никому. Это и была самая непонятная и сокровенная тайна Сергея Орлова.

### *Осколок*

Мне пришлось даже перевести дыхание, когда я взял в руки эту, казалось бы, потрепанную, обветшалую, но такую весомую книжицу. Обложка была разорвана, вернее — в центре зияла рваная пятиконечная звезда.

Я видел эти звезды не на музейных стендах, не в залах воинской славы, а там, под Выборгом и Сандомиром, Старым Козле и Градцем Краловым, видел возле убитых, сраженных наповал, залитых кровью, видел на обложках боевых уставов, на пачках писем... Такие рваные звезды оставляют снарядные осколки, бронебойные пули, шарики противопехотных мин, оставляет все то, что нацелено в грудь человека, в самое сердце солдата.

А сердце солдата бывает прикрыто комсомольским билетом и офицерским удостоверением, пачкой писем от матери, справкой о старых ранениях, а иногда и медалью, заслуженной в боях...

Все, что я рассказываю сейчас, все имеет прямое отношение к жизни и поэзии Сергея Орлова, к его человеческому облику, его столь горькой для всех нас смерти.

О том, что Сергей Орлов был ранен, я знал и раньше, знал от него самого. Нет, я не оговорился, именно ранен, а не только обожжен в тяжелом танке «КВ».

Вроде бы неохотно, а может быть, и чуточку иронично, как старые солдаты вообще любят говорить о странностях военной судьбы, или, по-старокнижному, фортуны, Орлов вспомнил эпизод из своей госпитальной жизни.

Раненые сдавали документы комиссару госпиталя. Солдат, стоявший впереди за два человека, подал комиссару партбилет, простреленный пулей и залитый кровью. Это был его, раненого солдата, партбилет. Стоявший за ним сержант подал свою солдатскую книжку с оторванным краем. Но когда Сергей Орлов стал сдавать документы и показал комсомольский билет, пробитый осколком, то комиссар не выдержал и грубовато, но верно сказал: «Вы что, сдурели, что ли, ребята?..» Все трое получили смертельные ранения, и все трое остались жить.

Сергея Орлова спасла медаль «За оборону Ленинграда», да, именно эта медаль, которую он недавно получил и носил вместе с документами в кармане гимнастерки.

Но осколок, вырвавшийся из кромешной тьмы, из самого чрева войны, прочертил страшную траекторию в далекие, в семидесятые годы. Он догнал поэта на его самом высоком, самом блистательном творческом рубеже, догнал и убил наповал.

В медицине подобное называют каким-нибудь латинским словом, но, по-моему, здесь именно этот остроконечный, раскаленный осколок, который пробил комсомольский билет комсорга танковой роты — Сергея Орлова, и убил его.

Совсем недавно мне показала этот билет за номером 4235182 еще совсем мальчика, улыбчивого и широколицего, — его жена, а теперь уже — увы, увы! — его вдова и верный преданный друг Виолетта Степановна Орлова.

Нет, я не могу и не хочу говорить о Сергее Орлове просто как о человеке, мне хочется говорить о Сергее Орлове как о человеке-легенде.

Да, он был таким легендарным героем Отечественной войны, витязем, закованным в танковую броню, и первым ворвавшимся в город, называемый в летописях Господином Великим Новгородом.

## *Неизбежность второго открытия*

Известно, что больших поэтов открывают заново не однажды. По-моему, именно этот процесс происходит сейчас в связи с еще более углубленным постижением поэзии Сергея Орлова.

Пошел второй год после смерти Сергея Орлова, заставившей нас оцепенеть в скорбном недоумении и задуматься с пронзительным чувством тоски: кого же мы потеряли? Да, мы знали, отлично знали, насколько Сергей Орлов большой поэт. Но мы тогда еще не знали всей правды о том, насколько он большой поэт. Теперь вот в печальной сосредоточенности перечитано и осмыслено заново все, что было написано Сергеем Орловым. Стало более очевидным многое из того, что при жизни поэта в его судьбе, в его творчестве как будто само собой разумелось. Разуметься-то разумелось, а вот сейчас чувство вины подсказывает: надо было многое из того, что говорится в честь поэта сегодня, высказать куда определеннее и громче еще вчера, при его жизни. Впрочем, тут есть какая-то своя закономерность: о большом художнике после пережитого потрясения, вызванного его кончиной, непременно приходят новые, еще более глубокие и точные мысли, которые постепенно перерастают во всенародные суждения, с чего и начинается его второе открытие.

А тут еще обнаружилось, что в литературном наследстве Сергея Орлова оказалось много неопубликованного. Читателя поражают все новые и новые публикации прекрасных стихов поэта, которые уже сами по себе могли бы составить достойное имя любому. Посмертные публикации Сергея Орлова стали почти сенсацией, хотя такое случается довольно нередко с большими художниками. Но чтобы обнаружилось так много неопубликованного и столь совершенного — это оказалось поразительным.

Я с Сергеем Орловым познакомился в 1959 году в Ленинграде, в редакции журнала «Нева». Во многом он открылся, как мне казалось, сразу же — я почувствовал его естественность в манере поведения, застенчивость, стеснительность. И в то же время я почувствовал его твердость, жесткость и непоколебимую бескомпромиссность в суждениях, когда речь шла о четкости граждан-

ской позиции художника, об истинном назначении искусства. Вот одно из его таких суждений, которые он высказал в статье «Приглашение к путешествию»: «Мне доводилось видать на Западе выставки художников-абстракционистов. Они предлагают зрителю свой мир, принадлежащий только им, и такого действительно не увидишь нигде, разве лишь на соседних полотнах (кстати сказать, до чего же похожи эти субъективистские полотна одно на другое!). Я долго ходил по залам, транжиря время, дорогое в кратких поездках, потому что мне хотелось хоть немного понять, почувствовать выставленное, ведь художники дарили свое, неповторимое. И все-таки я ушел ни с чем. Нельзя подарить то, что никому не нужно. Можно, конечно, всучить, но радости от такого подарка не будет».

Да, во многом Сергей Орлов для меня открылся сразу же. Но что-то еще оставалось в этом человеке такое, что я открывал в нем до последнего его дня и продолжаю открывать поныне. К примеру, я все больше и больше поражался его эрудиции, меня заставляла подтягиваться его обязательность, дотошность в выполнении, казалось бы, второстепенного дела в секретариате правления СП РСФСР, где мы вместе работали, я не мог без волнения слушать, как он много и человечно говорил о своем внуке Степе, в котором души не чаял, я видел, как он был заботлив к матери, к жене, к сыну. Он был истинным солдатом, но ненавидел солдафонство, он был беспощадным в идеологических спорах, но прощал товарищам их человеческие слабости. Своих друзей-фронтовиков он считал самыми родными для себя людьми, готов был немедленно прийти на помощь любому из них, и это при полном забвении своих житейских интересов.

А мы прошли по этой жизни просто,
В подкованных пудовых сапогах.
Махоркой и соленым потом воздух,
Где мы прошли, на все века пропах...

А там, где прошел Сергей Орлов (а поэт вошел в сердца, в сознание своих читателей), он оставил о себе представление как о человеке, неистребимом не только в нетленности своего духа, но и в живой своей плоти: шутка сказать, горел два раза в танке, столько раз смотрел смерти в глаза — и выжил. И пусть махоркой не махоркой, но жаром разгоряченного боем солдата веет от него, как бы от живого, до сих пор, едва набредают на память его стихи, едва открываешь его книгу.

Учила жизнь сама меня,
Она сказала мне,
Когда в огне была броня
И я горел в огне:
«Держись,— сказала мне она,—
И верь в свою звезду,
Я на земле всегда одна,
И я не подведу.
Держись,— сказала,— за меня».
И, люк откинув сам,
Я вырвался из тьмы огня
И вновь приполз к друзьям.

Да, от него веет жаром разгоряченного боем солдата, обликом своим, с его мятежной прической, с его рыжей бородой, он напоминает мне призывный факел — поэта нет в живых, а тепло, излучаемое им, почти физически чувствуешь.

Я помню, так явственно помню, будто это происходило вчера, выступление Сергея Орлова за день до его смерти, 6 октября 1977 года, на митинге в правлении Союза писателей РСФСР в честь новой Конституции СССР. Мы сидели рядом в глубине зала. И когда было объявлено, что митинг открыт, Сергей Орлов первым встал и почему-то стремительно, очень стремительно подошел к столу президиума и произнес речь такого накала, такой яркой публицистики, что можно было лишь сокрушаться: жаль, не внемлют люди поэту далеко за пределами этого зала. Я слушал Сергея Орлова и понимал, что значит, когда человеком движут силы, именуемые убежденческими. Что-то было, кроме всего прочего, полемическое в его речи, он явно спорил, было понятно, что он вел нравственный идеологический поединок с теми, кто за рубежом хотел бы ослабить впечатление от нашей Конституции, которую весь мир воспринимал как историческое событие. Я слушал Сергея Орлова, и мне казалось, что могу легко себе представить и то, каким он был в своем неудержимом танке, и то, каким он бывает, когда ищет свои поэтические строки.

В статье «Читая стихи товарищей» Сергей Орлов писал:

«Есенин сказал, что его биография — в его стихах. Биография поэтов военного поколения, начатая в стихах в ту пору, когда музы, по утверждению древних, должны были молчать, продолжается ныне с мастерством, широтой и углубленностью. И это дает нам право утверждать, что главная идейная характеристика их лирики — высокая ее патриотичность. И дело даже не в том, что запас личных,

необыкновенно острых впечатлений, полученных в юности, определил направление лирики, а в том, что главные нравственные принципы, философский взгляд на мир, короче говоря, концепция мира были определены в то суровое решающее время надолго и всерьез».

Каждая строка этого утверждения — достовернейшая правда и о самом Сергее Орлове. Он был символом своего поколения, его огненной заглавной буквой.

Многое советский читатель, критика, товарищи по перу постигли в славном поэте Сергее Орлове при его жизни. И очень многое еще предстоит постигнуть в нем во втором неизбежном, закономерном его открытии.

НИКОЛАЙ
ЗИДАРОВ

## *Реквием*

Над ним — заря, над ним —
не чернозем.
Улыбки, обгоревшей в танке,
нету.
Без ясных птиц на дереве твоем
так одиноко стало белу свету.

Стрелял, горел,
на танке мчался вдаль
и пережил врагов,
себе на диво;
прикрыла сердце
славная медаль,
не тлело сердце, а сияло живо.

Как след от траков,
каждая строка,
написанная строгою десницей.
И жизнь твоя, светла и высока,
звездой над всеми нами
да светится!

Перевод с болгарского
О. Шестинского

МАРИЭТТА
ШАГИНЯН

### *Память*

Память и «воспоминания» — это разные вещи. Я храню память о дорогом мне поэте и человеке Сергее Сергеевиче Орлове. Но у меня нет материалов о встречах, разговорах и совместном участии в событиях жизни, из которых память ткет обычно то, что мы называем «воспоминаниями».

Память хранит о человеке нечто цельное и неподвижное — его присутствие, его атмосферу, его нравственный облик. Когда Сергей Сергеевич за что-нибудь заступался — значит, заступался за правое дело; когда воевал с чем-нибудь — значит, с несправедливостью. За его подписью под общественным документом всегда легко было ставить свою подпись. Есть такие люди на земле. О них народ говорит: это человек порядочный.

И его стихи (их мало, — он писал скупо и редко) всегда как-то прочно входили в память, как яркие очертанья предметов и явлений, как краски, запахи, погода, месяцы. Апрель, например. Он так и стоит в моей памяти — хрупкий и хрусткий, как тающий снег под ногами, когда он сравнил его с пластинками для проигрывания. И зной лета — как пыль под ногами марширующего полка. Он, кстати сказать, не любил, когда ему хвалили по телефону его стихи...

У Сергея Сергеевича сын Вова, а у меня внук Сережка были большущими друзьями. И это тоже хранит в моей памяти ощущения какого-то родства наших семей.

Как уже сказала вначале — это не «воспоминания», а только память.

АЛЕКСАНДР
РОМАНОВ

# Думы о Сергее Орлове

## 1. Облик

Кто говорит о песнях недопетых?
Мы жизнь свою, как песню, пронесли...
Пусть нам теперь завидуют поэты:
Мы всё сложили в жизни, что могли...

Эти строки я впервые не прочитал, а услышал и сразу запомнил лет тридцать тому назад. От самого автора. И с той поры в душе у меня жив его негромкий, чуть торопливый, без ораторских нажимов, буднично убежденный голос. Это была самая первая встреча с Сергеем Орловым.

В тот год, осенью, когда от белого Софийского собора мела в реку Вологду березовая поземка, он приехал в наш пединститут. Собственно, он приехал к своим товарищам, тоже фронтовикам, Сергею Викулову и Валерию Дементьеву, но поскольку они в институте «возжигали» среди студенчества первый после войны литературный костер, и состоялся тот памятный поэтический вечер.

Обстановка в институте в те годы была яркой: наполовину фронтовики, наполовину мы, ребята и девчонки, только что окончившие школу. Разница в возрасте с фронтовиками была всего в несколько лет, но эта разница, как два берега — один высокий, другой низкий, — простиралась рядом в своей четкой и долгой неслитности. Нам со своего берега не дано было взойти на их берег, а они всё могли: вступить в азарте жизни и на наш берег, и навести переправы в будущее. Мы на них, ходивших еще в гимнастерках, смотрели с тихим восторгом. И когда они вводили нас в свой дружеский круг, это было честью и приобщением к тому времени, грозные меты которого остались у них в походке, на руках и лицах.

Продолговатый актовый зал переполнен. Вологда, всегда чуткая и отзывчивая на имена своих земляков, уже слышала о Сергее Орлове. В Ленинграде у него только что вышли первые книги. И вот он сам. Что-то необычное, огневое мелькнуло в облике. Рыжеватая, словно опаленная, борода, пепельное буйство волос, горящий смущенный

взгляд. А сам молодой, подтянутый, по-студенчески распахнутый. Стоял он на сцене, близкий и далекий этому гудящему залу.

После нескольких слов привета, сказанных смущенно, но душевно, стал читать стихи. И не все сразу поняли, что это уже стихи, потому что читал просто, словно разговаривал. Даже рифмы угадывались не всегда. Без жестов, лишь руку вскидывал, чтобы откинуть со лба волосы, читал он, как исповедовался в делах своих на войне. И эта негромкость и простота постепенно становились обжигающими — зал, до самых последних рядов, замер не дыша.

Вот тогда-то я и услышал многие, ныне ставшие знаменитыми, его стихи о солдатском подвиге на Великой Отечественной войне, запомнил и солдатский облик дважды горевшего в танке самого Сергея Орлова. Духовная озаренность, огромная мыслительная работа, цельность натуры чувствовались в нем всеми, кто только сходился с ним хотя бы однажды.

У меня же в разные годы, вплоть до самых последних его дней, было немало встреч, но та, первая, так запала в сердце, что всегда я видел поэта таким, как в тот раз, далекой вологодской осенью.

«Кто говорит о песнях недопетых?» А мы все говорим, горестно и беспомощно сетуя на время, когда потрясают нас такие утраты. Говорим, жалеем, а надо бы молча и тревожно задуматься, насколько неожиданно коротка человеческая жизнь и как надо уметь прожить ее в полную меру для людей, Родины, будущего. Сергей Орлов это понял еще совсем юным, на войне, когда хоронил друзей, своих одногодков, и сам много раз умирал. И тогда, когда в кромешном аду торопливо записал в блокноте:

Нам не страшно умирать,
Только мало сделано,
Только жаль старушку мать
Да березку белую!..

И тогда, когда чеканил бронзовые строки: «Его зарыли в шар земной...»

Но поэзия возвращала его к жизни. И он свою жизнь, всю без остатка, вложил в поэзию.

### 2. *Поэтическая фреска*

В одно жаркое лето, в пятидесятых годах, Сергей Орлов и Михаил Дудин приехали в Вологду. Мы встретили их на вокзале и вместе поехали в гостиницу «Северная».

Гостиница эта в центре города, на площади, как высокий, узорный торт на блюде. Она старая, еще купеческая, и прежде называлась «Золотой якорь». Помню, Орлов, щурясь от солнечной красоты здания, остановился на площади и сказал: «Ну какая же она „Северная“, она точно „Золотой якорь“. Да, умели строить!..»

Раскрыв большие, желтые, в ремнях портфели, бывшие в то время новинкой и опахнувшие нас ленинградским, праздничным духом, гости отдыхали в прохладе номера и неспешно, по-свойски разговаривали с нами, тогда молодыми журналистами из комсомольской газеты. А потом, когда спала жара, мы вместе пошли гулять по городу. Любовались — уже в который раз — Софийским собором, четко и легко взметнувшимся в закатное небо, тихой гладью реки, где у берега с плота женщины полоскали белье, а по другую сторону, словно опрокинутые в воду, отражались старинные церкви. И эта милая незатейливость будничного женского дела, и вековой узор отраженных куполов овевали нас вечерней поэзией.

Затем миновали мы Каменный мост, многолюдную площадь и остановились в парке у одинокой церкви Иоанна Предтечи. С виду она обычная, зато внутри расписана такими жаркими, сочными фресками, что по окончании работ в семнадцатом веке тогдашний вологодский владыка долго не осмеливался и освятить ее, посчитав роспись кощунственной и даже срамной. Смятение владыки тем более усилилось, что на ту пору прибыл в Вологду молодой и грозный государь Петр Первый. Легенда рассказывает, что владыка в страхе всячески отводил царя от церкви, но тот пожелал ее видеть. И вот Петр, кидая в трепет местное священство своим ликом, ростом, силой и пуще того табачным дымом, встал, расставив ноги посреди церкви, зорко оглядел красочные стены и расхохотался. Роспись ему так приглянулась, что он тут же заставил владыку освятить новый храм...

Все это мы поведали нашим гостям. Помню, Сергей Орлов оживился необычайно, шел, оглядываясь на церковь, и долго улыбался, не вступая уже в другой наш разговор. А потом сказал, что надо сходить к Петровскому домику. Такой домик, каменный, узорный, в котором когда-то жила вдова голландского купца Гутмана и где, по легендам, в свои приезды в Вологду останавливался Петр, и поныне белеет на высоком речном берегу (в нем филиал краеведческого музея). И мы пошли туда. Он был открыт.

В Петровском домике немного вещей, но зато есть подлинные — камзол и кубок. Сводчатый потолок, низенькие окна на реку, тени семнадцатого века — тихий толчок для воображения. Недолго мы были здесь, всего каких-то полчаса, но на другой день Сергей Орлов написал яркое, густое, смелое в поэтических вольностях стихотворение «Петр Великий в Вологде». Оно похоже по праздничной полнокровной манере на одну из буйных в своих красках фресок на стенах церкви Иоанна Предтечи.

Как колокольня, ростом длинен,
Сажень в плечах, глазаст, усат,
Царь прибыл в город по причине
Совсем не царской, говорят.

В ботфортах, сшитых саморучно,
С дубиной, струганной ножом,
На складах пристанских, как крючник,
Царь околачивался днем...

Малое стихотворное пространство — всего в сорок четыре строки — вырывает из темени далекого времени, приближает, ставит перед изумленным взором в солнечной освещенности, предметности, подвижности самую ту жизнь, зримые людские лики, размашистый, будничный образ государя, которому за речкою Вологдой видятся не леса да поля, а море, флаги, корабли — российский флот! И тут же теснятся легкие, живописные, вольные очертания той далекой, минутной для Петра женщины:

Ах, либе Анна, либе Анна,
Вдова голландского купца,
Добра, вальяжна и желанна,
Хотя и девочка с лица...

И Анне в горнице не спится:
Опять на дереве в окно
Поет томительная птица
И жжет в постели полотно.

Речь тут не о летописной точности, а о поэтическом чувстве историзма и о силе талантливого слова. Всем этим Сергей Орлов был наделен щедро.

### *3. Урок*

Приехал однажды я в Ленинград в ту пору, когда Сергей Орлов вел отдел поэзии в журнале «Нева». Отыскал на Невском редакцию, сдерживая волнение, вошел

в большую комнату, напоминавшую старинную гостиную, в кружке незнакомых мне людей увидел земляка. Табачный дым клубился над их кудлатыми головами. Орлов не сразу заметил меня, но когда я подошел поближе, он вскочил и обнял. Все такой же, только усталый. Отвел в сторону и сразу же спросил, привез ли я стихи. Стихи, конечно, лежали в портфеле, но было так неловко, страшновато их отдавать, что я замялся.

— Давай, давай, показывай, — торопил Орлов, — сейчас же и отберем для журнала...

И пришлось стихи показывать. Он закурил сигарету, достал из кармана сточенный — в мизинец — карандашик и стал пробегать строчки прищуренными глазами. Я отошел к высокому окну и замер. Шумел, кипел за окном Невский, но я ничего не видел.

— Вот это, это и это, — сказал Орлов, дивя меня быстротой чтения и решительностью отбора стихов в девятый номер. — А эти затянуты. — И его карандашик с резкими отметками пролетел по моим страницам. — Надо писать короче! — Он весь повернулся ко мне, осветился улыбкой и пощипал свою бороду. — Скажи, эти длинные стихи ты писал за столом, а вот эти — на ногах? Не так ли?..

Я опять про себя удивился: это было действительно так.

— Вот то-то. — Он остался доволен своей догадкой. — Знаешь, я почти всегда пишу на ногах. Не пишу, конечно, а складываю и запоминаю. Записываю лишь потом, и задерживаются на бумаге только стоящие строчки. Вот ты вернешься домой, положи эти стихи в стол, а сам уйди в лес. Поброди, а потом вслух по памяти восстанови и прочитай — половина строчек останется в лесу...

Я так и сделал. Так и вышло.

И в моих лесах с той поры много-много строчек, никому не известных, зацепились за кусты да хвойные ветки и навсегда там остались.

### *4. Холодные цветы из Пекина*

В другой раз, в начале шестидесятых годов, приехали мы в Ленинград с Сергеем Викуловым. И сразу же к Орлову. Он встретил, как всегда, распахнуто. Но сам внутренне был чем-то угнетен. Это замечалось и по задумчивым его паузам, и по не такому острому, как прежде, вниманию к деревенским делам, о которых мы рассказывали с жаром.

Сидели в кабинете его большой ленинградской квар-

тиры, где много книг, особенно поэтических, и возле окна письменный стол без единого на нем листка. Потерев нервно виски, Орлов в одну из пауз неожиданно, несвязно вставил:

— А я только что из Пекина...

Не помню, как Викулов, а я, точно, ничего тревожного тогда не знал о Китае и только тут впервые услышал.

Орлов с горечью поведал о многом. Он был в Китае в составе узкой писательской делегации как раз в пору начинавшегося враждебного курса Мао Цзэдуна. Был уже закрыт свободный доступ к местам, интересовавшим писателей, стеснено общение с рядовыми китайцами, и зоркий, узкий, металлический взгляд на каждом шагу упирался в спины русских.

...Уже после кончины поэта, во втором номере за 1978 год журнала «Наш современник», читатели увидели его сильные стихи той поры:

...Пусто в городе Пекине,
Все дома темным-темны,
Только звезды в небе синем
Над Пекином зажжены.

Два китайские солдата
Повстречались нам впотьмах,
Два знакомых автомата
Дулом книзу на ремнях.

Ни машин, ни пешеходов,
Ни китайских фонарей,
Молчаливо спят у входов
Морды каменных зверей.

В магазине на витрине
Только лозунги видны.
Пусто в городе Пекине,
Но у каменной стены...

Два китайские солдата
Повстречались нам впотьмах,
Два знакомых автомата
Дулом книзу на ремнях...

Картина мрачная и холодная. Еще не зная многого из того, что узнали мы через пять—семь лет о Китае, поэт, только соприкоснувшись с «каменной стеной», сразу почувствовал людское отчуждение, и холод пробежал по его строкам. «Два знакомых автомата» — ему ли, Орлову, не узнать было отечественного оружия, по-дружески переданного нами и вдруг зловеще показанного в пекинском

сумраке. Можно понять, какая суровая тревога коснулась сердца поэта, столько пережившего на недавней мировой войне, и какая горечь полыхнула в нем, когда в Мукдене увидел он в полном запустении памятник своим побратимам, советским танкистам, освобождавшим Азию от японских захватчиков и погибших там.

...Камешку в Мукдене
Двадцать пять годов.
На его ступенях
Никаких цветов.

В городе Мукдене
Камень в сто пудов.

В нашей поэзии еще не было таких стихов. Впервые продиктовало их чуткое, мужественное сердце Сергея Орлова.

...А в тот далекий ленинградский вечер, когда мы сидели и разговаривали, никаких стихов не касались. Живые детали, самые малые приметы увиденного и почувствованного Орловым волновали нас больше всего. В кабинете были уже Виолетта Степановна, его жена, мать Екатерина Яковлевна, и Сергей Сергеевич, задернув на окне штору, стал показывать нам снятую им в Китае любительскую цветную кинопленку.

— Вот все, что разрешили нам снять, — сказал он, настраивая в темноте проектор.

И на стене заколыхались дивные краски, залепестились, зафонтанились цветы, цветы, цветы. Их было много, самых разных, редких, причудливых. Но они не радовали нас. Они казались нам холодными, словно в инее на белой стене.

### *5. Белые снеозняки*

Занятый журналистскими делами в Ленинграде, а потом секретарскими — в Москве, в российском Союзе писателей, Сергей Орлов душой часто рвался в синеву Белозерья, но приезды его на родину были редки. Командировочные задания уводили совсем в другие места — и по нашей стране, и по многим странам Запада и Востока. В суголоке вокзалов, в громе аэродромов он тосковал по прохладной тишине родного Севера.

...Всюду с ревом города
На земле зимой и летом
Низвергались в никуда,
Словно водопады света.

Не было ни зим, ни лет,
Были тропики и холод,
Снег и пальмы. Белый свет
Мчался, как волчок веселый.

Но однажды на краю
Взлетной полосы, на пашне
Вдруг припомнил жизнь свою
Разом всю, как день вчерашний...

Вспомнил молодость свою,
Как горящую ракету
В том бою, году, краю
И ушел и сдал билеты.

Много ныне по-туристски странствующих поэтов. Пестрота пейзажей и городов — это приставленная к глазам разноцветность игрушечного калейдоскопа. Стекляшки крутятся, выстраиваясь на миг то одним, то другим узором, и зажигают глаза — тоже на миг — усталым удивлением. Такое кочевническое видение не задевает сердца, не будит мысль, а только тешит тщеславие.

Поездки же Сергея Орлова были граждански заостренными. Его вело желание ощутить космический ветер времени, примерить правду, выстраданную им и его Родиной, к жизни иных народов и земель. И всегда в нем по-фронтовому горело чувство защитника и вестника этой правды.

Родина для человека, граждански самоустраненного, духовно не связанного с ее историей и культурой, всего лишь паспортное обозначение. Такой человек не живет, а проживает, словно очутился по воле случая на временной пристани. Дунет непогожий ветер — и уносят волны бог знает куда. Устойчивость человека покоится на чувстве Родины. Родное видится и вширь, и вдаль, и вглубь любящему сердцу.

Сергей Орлов тревожно любил Россию. Вся его огневая поэзия — признание в этом.

Россия — Родина моя,
Холмы, дубравы и долины,
Грома морей и плеск ручья,
Прими, Россия, слово сына!

Ты стала всем в моей судьбе,
А мне за жизнь свою, признаться,
Как матери, в любви к тебе
Не доводилось объясняться...

Россия — Родина моя!
Цвет знамени, цвет ржи, цвет неба —

В них слава древняя твоя
Взлетает с новою на гребень...

И видел он, видел, когда складывал эти строки, синеву родного, древнего Белозерья. Точно так, как Александр Яшин, создавая многие свои книги, видел сосновые гривы и ржаные озера отеческого угла за Никольском-городком, а Николай Рубцов — болотные, клюквенные, глухие просторы за Тотьмой. В этой смотровой направленности не узость, не ограниченность взгляда, а соприкосновение к тайному огню поэзии — Родине.

Светлый Север, лес дремучий
В узорочье, в серебре...
Как медведи, в небе тучи
Черно-буры на заре.

Ели словно колокольни,
Тишина, как спирт, хмельна,
И из трав встает над полем
Рыжим филином луна.

Пенье вёсел, скрип уключин,
Рокот журавлиных стай...
Не скажу, что самый лучший,
А милей всех сердцу край!

В последний раз мы встретились с Сергеем Орловым в Вологде за два месяца до его кончины. Он приехал вместе с художниками как член Комитета по Государственным премиям для осмотра в здании драмтеатра прекрасно выполненного интерьера, выдвинутого на соискание премии. Встретились мы опять-таки в старом «Золотом якоре». В городе появились уже новые гостиницы, но Орлов всю жизнь был верен своим первым привязанностям — остановился там, где много раз останавливался прежде.

Пришли мы в номер с Леонидом Николаевичем Бурковым — другом юности Орлова по Белозерску, человеком военным, душевно любящим поэзию и поэтов. По-братски обнялись, расселись друг против друга, и так стало хорошо, тепло от взаимной близости. Никаких особых перемен в Сергее Сергеевиче мы не нашли, разве что след утомленности да то, что он отказался курить («Бросил, братцы, бросил!»). Разговор завелся разный, живой, от одного к другому, как бывает, когда давно не встречались близкие люди.

Потом Орлов, на правах уже хозяина, потащил нас в гостиничный буфет, где было в глиняных горшочках теплое, топленое, с коричневой пенкой молоко.

— Надо же, — восхищался он, — молоко-то какое! Ну Вологда! Прямо как в детстве. А помнишь, Лёня... — И он бережно, грея руки, держал горшочек, отпивал из него и, по-молодому радуясь, переговаривался с Бурковым.

Я тут вспомнил его давние, запашистые, густые стихи «Кружка молока» и еще раз ощутил нежность, солнечность его души.

Поздно вечером мы собрались на квартире Буркова. Жена Леонида Николаевича Ангелина была очень рада такому гостю. На столе — свежие, в сметане, рыжики, разваристая картошка, пареная брусника, горячие блинчики с малиной, клубникой, черникой...

Сергей Сергеевич расспрашивал Буркова об общих знакомых, о белозерских лесах, жалея, что на этот раз самому не добраться туда, не взглянуть. Ел бруснику, собранную на родине, неторопливо, ложечками, удивляясь ее особому вкусу, хотя она была такая же, как и везде. А потом, как бы желая отблагодарить земляков, сказал, что он прочитает стихи, которые посвятил Буркову, в память об одной совместной давней — лет пятнадцать назад — вылазке в Кирики-Улиты, красивейшее местечко под Вологдой, где когда-то обвенчался Сергей Есенин с Зинаидой Райх.

— Вот только на днях закончил, — улыбнулся Орлов,— а столько лет собирался, столько лет в себе носил...

Это признание всех взволновало: вот стихотворение, писавшееся годами! Иной слушатель или читатель в такое может и не поверить, он почему-то всегда думает, что стихи, тем более короткие, создаются в один росчерк пера, но мне-то было известно, что стихи возникают по-разному, и все-таки тоже искренне изумился.

Сергей Сергеевич, как всегда, начал просто, лишь постепенно воодушевляясь, переносясь взглядом в минувшее:

Церковь Кирики-Улиты,
Рыжий красный березняк
Почему-то не забыты,
Не забудутся никак.

Вспоминаются нежданно
Без причины и тоски
Небеса, в лесу поляны,
Под ногами рыжики.

А от церкви следу нету,
Только этот березняк
Льется, льется белым светом,
Продувает, как сквозняк...

Осенней прохладой, лесом, листопадом веяло от слов, да и сами слова, что березовые листья, задумчиво и закатно плыли в застольной тишине, вызывая из глубины души грустную есенинскую строку «Отговорила роща золотая...»

Церковь Кирики-Улиты...
Все рассыпано давно,
И ищи ты, не ищи ты —
Не отыщешь... Все равно.

Почему-то не забыты,
И звучат, плывут слова:
Церковь Кирики-Улиты —
Словно в небе острова.

Стихи были сказаны в минуту — в две, а настроение наше, озарившись ими, до конца гостеванья было уже иным, как бы приподнятым над будничностью домашней обстановки. Никаких порывистых похвал, кроме искреннего спасибо (да Орлов и не любил, всегда смущался от похвал), мы не сказали, лишь я попытался выразить свое восхищение образом «только этот березняк льется, льется белым светом, продувает, как сквозняк» да начал было что-то говорить о жизнетворящей и емкой силе поэтического слова вообще, но Сергей Сергеевич, больше меня наслушавшийся таких признаний, задумчиво помолчал и очень мягко, душевно предложил тост — последний — за хозяйку дома. Расставались хорошо, тепло, и теперь горько сознавать, что это расставание оказалось навеки.

### *6. Свет мужества и мысли*

Настоящие стихи обладают двойным свечением: одним — при жизни поэта, другим — после него. То, что не замечалось в стихах при живой, ощутимой близости их автора, сразу же и по-особому значительно замечается, когда автор уходит от нас и оставляет нас навсегда только со своими строками — уже ничего он не поправит, не добавит, не переделает. Даже те стихи, которые при жизни поэта представлялись не главными его стихами, а второго, а то и третьего плана, вдруг обретают не видимую ранее глубину, и внимательный читатель как бы уже иным, обостренным зрением улавливает в них далекие и существенные связи во времени. Даже запятые и многоточия, порой даже корявость слога воспринимаются совершенно иначе — в них находится свой смысл.

Это похоже на то, когда в пору доброго, теплого лета входит человек в широкошумный лес и, обрадованный буйством жизни, воспринимает природу крупными картинами: вон сверкают березняки, вон струятся осинники, вон лохмато и зелено дыбятся ельники. Но только дохнёт холодом осень — и каждое дерево горит наособицу. Становятся видны, выделены по-своему даже малые кустики, незаметные летом чащобные закоулки, разные полянки, бугорки и кочки... Осень сразу подчеркивает особость каждого дерева и кустика, выявляет их собственную мету в общем пламени... Так и стихи ушедшего от нас поэта сразу озаряются подсветом времени, точно и зримо выявляя заключенную в них меру пережитого, меру душевной правды.

Мера душевной правды в поэзии Сергея Орлова равна правде времени, им пережитого. Мужество как непреложное действие, как сверка своих поступков с высоким патриотическим примером всегда сурово в оценках. Для Орлова таким примером неизменно была фронтовая дружба, фронтовая молодость, заслонившая собой отечество от смертельного удара.

Приснилось мне жаркое лето,
Хлеба в человеческий рост,
И я — восемнадцатилетний,
В кубанке овсяных волос...

В окопных потемках глазами уже фронтовика, чудом оставшегося в живых, он видит в кратком забытьи самого себя, восемнадцатилетнего, красивого, идущего в довоенной тишине беспечно и мимо, все мимо радостей юности и не подозревающего, что его скоро ждет вражеский свинец. Еще можно, есть еще малый срок предостеречь этого наивного мальчика, чтобы он повнимательней оглянулся вокруг себя, порадовался жизни, открыть, что ждет его впереди, но — нет, «что положено кому, пусть каждый совершит». Идет этот мальчик, восемнадцатилетний Сережа Орлов, прямо в огонь, в смерть, и он же, уже Сергей Орлов, мужественно заключает стихотворение о самом себе такой потрясающей строкой:

...И я не окликнул его.

Молодость дается человеку для запаса духовной крепости и чистоты на всю жизнь. Не зря сказано: «Береги честь смолоду». Расслабленность нравственная и физическая в эти годы — кривые дороги в будущем. У Сергея

Орлова дорога жизни была прямой. И в самом начале ее — фронтовые друзья, танкисты-побратимы, сам он лейтенант, среди черных снегов, под вражеским огнем, с пистолетом в руке... Да, ему было на кого оглянуться, было по кому сверять свой житейский путь до последнего часа. И этот путь пламенем высвечен в его поэзии для нас и для потомков.

Я люблю перечитывать книги Сергея Орлова. И на примере его убеждаюсь, что сила настоящих стихов лучше всего проверяется в обстановке, контрастной с той, какая в них дышит.

Вот я дома, в своей деревеньке, зажатой со всех сторон белыми снегами и сизыми лесами. На стене фотография отца, тоже лейтенанта, тонувшего со своим взводом в волховских болотах и пробиравшегося, как Орлов, под сплошным огнем в сторону Мги, Ленинграда, Новгорода, трижды раненного и сложившего свою голову за Псковом. В доме тишина, мать, уже старая, седая, заботливо хлопочет в кухне — грустный, теплый, родной деревенский уют. А я читаю Сергея Орлова — и душа моя, отзываясь на каждую строку, горит, скорбит, омрачается, озаряется, возвышается, и нету для меня тишины, нет покоя.

Вот я в Крыму, в Коктебеле, где много раз бывал и Сергей Орлов. Слепит голубой волей Черное море. В распахнутую бухту, обрамленную причудливыми утесами Кара-Дага, бегут с белыми гребнями, торопят друг друга теплые волны. Неслышные вдали, они чем ближе, тем шумней катятся к каменистому берегу и в солнечных брызгах, в мгновенных радугах, в кружевном кипенье разлетаются по выгнутому, бронзовому от загара пляжу. Чудо лета!

Над пестрым праздничным многолюдьем набережной, над курортной раздетостью зелеными фонтанами всплескиваются в небо пирамидальные тополя, плывут купы белых акаций, свечи туи, легкая и прохладная облачность еще каких-то незнакомых мне деревьев и растений. Чудо мира!

А в книге Сергея Орлова, которую тут же, на пляже, читаю, грохочут бои, лязгают танки, горит Россия. И дымная гарь тех грозных дней горчит в горле, горчит на сердце даже в такой сказочной близости моря. Возникают из небытия живые лица людей, спасших этот мир, воочию встают дни, годы, дороги, пространства земли и неба, куда взлетала и поныне летит к грядущим дням вдохновенная мысль Сергея Орлова.

## 7. Улица

Лето 1978 года. Вологда, не успевавшая в редкие солнечные дни просыхать от дождей. На зеленых газонах, как весной, вода, с теплых крыш вьется туман, по бульварам в ослепительной капели цепенеют березы и рябины. Простор, вымытый дождями. Сергей Орлов любил такое состояние природы.

Как бы заново вглядываясь в город, мы с работником горисполкома неторопливо ездим по улицам. Ездим час, другой. Останавливаем машину, выходим, взыскательно осматриваем хорошо знакомые нам места. Мы ищем в Вологде улицу, которую можно бы достойно назвать именем Сергея Орлова. Улиц, конечно, много, но они уже названы давно, и найти, выбрать из множества одну для такого имени ответственно. Однако надо, обязательно надо, потому что поэт через всю свою жизнь и свое творчество нежно пронес сыновний поклон Вологде.

И вот, кажется, эта. Да, пожалуй, эта. Именно эта! На ней желтеет старое здание пединститута, где он выступал не раз, высится белая громада Софийского собора, которая его изумляла, и привольно плещется зеленью соборная горка, где он, обдуваемый ветром с реки, подолгу задумчиво стоял и смотрел в заречные дали... Так Вологда утвердила имя поэта в самом своем сердце.

* * *

Ушел,
          ни с нами, ни со мной,
Ни с жизнью не простясь.
Тебя зарыли в шар земной —
Осиротили нас.

Твой холм,
                    как жженая броня,—
Он музами храним.
И всплески
                    Вечного огня
Мне видятся над ним.

## *Только раз присягают солдаты...*

Говорят, что достигшие мастерства поэты иногда сжигают свои первые юношеские стихотворные опыты, чтобы не краснеть за их поэтическую незрелость.

Первую книжку стихов Сергея Орлова сожгла война. Книга сгорела в издательстве захваченного врагом Петрозаводска в 1941 году. Но среди двух-трех сохранившихся из довоенной поры стихов осталось и то, о котором Корней Иванович Чуковский писал при его появлении: «Стихи обрадовали меня своей очаровательной детскостью. Так и видишь озорную физиономию их юного автора. Придавать динамичность неподвижному образу—эта склонность детского ума нашла здесь блестящее выражение». Стихотворение, о котором шла речь, называлось «Тыква».

Автор стихотворения — школьник из Белозерска Сережа Орлов — на конкурсе, объявленном Центральным домом художественного воспитания детей, заслужил первую премию. С тех пор и начал писать стихи мальчик, сначала «про фрукты-овощи», потом про голубой Белозерский край.

Юность, с ее мечтами, стихами и акварелями (Сергей Орлов увлекался и живописью), оборвалась сразу. На второй день войны девятнадцатилетний студент-историк Петрозаводского университета в составе добровольческого истребительного батальона был заброшен в леса на борьбу с вражескими парашютистами и диверсантами. Потом он стал танкистом.

В сценарии героической кинобаллады «Жаворонок», который написал Сергей Орлов вместе с поэтом Михаилом Дудиным, есть такая сцена: горит танк, откинулся башенный люк, и из него выскочили два человека, но тут же упали, подкошенные пулеметной очередью; из переднего люка выбирается водитель — гимнастерка порвана, обгорела, висит клочьями.

На месте водителя мы легко могли бы представить себе командира экипажа танка Сергея Орлова после боя за деревушку Карбусель. Первый бой, первые потери, первые ожоги. Впереди жестокие битвы, тяжкие утраты — изнурительная повседневная «военная работа».

А как же стихи? Ведь Сергей Орлов — это знали все в 33-м гвардейском отдельном танковом полку — еще и поэт!

Военные стихи Сергея Орлова — короткие, сжатые строки, спрессованные мысли и эмоции. Часто они слагались прямо в танке, на передовой. Там не посидишь с блокнотом в руках. Тогда-то и научился он писать стихи наизусть, про себя, а потом уже, когда выпадала свободная минута, переносил их в тетрадь.

Сергей Орлов говорил мне:

— Поэтом нельзя быть, поэтом бывают. Каждый человек хоть раз в жизни бывает поэтом. Поэтичность я определил бы как особое состояние души, которое случается не так уж часто. Хотя вот с Есениным это случалось гораздо чаще, чем с нами. — И, подумав, продолжил: — Мы все, к сожалению, чаще печатаемся, чем пишем. И каждый из нас в глубине души чувствует, где у него получились стихи, а где просто рифмованная продукция. И мы никогда не обманываемся в этой оценке, потому что ведь бываем поэтами...

О себе на войне Сергей Орлов рассказывал мне скупо, почти без деталей: год, месяц, название населенного пункта, высоты, результат боя. Рассказывал не спеша и все-таки неумолимо приближался к тому последнему бою, с которым кончилась для него война и начались медсанбаты, госпитали, операции.

Из рассказов его друзей я знала, что в этом последнем бою Сергей Орлов получил тяжелейшие ожоги. Уже не гимнастерка горела на танкисте, горели его руки, лицо, волосы, веки. Когда его доставили в медсанбат, от болевого шока он потерял сознание, кожа лоскутами свисала с его лица. И вот, слушая Сергея Орлова, я понимала, что вся хронология событий и мое настойчивое внимание к рассказу о них заставят его заново пережить памятью этот последний бой, и, признаться, боялась этого.

Но вот как рассказал о нем Орлов:

— Новгород был уже освобожден. Мы вели наступательные бои. Наше танковое подразделение двинулось на железнодорожную станцию. В этом бою моя машина была повреждена противотанковой миной и замерла. И тут же почти прямой наводкой немецкая пушка ударила в борт танка. Снаряд разорвался в машине, она вспыхнула факелом. Трое моих товарищей были сразу убиты, уцелели лишь механик и я. Горящие, мы выскочили из машины прямо под пулеметный огонь фашистов. Нас тут же обоих

ранило. Обратно ползли по своей же танковой колее в снегу. Она привела нас к воронке от снаряда. Скатились в нее. Здесь-то и подобрала нас девочка-санитарка. Она вывела, вытащила нас из-под обстрела, довела до своих в деревне...

— Вы не встречали потом эту девушку-санитарку?

— Нет. В деревне Гора нас сразу же погрузили на подводу и отправили в медсанбат. Я даже не успел узнать, как звали эту девушку. Помню только, что была она очень маленькая, совсем с ноготок.

Я слушала неторопливый рассказ, и мне вспомнились вот эти стихи поэта:

Опять придвинулись
И не дают вздохнуть
Года, которые мне были как награда.
В них просто умереть,
Как в небеса взглянуть,
А жить не просто,
Если жить как надо.

И дальше:

...За пятьдесят товарищам моим.
Им некуда от времени деваться,
Лысеющим, стареющим, седым.
А мне все кажется,
Что им по двадцать.

Он читал их незадолго перед этой встречей глухим от волнения голосом, уведя меня из людной комнаты в темноватый редакционный вестибюль. Стихи о своих ровесниках, о всех тех, кто своей жизнью, верой, мужеством отстоял самое дорогое для человека — свободу Родины. Прочитав стихотворение, Сергей спросил меня, не переступил ли он меру в концовке, где о крови, пролитой за родную землю, говорит: «Она — как соль для хлеба лет и зим, что и без нас ведь будут нарождаться». А у меня не было слов, потому что как скажешь человеку в глаза о его скромности в самом заветном, глубинном! Да и может ли быть мера в определении значения подвига народного для нашего сегодняшнего дня, для будущего всего человечества?

Критики давно уже и прочно причислили Орлова к «фронтовому поколению» поэтов, хотя, как известно, эта терминология вызывает у некоторых из них недоумение. «Почему фронтовое поколение? — говорят они. — Ведь не перестали же мы вместе с войной быть поэтами!»

Да и не позволяет ли это определение стричь под одну гребенку очень разные поэтические индивидуальности? Об этом я и спросила Сергея Орлова.

— На мой взгляд, — ответил он, — эта терминология справедливая. И если отбросить субъективное отношение к ней, то она верно отражает положение дел в литературе. Ведь говорим же мы «поэты пушкинской поры», хотя вместе с Пушкиным жили и писали очень разные стихотворцы. Но я никак не могу согласиться с теми критиками, которые утверждают, что поэтов «фронтового поколения» породила война. Созидание и война — вещи несовместимые. Но во время Великой освободительной войны четко и твердо определились идейные позиции поэзии и поэтов. При всей разности поэтических индивидуальностей у них была единая концепция, единое мировоззрение. На самое главное событие в жизни народа они смотрели с одной позиции. Недогонов, Гудзенко, Кулиев, Наровчатов, Дудин, Межиров, Друнина, Тушнова (их перечислить всех невозможно) могли бы подписаться под стихами своего товарища Михаила Луконина: «В этой большой войне мы научились ломать беду, работать и жить вдвойне...» Творческое отношение к миру, открывшемуся человечеству в мае сорок пятого, высказанное в стихах того же Луконина, было предельно активным. Он писал: «Жажда трудной работы нам ладони сечет...» И тогда это испытывал каждый из нас.

Сергей Орлов задумался и потом продолжил:

— Кстати, заметили ли вы, что истинная поэзия всегда участвовала только в освободительных, справедливых войнах? Она, например, великолепно проявила себя в Отечественной войне тысяча восемьсот двенадцатого года и безмолвствовала в непопулярную первую мировую войну. Я имею в виду патриотическую поэзию. Ведь, кроме риторических казенных стихов, там ничего серьезного не было. Так что причастность поэта к судьбе народной, к героическому военному подвигу народа — великая честь.

Послевоенная лирика Сергея Орлова патриотична во всех новых темах, которые она открывает в мирной жизни. Потому что истинная гражданственность поэзии определяется отнюдь не внешними тематическими границами, а глубиной и широтой идейно-эстетической. И будь то стихи о любви или пейзажная зарисовка, величавый реквием солдату-освободителю или раздумья о судьбах людских и судьбах планеты — за всем этим вдохновенная лю-

бовь поэта к советской Родине, той необъятной стране, что «небу одному равна по шири...».

Тема войны и тема Родины были главенствующими в творчестве Сергея Орлова. С ними связаны и его главные поэтические достижения, истинные художественные открытия.

Сколько стихов посвятил поэт советскому солдату! Начиная с книги «Третья скорость» (1946) и кончая стихами посмертного сборника «Костры» (1978) солдат в поэзии Орлова продолжает свой победный путь, покоряя сердца читателей. Почему? Думается, потому, что солдат Орлова — прежде всего Гражданин, свободный и гордый сын своей Родины, наш современник.

Образ солдата в поэзии Сергея Орлова конкретен и многопланов. Романтичный и вместе с тем реальный до узнаваемости (видели, знаем таких, вот именно таких солдат), образ этот одновременно величественный, эпический, несущий в себе черты характера целого поколения. Выписанные, как на полотне художника, детали, в окружении которых живет и действует его лирический герой, придают особую достоверность всему происходящему.

Умение писать словом, как краской, поэтическая «проработка» деталей — не пришли ли они к поэту от его увлечения живописью? Ведь в юности он побеждал не только на поэтических, но и на художественных конкурсах. Любовь к живописи он пронес через всю жизнь. Будучи глубоко убежденным в том, что искусство вообще и живопись в частности должны непременно передавать национальный дух народов, ибо без этого они не смогут выйти ко всему человечеству, Сергей Орлов старался не пропускать буквально ни одной художественной выставки. И уж никогда не проходил мимо них, попадая в ту или иную национальную республику.

Однажды случилось нам вместе побывать на выставке работ художников России, посвященной 50-летию образования СССР. У многих картин останавливались мы. К иным возвращались по нескольку раз. Особо понравившиеся иногда рождали у Орлова поэтический экспромт. Но вот картина художника Е. Моисеенко «Победа». Стоим перед ней долго. Я не решаюсь прервать молчание, хотя узнать, что думает о ней поэт, очень хочется. Отошли к другим полотнам, снова вернулись к ней.

— Все правильно, — наконец тихо сказал Сергей. — Это — работа, это — Победа!

Потом мы с Сергеем Орловым стояли перед особенно нравящейся ему картиной ленинградского художника лауреата Государственной премии СССР Андрея Мыльникова «Полдень». Сергей Орлов рассказывал о дружбе, которая связывала его с художником, о том, как рождался у Мыльникова замысел, создавалась сама картина, какую идею стремился выразить он в ней. Говорил, что первоначально художник хотел назвать картину «Русь». Уловив в моем лице мелькнувшее удивление, Орлов стал пояснять:

— Видишь ли, это не просто прекрасное озеро и лежащая на его берегу обнаженная женщина... Для меня, — говорил он, — да и автор картины так это замышлял, эта женщина — кстати, посмотри, фигура ее непропорционально крупна для пейзажа с незатейливым названием «Полдень», — заметил он с лукавой усмешкой, — и весь этот такой русский пейзаж — озеро, лес на горизонте — образ России в ее первородности, изначальности, единстве, величавости и уверенного ее покоя, — буквально втолковывал мне Сергей, приводя в качестве неопровержимости своего толкования картины бессмертное блоковское: «О, Русь моя, жена моя...»

А я уже давно прониклась его настроением, его восприятием картины, только боялась своей репликой нарушить, прервать «поток его доказательств», ибо готовила очерк о нем для «Известий» и скрупулезно — не пропустить бы чего — «собирала материал» о своем герое.

Но он вдруг понял, что на картину я смотрю уже его глазами, и умолк. Мы отошли к другим полотнам, потом снова вернулись к «Полдню».

— А знаешь, — сказал Сергей, — о том, что кончилась война, я узнал вот на таком же, то есть очень похожем на это, озере, — сказал он вдруг, казалось бы, без всякой связи с предыдущим разговором. Но это мне только на миг показалось, что «вдруг» и «без всякой связи», а вообще-то мне трудно припомнить сейчас хоть одну скольнибудь обстоятельную, не на бегу, встречу с Орловым, когда так или иначе — в беседе ли, в новых ли стихах — не возникла бы тема Родины, а еще чаще — войны...

Вот и тогда он стал подробно рассказывать мне о своем 9 Мая... Но только совсем недавно я прочла в посмертном его сборнике поэтический рассказ об этом. Он во всех деталях совпадал с тем его рассказом в зале Манежа. Вот эти стихи:

Над моим родимым краем,
Посреди недвижных вод,
В небе красным караваем
Солнце медленно встает.

И как будто бы с обрыва,
Чем — не вспомнить, как волна,
С лодки крик летит счастливый:
«Люди, кончилась война!»

Подчистую комиссован,
Не убитый, молодой,
На сиреневой, лиловой
Над рассветною водой.

Я от солнца глаз не прячу,
В гимнастерочке стою,
Я стою, смеюсь и плачу,
Белый свет не узнаю.

А у нас в зеркальной шири —
Белый, розовый рассвет,
Тишина. Начало мира.
И войны на свете нет.

Под стихотворением я с удивлением увидела дату — 1945. Значит, стихи эти были написаны уже давным-давно. Возможно, в тот самый 9-й день мая!

Да, а копию «Полдня», выполненную самим Андреем Мыльниковым, я позже увидела у Орловых дома...

О военных стихах Сергея Орлова написаны десятки статей, рецензий, литературоведческих работ. Лучшие «порохом пропахнувшие строки», которые поэт-воин «из-под обстрела вынес на руках», читатели знают наизусть. Они звучат паролем верности, причастности к народному подвигу, скреплены кровью солдатского братства. Нет, не ошибался Сергей Орлов, писавший:

Когда-нибудь потомок прочитает
Корявые, но жаркие слова
И задохнется от густого дыма,
От воздуха, которым я дышал,
От ярости ветров неповторимых,
Которые сбивают наповал.

Грозное дыхание войны, ее беспощадная железная поступь ощущаются во многих его стихах.

И вдруг странное признание автора:

Что знаю я о мире и войне?
Да ничего.
Как в травах льются росы,
Как бьет свинец по танковой броне...

А что еще?..
Я знаю лишь подробности одни.
Я ими обожжен и зачарован...

Одни подробности? Не правда ли, они озадачивают, эти строки? Ведь Сергею Орлову ни в малейшей мере не было свойственно поэтическое кокетство, и «Что знаю я?..» — это вполне серьезно. Но тогда каким же образом смог поэт сделать такое глобальное, такое поэтически мощное образное обобщение, как торжественно-трагический реквием «Его зарыли в шар земной...»?

Мне представляется, что дар обжигаться подробностью, дар копить их в своем сердце и в то же время умение в нужный момент оторваться от этой сбереженной памятью детали, подняться над частным фактом и увидеть за ним явление — суть поэтического мировоззрения Сергея Орлова. Хотя предметность, точность детали письма Орлова поразительны. Поэт никогда не типизировал саму деталь, она всегда живет в своей собственной правде и ясности, в своей форме и краске. И потому он не считал деталь прозаизмом, не боялся ввести ее в поэтический ряд произведения. И когда из накопленных, трепещущих жизнью деталей в поэтическом сознании художника рождался образ глобального значения, он поистине обретал философское звучание. Это относится и к хрестоматийному «Его зарыли в шар земной...», и ко многим другим произведениям поэта.

Мне вспоминается один интересный разговор с поэтом. После какого-то совещания в Союзе писателей РСФСР Орлов попутно на машине подбрасывал меня в редакцию. Не помню уже как, но разговор зашел о предметности в поэзии.

— Помнишь у Блока это? — И он процитировал: — «Неужели и жизнь отшумела, отшумела, как платье твое?»

Я кивнула: конечно, помню.

— А тебе не показалось странным это «шумящее» платье?

— Я как-то не задумывалась над этим. Шелковое, наверное, было, шелестело, — отшутилась я.

— А вот и нет, — сказал он весело. — Я сравнительно недавно узнал, что во времена Блока шили «платья с шумом», то есть на специальной подкладке, чтобы оно шуршало. Видишь, как от шумящего платья поэт перешел к образу — к отшумевшей жизни. И какую грусть этот образ оставляет в душе... Вообще предметность, конкретность, точность обстановки, детали, преображающиеся

в поэзии в образность, меня, еще мальчишку, поразили в Михайловском, где я мгновенно не только вспомнил, но воочию увидел пушкинские строки. А вот сейчас это редко встречается в поэзии. Боимся мы, что ли, точности? И тем отраднее мне было читать у Смелякова стихотворение «Возвращение». Мы вместе со Смеляковым были в Монголии, и я видел ту самую типографию многотиражки, вся обстановка которой, с запахом типографской краски, с мокрыми гранками, с лозунгами на стенах, на миг вернула Смелякову настроение, ощущение его юности.

От детали — к образу. Этой формулой, на мой взгляд, можно было бы определить в целом поэтический почерк Сергея Орлова. И его признание «Я знаю лишь подробности одни» воспринимается как накопленные, правда в огромном количестве, крупицы жизненного опыта, как тот строительный поэтический материал, из которого он создавал свои произведения.

Главным лирическим героем Сергея Орлова был советский воин, показанный поэтом во всей простоте, тяжести и величии его повседневного ратного подвига. Таким мы видим его и в последних книгах поэта: «Мой лейтенант», в посмертном сборнике «Костры». Назвав книгу «Мой лейтенант», Орлов тем самым как бы намеренно отстранял себя — поэта — от того лейтенанта, которого так хорошо знал, судьбе, опыту, совести которого так доверял. Поэт будто пристально вглядывался в легендарные будни войны, вслушивался в такой знакомый голос лейтенанта. А тот будоражил память, воскрешал прошлое, рассказывал, как приказывал:

Люк открой и взгляни в эту башню,
Где пусто, черно...
Здесь погодки мои
За великую правду
В огне умирали!

Да, поистине, поэзия — это прежде всего биография чувств. Вот перевернула заключительную страницу последней книжки стихов Орлова «Костры», и в душе и перед глазами всплывают встречи, разговоры с поэтом, не только давние, но и те, что состоялись буквально чуть ли не накануне его смерти. Вздрагиваешь, натолкнувшись на иные строки, потому что вспоминаешь, как, при каких обстоятельствах и с какой интонацией, с каким выражением глаз рассказывал он о том, над чем думал, чем полнилась и болела его душа и что позднее отлилось вот в эти самые строки, которые теперь перед глазами.

Я помню его горестный пересказ того, что поведала ему его друг и соратница по войне и по перу Юлия Друнина. О лесном партизанском госпитале в Крыму, о том, как по доносу предателя он был обнаружен карателями и зверски вырезан гитлеровцами. Сергей рассказывал об этом так потрясенно, будто это злодейство совершилось только что и на его глазах! «Я обязательно напишу об этом, — говорил он. — Я уже попросил на это разрешение у Юли, ведь это она открыла этот факт, это ее тема!»

В книге «Костры» стихотворение об этом, с посвящением «Юлии Друниной», — одно из последних.

Тема смерти на войне — куда же от нее денешься? — проходит так или иначе через большинство стихотворений этого цикла. Но рядом с ней, господствуя над ней, светло звучит тема жизни. Уже в ранних военных стихах — как надежда, как вера в ее неистребимость, как образ будущего завоеванного мира на Земле:

Будут лить дожди косые,
Будут петь снега...

Будет жить твоя Россия
Всем назло врагам.
Вырастут на свете люди,
Что еще не родились,
Смерти никогда не будет —
Будет жизнь.

Родина и ее народ, его подвиг и бессмертие — непреходящие мотивы творчества Сергея Орлова. В этом отношении очень интересны и стихи поэта на исторические темы. Да и не только стихи, а и сам взгляд художника на нашу родную историю.

Как-то Сергей Орлов признался: «Во время войны наша история была той территорией, которую даже временно не удалось захватить врагу. И она питала нашу победу так же, как Урал или Сибирь». Сыновье, благодарное отношение к национальной истории, верное понимание хода ее развития и значения для будущего Родины стало прочным стержнем в стихах поэта на эту тему. Потому-то в них никогда ничего не было от спекуляции на вспыхнувшей было одно время «патриархальной» моде, его стихи никогда не носили товарного привкуса «на потребу дня». Вспомним хотя бы его «Монолог воина с поля Куликова»:

Их четырнадцать было, князей
белозерских,
Я — пятнадцатый с ними.

Вот стрелой пробитое сердце
И мое забытое имя.
И стою я в полку засадном,
Вольный воин, как терний, сильный.
Сотоварищи мои рядом,
Нету только еще России.
Нет России с песней державной
С моря синя до моря синя.
Ни тесовой, ни златоглавой
Нет еще на земле России.
Есть земель вековая обида,
Есть рабы, восставшие к мести:
Чем так жить — лучше быть убиту.
А для нас это дело чести...
Как орда Мамая качнется,
Как мы ляжем костьми на поле —
Так Россия с нас и начнется
И вовек не кончится боле.

Эта уверенность в бессмертности своей Родины, постижение сердцем ее истории, истоков народности ее древней культуры пронизывают многие произведения поэта.

Как-то Расул Гамзатов в одном из интервью говорил: «...я езжу за границу затем, чтобы лучше понять свою землю... Ведь увиденное дает мне повод для размышлений, сопоставлений, раздумий о судьбах моих соотечественников, нашей советской жизни». Не это ли самое случилось и с Орловым, когда в 1956 году ему довелось повидать Рим, Афины, Париж? Конечно, города эти поражали воображение, захватывали красотой своих архитектурных ансамблей, памятников. Но вот как сам поэт говорит о том, что он нашел и чего не встретил в этих удивительных краях:

И я ее искал, по свету ездил я
За тридевять земель, морей и рек.
Красоты видел, но самой поэзии
Так и не встретил, глупый человек...

И в землях тех она, видать, прописана.
Но надо с ними жить и бедовать,
Пот проливать под небом кипарисовым,
Чтоб запросто в лицо ее узнать.

Именно после этих путешествий и родились такие стихи Орлова, как «Сказы о Дионисии», «Старая фреска», «Акрополь», «Приглашение»...

Глубокой и светлой была любовь поэта к своей земле. В стихотворении «Родина» Сергей Орлов писал, что не доводилось ему объясняться в любви к ней. Но объяснение все же состоялось. Объяснение строгое и сильное не

только своей поэтической выразительностью, но и обоснованное всей жизненной биографией его автора:

Россия — Родина моя!
Есть на земле края иные,
Где шум лесов и звон ручья
Почти такие ж, как в России.

По небу одному равна
Над головой своей по шири,
Ты первой названа, страна,
Надеждой мира в целом мире.

Да и вся его поэзия — этот многотемный, многозвучный, многокрасочный мир — благодарное слово и низкий поклон сына матери-Родине.

## АНДРЕЙ МЫЛЬНИКОВ,
народный художник СССР

### *Сердце друга*

Сергей Орлов дважды горел в танке. Это знали многие, а кто не знал, мог догадаться по шрамам на его лице и руках. Но только близкие да друзья знали о постоянном внутреннем горении Орлова. Оно составляло суть его натуры.

Он смотрел на мир широко, всеохватно. В открытом, чистом взоре его были видны и почти детское удивление, и мудрость человека, знающего, почем фунт лиха, и готовность откликнуться на еще не высказанную просьбу товарища. Может быть, именно поэтому его доброе сердце было особенно ранимо и казалось беззащитным. Сам Орлов привык жить честно, не щадя себя, и каждая несправедливость, обман оставляли рубцы и шрамы. Он других хотел мерить по собственным нормам, просто не подозревал, что кто-то готов поступить иначе.

Его постоянная забота о семье — матери, жене, сыне, внуке — кому-то могла показаться выходящей из ряда, болезненной: столь остро Орлов чувствовал свою ответственность перед близкими. Он бесконечно мотался из Ленинграда в Москву, из Москвы в Ленинград, то тревожась о состоянии здоровья родных, то ища пути создания семье мало-мальски спокойной жизни. А денег ему всегда не хватало. Орлов сокрушался по этому поводу. Но не мог писать ради заработка. Вообще, как я наблюдал, он не очень охотно расставался со стихами. Напишет новое стихотворение, прочтет одному-другому, выслушает похвалу и положит в дальний ящик письменного стола: мол, пусть само время выверит истинную ценность строчек.

В моей мастерской он тоже часто читал стихи. Приходил, усаживался надолго, обстоятельно, внимательно рассматривал полотно, стоящее на подрамнике. В отличие от других, он никогда не торопился высказать свое суждение. Но и молчание его было красноречивым. Как оно, это молчание, помогало мне! Орлову важнее было не то, что уже легло мазками на холст (как известно, картина может быть много раз переписана), его больше интересовала побудительная причина, та искра, которая мелькнула в со-

знании художника, могла вызвать и огонек творчества, и отзвук в сознании зрителя.

Мало кто знает, что Орлов на заре туманной юности мечтал рисовать. Когда он учился в школе, он даже выставлял свои рисунки. После возвращения с войны покалеченные пальцы его рук плохо держали карандаш, не то чтобы кисть. Однако любовь к живописи он пронес через всю жизнь. И судил о живописи вполне профессионально.

Помню, когда я работал над картиной «Утро», Орлов особенно часто заходил в мастерскую. Молчал. Покуривал. Осторожно поглядывал на полотно. Я чувствовал, что замысел ему нравится, созвучен каким-то его мыслям о природе, о том, что и ее краса и человеческая должны быть гармонично слиты, взаимно обогащаться.

Он пришел и в день завершения моей работы. Был весел, словно ему самому удалось решить трудную задачу.

Замечу, что Орлов умел радоваться успехам товарища. В этом сказывались его доброта, отзывчивость, широта его натуры. Он открыл для меня таких писателей, как Александр Яшин, Валентин Распутин, Василий Шукшин, Василий Белов...

— Ты обязательно должен вот это прочесть. — И говорил кого, называл книгу.

Потом, часто за полночь, читая и перечитывая страницы, рекомендованные Орловым, я не мог не отметить его зоркости, уважительного отношения к людям, их заботам, радостям, печалям.

Однажды по делам Комитета по Ленинским и Государственным премиям СССР мы вместе отправились на его родину — Вологодчину. С непередаваемой трогательностью, застенчивостью и любовью он показывал нам свои родные края, старался, чтобы мы обязательно обратили внимание на какие-то дорогие ему самому приметы детства и юности. В эту поездку я будто заново перечел многие стихи Орлова. Нечасто мне приходилось встречать и такое доброе отношение сразу многих людей к одному земляку. Не только в Белозерске, но и в Вологде мне казалось, что все встречные на улице как-то по-особому привечали Сережу, говорили с ним уважительно, но без малейшей тени уничижительности. Я специально хочу подчеркнуть это, ибо, наверное, отсюда, из таких взаимоотношений поэта с читателями, в стихи привносились очень важные чувства, мысли, сама атмосфера их. Не ошибусь,

если скажу, что, работая над стихами, Орлов видел всех этих людей. Для него было очень важно не просто хорошо написать, но так, чтобы эти люди, нередко весьма далекие от поэзии, правильно поняли его, разделили вместе с ним волнение.

Добрый и восторженный, деликатный и мягкий, он вместе с тем не был ни мягкотелым, ни добреньким. Мне довелось не раз слышать его суждения о поэтах, художниках, театральных постановках. Орлов был немногословным, но каждая фраза, особенно критическая, была точна, емка, трудно оспариваема.

Таким он и останется в моей памяти — добрым и непреклонным, каким был на войне гвардии лейтенант Орлов, каким оставался до последнего удара сердца.

## *Стихи после смерти*

Наверное, воспоминания надо писать, как стихи, — вынашивать, «напевать» в душе. Придет — для меня — время и таких воспоминаний о Сергее Орлове: все больнее и больнее чувствуешь его отсутствие, его уход. Все больше и больше понимаешь, что Сергей Орлов, как всякий истинный, удивительный человек и поэт, неповторим, незаменим... Что мы, его друзья, стали беднее еще на одного чудо-человека...

Да, придет время и для воспоминаний подробных, больших, раздумчивых, глубоких. Станет легендой образ, жизнь и творчество Сергея Орлова. А пока я чувствую в себе силы только для отрывочных воспоминаний, для своеобразной «мозаики памяти», хочется методом «стенографической прозы» попытаться записать отдельные страницы памяти.

...Вот только что позвонили мне из одного центрального журнала и попросили написать статью о его книге «Костры».

Эта полновесная, прекрасная книга вышла после смерти автора. О многих стихах мы, его товарищи, при жизни поэта ничего не знали. Не знали и родные. Эти стихи жили в нем, в его душе и в его письменном столе. Их обнаружила после его смерти Виолетта, и вот они стали появляться в журналах — в «Нашем современнике» с предисловием его большого друга и земляка Сергея Викулова, в «Новом мире», в «Литературной газете», в «Литературной России» и, конечно, в родных ему ленинградских газетах и журналах. Он оставил четыреста неопубликованных стихотворений!

Его уже нет, а стихи от него еще идут и идут к нам, — невольно приходит старое сравнение, — как свет от угасшей звезды.

...Я живу после смерти —
И своей и друзей —
По завышенной смете
Дополнительных дней.

Эти строки свои я читал ему еще при его жизни, они ему пришлись по душе, и он, не склонный к высоким фразам, сказал:

— Да, скольких мы уже потеряли... Надо помнить о ребятах...

...В 1940 году в Москве в издательстве «Советский писатель» вышел второй номер альманаха молодых «Звено».

Для меня это был большой праздник, — там были опубликованы и мои стихи. До сих пор помню даже типографский запах этой книги.

Там же я прочитал стихи Сергея Орлова — и запомнил их. Запомнил наизусть и стихи Виктора Тельпугова...

Напечатавшись в одном сборнике, мы уже перед войной, как бы — заочно пока — познакомились с Сергеем Орловым.

Но я тогда еще не знал, что это будущий большой русский советский поэт, большой мой друг и товарищ по литературе и жизни... Не знал еще и о том, что это будущий великий танкист.

Все это было впереди, за неразглядимым занавесом грядущих годов. Занавес был еще не поднят.

...В первые дни войны в Челябинске, в здании Челябогиза, Л. В. Никулин, держа в руке рукописную тетрадь, ходил взад-вперед по огромной (и единственной) комнате издательства и восторженно говорил о полученных по почте стихах неизвестного танкиста Сергея Орлова. Рукопись называлась «Перед атакой».

Сергей Орлов в то время учился в Челябинске на курсах танкистов. Он рассказывал мне после войны, что слышал меня на одном из выступлений перед курсантами. Тогда наше знакомство не состоялось: училище находилось в горсаду, мы выступали под открытым небом, поздно вечером, перед нами на скамейках — несколько сот молодых ребят в танкистской форме, среди них был и Сергей Орлов. После поэтов выступали артисты, я ушел, не дождавшись конца концерта, а потом курсантов строем повели в казармы...

До сих пор жалею, что наше знакомство не состоялось тогда, там, в Челябинске, на железном Урале, в колыбели танков, тракторов, поэтов.

...По условиям тогдашнего «бумажного голода» Челябинское издательство объединило две рукописи — стихи Сергея Орлова и Сергея Телканова — и выпустило отдельной книгой.

А дальше — война, действительная атака, уже в жизни, а не только в стихах или на учебных полигонах. Фронт. Бои. Ранения. Он дважды горел в танке. Кто из поэтов — за все века — побывал в таком огне в прямом смысле этого слова?

Когда танкисты выскакивали из горящих танков и руками, когда-то обнимавшими любимых, открывали раскаленный люк, кожа оставалась на броне.

Горели руки. Горели лица, красивые, молодые лица. Сергей Орлов был одним из таких.

Как трагичны и глубоки его стихи: «Вот человек, он искалечен...»!

Он рассказывал мне, что, когда он однажды полз от горящего танка, пока тот не взорвался, он подумал: «Ведь у меня еще ни одной женщины не было...»

А какие стихи он привез с фронта! Их писала сама Великая Отечественная. Он нашел грандиозные образы в стихах о простом, рядовом солдате: «Его зарыли в шар земной», «Ему как мавзолей земля».

Этими масштабными, зримыми образами он убедительно поставил солдата в ряд с великими людьми (как и должно быть).

В марте 1947 года на 1-м Всесоюзном совещании молодых писателей мы наконец познакомились с Сергеем Орловым — очно!

Тогда же он предстал перед всеми нами крупным планом — и как Поэт, и как Человек.

Помню, как его полюбили тогда все мы, уже «москвичи» и «хозяева» молодой поэзии в Москве,— Михаил Луконин, Сергей Наровчатов, Алексей Недогонов, Марк Соболь, Марк Максимов, Семен Гудзенко, Александр Межиров...

Полюбили его и классики — Тихонов, Луговской, Асеев...

Маршак — в дни совещания молодых — всех, кто заинтересовал его, приглашал к себе домой, беседовал, приглядывался — кто они, эти новые молодые, что́ принесли, с чем пришли в литературу. Пригласил он и меня. Беседа была долгая. Он говорил много и удивительно интересно. Советовал вести «многопольное хозяйство» — то есть писать и стихи, и прозу, и статьи; сказал: «Вы будете писать от радости жизни»; рассказывал, как он одним из первых

в Москве открыл Твардовского и сказал ему: «Через десять лет вы приучите читателя к себе...»

Так оно и случилось. Твардовский очень любил и ценил Маршака, чувствовал к нему огромную благодарность и уважение. Об этом мы все хорошо знаем по литературе. Я вспомнил об этом для того, чтобы сказать, насколько был точен в своих диагнозах Маршак. Тогда же он сказал мне:

— Какие молодые поэты пришли! Например, Сережа Орлов!

И он, одним из первых среди увенчанных славой мастеров, предсказал большое литературное будущее Сергея Орлова.

...В 1948 году я впервые приехал в Ленинград — с моим другом Никитой Ивановым, тогда работавшим в ЦК ВЛКСМ. Сережа Орлов нас познакомил с Анатолием Чепуровым. Этот худенький мальчик-солдат блокады отнесся ко мне очень нежно, по-братски. Пригласил нас с Никитой жить у них — в большой комнате, где проживал он с отцом и братом. Все они — в полувоенной одежде. Послевоенный скудный быт. На завтрак мы ели сардельки с картошкой, пили полусладкий чай — и отправлялись в великие музеи Ленинграда. Гидами нашими были Сергей Орлов и Анатолий Чепуров.

Все это запомнилось, как сказка и как школа, учеба, мы учились думать, постигать, прикасались к вершинам человеческого духа, гения...

...Сергей часто приезжал в Москву. Место в гостинице всегда было проблемой. Так, однажды встретились в «Знамени» — он только что приехал из Ленинграда, еще не знал, где будет ночевать. Я пригласил его к «себе»: я снимал угол у двух старушек-сестер. Там — за шкафом — из чемоданов я соорудил себе письменный стол и пытался за этим столом что-то писать. Правда, такая житейская неустроенность нас мало трогала тогда — мы «парили» над бытом.

Идем по городу, и я говорю Сереже:

— Мы вроде жулья: оба нынче без жилья...

Другой раз мы пошли к Арону Яковлевичу Лихтентулу (он в СП СССР ведал всеми «жилвопросами», в том числе гостиничными). Он позвонил в «Гранд-отель» и достал для нас двухместный люкс. Номер мы оформили на Орлова... Сергей жил в Москве три дня и уехал в Ленинград на

Новый год. Я остался в «Гранд-отеле», и порой звонила мне администраторша гостиницы:

— Товарищ Орлов! У вас задолженность... Погасите, пожалуйста...

И я спускался вниз, на первый этаж, к окошку администратора и бодро говорил:

— Сорок второй номер... Орлов. Примите, пожалуйста, за пять суток...

Все дело в том, что у меня не было денег сразу уплатить за месяц...

В те времена — 1951 год — в учреждениях работа была «безрежимная» — с утра до ночи. В три часа ночи мне позвонил в номер Симонов (тогда главный редактор «Литературной газеты») и сказал, что стихотворение мое принято и будет опубликовано в следующем номере... И вот, получив гонорар, я погасил «задолженность Орлова» и жил дальше в этом же номере...

Так я больше месяца был «Орловым». Мы с Сергеем не раз вспоминали эту «жилищную ситуацию».

— Хоть так я тебе помог, — сказал он мне.

...В шестидесятых годах мне позвонили из «Литературной газеты» и попросили написать статью о лирике Сергея Орлова. Я с радостью написал ее. Опубликовали. Сергей тогда еще жил в Ленинграде.

Встретились мы в Москве, в ЦДЛ. Расцеловались. Он поблагодарил за статью и сказал:

— Как хорошо, что мы друг у друга есть!

Это он говорил о поколении, обо всех нас. Мы успели сказать друг другу — при жизни — слова любви и благодарности.

Да, мы есть друг у друга. Нас не разъять, не разъять наше поколение ни смерти, ни чему другому.

Мы дружили жизнями, биографиями, взглядами, пристрастиями, идеалами.

Встречи и работа — вместе, рядом — на совещаниях в Туле, в Ульяновске, в Волгограде, в Ташкенте, в Ленинграде, в Грузии, в Чехословакии, в Польше, — все это страницы нашей дружбы и страницы будущих воспоминаний.

...7 октября 1977 года. Только что, в 2 часа дня, мы с ним встретились после летнего перерыва в дверях ЦДЛ: я с обеда, он — на обед. Я был несказанно рад ему, сказал, что он хорошо выглядит и что накануне мы с Сергеем Наровчатовым нежно вспоминали его, оглядывая

поредевшее наше поколение, особенно после смерти Миши Луконина.

Договорились вечером созвониться. И оба не знали, что ему оставалось всего часа три жизни.

Смерть Сергея Орлова не укладывается в моем сознании.

В памяти — как обрывки документальной ленты — его биография.

Послевоенная жизнь, учеба, любовь, семья, друзья, выступления, издания, поездки, известность, общественная деятельность, Государственная премия, высокие посты, собрание сочинений... Все это пришло ему по заслугам. Все было заработано боем и трудом, кровью и потом, вдохновением и упорством, любовью и верностью.

Большой, истинный, неподдельный русский талант в органичном сплаве с неповторимой, редчайшей огненной биографией дали нам Сергея Орлова — прекраснейшего поэта, солдата, борца.

...И все же, все же — мы друг у друга есть. Его имя никогда не уйдет из нашей жизни и из нашей поэзии.

Бессонницей трагических ночей, клятвой в верности и в любви мы проводили в последний путь нашего золотого Сергея Орлова.

Похороны были фронтовыми: дождь, холодный, пронизывающий ветер, свежая раскопанная земля — сырая, липкая, скользкая. Салюты из автоматов. Слезы...

Хоть эта боль не отболела, но он — снова как бы живой — возвращается к нам, все шлет и шлет нам свои новые стихи, как бы оттуда, как бы написанные после смерти, шлет, продолжая быть живым поэтом — пишущим, действующим, неугасшим.

И — пронзительно жалко его. По-человечески.

И — гордо, что он был. Есть!

ТИМУР
ГАЙДАР

## *„Через заставы лет...“*

Под вечер осенью в Москве шли мы с Сергеем Орловым по набережной. Река была неприветливая, холодная, и разговор завязался тоже какой-то невеселый. Сергей хмурился. Но вдруг он остановился, положил руки на гранит парапета и без всякой связи с предыдущим произнес что-то совершенно для меня неожиданное.

— Йоки — оки,— сказал он. — Оки — Ока!

— Какие «йоки»? — изумился я.

— Финские. «Йоки» — это «река» по-фински. А «вода» по-фински — «ва». Вслушайся: Прот-ва... Сыл-ва... Моск-ва...

Так же холодно блестел мокрый асфальт, мчались машины, но шли мы теперь уже не по городу. Бор зашумел. На реке показались ладьи... Может, это Ян Выштатич направлялся с дружиной на Белозеро собирать для князя Святослава дань, как рассказано в «Повести временных лет»?

Перенесенные силой Сережиного воображения, мы были с ним в тех далеких веках, когда Русь, теснимая кочевниками, перебиралась в северные края, неся туда хлебопашество, налаживая соседство с чудью, мерей, весью, перенимая у этих племен названия рек.

Друзья знают, как у Сергея случалось: хмур, устал, неважно себя чувствует, но лишь пробьется наружу та внутренняя работа, которая, видимо, шла в нем постоянно, как засветятся серые его глаза, родится улыбка, потеплеет голос.

И снова — в который раз! — с восторгом, гордостью заговорил Сергей о фресках Дионисия в монастыре на родном своем Белозерье.

Шеренги праведников рослых
Стремятся в рай, а там встают,
Толпятся мачтовые сосны
У Дионисия в раю.
Рай на горах, в бору с брусникой...
А может, правда, рай — в лесу?
Мой край родной, мой друг великий,
Как опишу твою красу?..

Почему из множества наших встреч, разговоров, дневных и ночных, в молодые годы и в недавние еще времена так ясно помнится именно эта? Помнится до капель дождя на его бороде, до нотки в голосе, когда читал он стихи, до тепла его обожженной руки, когда, прощаясь, сказал:

— Тянет, тянет на Белозеро, а все не вырвусь. Давай вместе...

Родные места Сергея мне довелось увидеть лишь на Орловских литературных чтениях в первую годовщину его смерти. Но, странное дело, плавные холмы, лен на склонах, переправа через Шексну, крепостной ров в городке — все казалось знакомым, узнавалось. Из неба, леса, воды — отовсюду, обнимая Белозерск, весь этот край, проступали стихи Сергея Орлова.

Букеты синих васильков
Цветут на площади, как в поле.
Глядят одиннадцать веков
Вниз с уцелевших колоколен.
На огородов сизый дым,
На город в крапинках ремонта
И щит серебряный над ним —
На озеро до горизонта.

Думается, что и в танке подо Мгой, и в ленинградской, а затем в нехитрой московской своей квартире, и в далеких зарубежных поездках Сергей Орлов никогда не переставал ощущать на себе этот взгляд одиннадцати веков, которые смотрели на него с уцелевших колоколен родного Белозерска.

У Сергея Орлова с историей были отношения особые. Дело не только в том, что он ее знал, свободно перемещаясь в веках и датах. Особым было другое: он воспринимал историю нашей страны не эпизодами, не именами, даже не эпохами — цельным, сплошным потоком пронизывала она его существо. Для него все было связано, все имело истоки. Казалось, он видел, как к сегодняшнему дню, тончая, но не обрываясь, тянутся из глубины времен незримые нити. Он мог прикоснуться к ним. И из них, как из струн, исторгал строки:

Их четырнадцать было, князей белозерских,
Я — пятнадцатый с ними.
Вот стрелой пробитое сердце
И мое забытое имя...

Это о поле Куликовом.

История тоже была полем Сергея Орлова. И он не прогуливался по этому полю, он работал, переворачивал пласты, добывая для себя, а значит, для всех нас то силу, то мудрость, то надежду.

Хотел бы я волшебным даром
Пройти через заставы лет
В Совет Народных Комиссаров —
Державы первый кабинет...
Из исторических просторов
Вошел бы я незрим для глаз,
Как та уверенность, с которой
Там думают они о нас...
Я старше сам из них любого,
Я знаю, как пройдет их жизнь...
Но я хотел бы там любовью,
Теплом и верой запастись.

Если кто-то из будущих исследователей специально займется темой историзма в творчестве Сергея Орлова, у него будет много материала.

Но когда этот будущий исследователь сядет за свой труд, мне хотелось бы, чтоб он смог, так же как я сейчас, прикоснуться рукой к старенькому, порыжевшему блокноту довоенной фабрики «Светоч».

Жил на свете, воевал
В офицерском звании...
Пулю-дуру повстречал
Родом из Германии...

Грустные, озорные, задумчивые строки. Стихи, которые все мы знали давно, и стихи, которые Сергей Орлов никому из нас при жизни так и не прочитал.

Монтажная схема танковой рации.

Адрес матери.

Схема прицела.

Снова стихи...

Фронтовой блокнот лейтенанта Сергея Орлова. Записи он вел в 1942—1944 годах, когда, глядя на мир через смотровую щель танка, вершил историю страны и народа.

* * *

«Привет! Серега говорит...»
Я больше не услышу это.
...Его подбитый танк горит.
Огонь и дым.
И бабье лето.
И не видать кругом ни зги,
И никакого в мире звука...
Но он идет из-подо Мги,
Но он стихи читает глухо,
И время сквозь него течет
Ночным сияньем космодрома...
Подставить вечности плечо —
Ему привычно и знакомо,
Живые радовать сердца,
Хранить их свет благословенно,
И эту службу
до конца
Нести.
И не просить подмены.

## ЕВГЕНИЙ ПЕРМЯК

### *Золотой человек*

Может быть, для широкого читателя и не звучит слово КОКТЕБЕЛЬ столь многообъемлюще, как воспринимают его литераторы, проводившие и проводящие там летний отдых. Отдых относительный, потому что в Коктебеле большинство и отдыхает и работает. Следовательно, Литературный фонд справедливо называет Коктебель «домом творчества».

Не десятками, а сотнями насчитываются произведения, созданные в Коктебеле. Особенно пригож он был как летняя творческая база до войны и в первые послевоенные годы. Малочислен по строениям и населению, Коктебель был как бы коллективной дачей на восточном берегу Крыма, под Феодосией. Свежий, неостановимо дышащий ветерок значительно отличает Коктебель от всего остального побережья Крыма. Здесь пустынно-степная местность сочетается с причудливым горно-скальным образованием — Карадагом.

Коктебель — своеобразное место встреч писателей, живущих зимой порознь, а летом — вместе.

Среди приехавших в то послевоенное лето оказался незнакомый молодой человек. Выше среднего роста. Подвижной. Предупредительный, что мною было замечено при выходе из автобуса. Он пропустил прежде женщин с детьми, потом сошел сам с женой и прелестным мальчиком лет пяти. Я почему-то подумал: «Не ленинградец ли?» Ленинградцы, как известно, а может быть и неизвестно, на мой взгляд, отличаются повышенной деликатностью и такой же вежливостью.

Самое большое впечатление произвел на меня мальчик Вова. Так окликнула его мать. Молодой же отец оставил двойственное впечатление: «Любезен-то он любезен, а зачем ему понадобилась в эти годы борода?»

Тут надо сказать, что тогда бороды еще не стали инфекционным заболеванием, как теперь, когда школьники страдают от того, что у них на подбородке всего лишь пух.

Начал я узнавать, кто этот новичок. Фамилия оказалась знакомой и стихи читанными. Орлов. А чуть позднее он представился:

— Сергей Орлов.

Этого, как я предполагаю, потребовал сын Вова. Дети, они наиболее чутки к тем, с кем они могут поозорничать. И это, как я полагаю, было написано не только на моем лице, но и на всем том, что составляет мою личность.

С Вовой мы подружились с первого часа. Он доверчиво дал руку, и мы отправились для чернового обзора достопримечательностей драгоценнейшей для меня из всех географических точек земного шара, с непонятным на русское ухо названием — Коктебель.

За Вовой явились родители. Мы в ту пору жили в «фонаре» — так называлась комната с окном на море. Вообще в старом, первом коктебельском доме все комнаты имели свои имена собственные: Щель, Палуба Голубок и так далее...

Познакомились мы и с матерью. По паспорту она — Виолетта Степановна, по-коктебельски — Велочка. Жизнерадостна, неумолчна, удивительно открытая молодая женщина произвела самое разотличное впечатление, и, что называется, любовь двух семей — нашей и орловской — завязалась в этот же вечер двухсемейным купанием на «диком» пляже.

Сергея Орлова я рассмотрел ближе и тщательнее. У меня уже не возникал вопрос: «Зачем вам понадобилась борода?» Следы ожогов на его лице были так очевидны, что мне было ясно боевое прошлое этого тихого и как-то изнутри скромного человека, опаленного войной в прямом и переносном смысле. Без бороды ему бы не прикрыть изувеченные черты его лица.

Скажите, кто не преклоняется перед воином-фронтовиком, кто не отдает защитнику нашей Отчизны свои первые симпатии до знакомства с ним?!

Мы познакомились с Орловым короче и ближе и, можно сказать, на всю жизнь в первые же дни.

Ушедшим из жизни принято воскурять фимиам. Это в какой-то мере правильно. Только Сергей Орлов был не из тех, кого восхваляют за привходящее. После Павла Петровича Бажова я не дружил с таким же добрым, доброжелательным, заботливым человеком, каким оказался Сережа. Так мы все называли его.

Он внимателен, но не услужлив. Он влюбчив в людей, но не очертя голову. Он откровенен, но знает «застежку» своей «душе нараспашку». Он добр, но не добрячок. Он покладист, но не уступчив. Любезен, но не угодлив. Разговорчив, но не болтлив. Злоупотребляя этим «но», я как

бы беру этот фразеологический союз подобием стрелки весов, гармонично уравновешивающей внутренний мир Сергея Орлова.

У него, как выяснилось потом, не было заядлых врагов (не за что было ненавидеть его), но и не поголовно всех своих добрых знакомых он считал друзьями.

Внутренний мир Сергея Орлова был розов, но не эфемерен. Видимо, война научила его верить людям и, веря им, проверять их делами. Сережа был очень требователен и очень чуток на людей. Ровен со всеми, но неодинаков в симпатиях. Это качество еще больше располагало нашу семью к Сереже, и он как бы оказывал нам честь своим вниманием к нам.

Нет, не простой был «орешек» Сережа. Казавшийся легким на «раскус», он не для всех оказывался по зубам. С каждым днем, месяцем, годом узнавая Сергея ближе и глубже, я не поручусь, что дошел и до половины глубины его души.

Время идет, и человек растет, обогащается, усложняется его внутренний мир, духовная осанка, жизненный опыт. Они мужают и самого человека. Это происходит особенно быстро в литературном окружении, где каждый человек сам по себе «завод», пусть — мастерская, но во всех случаях — сложная личность.

В эту и последующие коктебельские, ленинградские встречи я понял, что жизнь Сережи не стлала мягкой ковровой дорожки на плацдарме поэтического творчества, где пишущие и успешно печатающие стихи не всегда были поэтами, а иногда очень правдоподобно имитирующими их.

Сергей Орлов, сдается, не обладал громким голосом. Его голос, как я думаю, подобно свету дальних звезд, еще не дошел до широкого читателя. Но дойдет, и тогда всем станет ясно, какой это большой поэт. Таких литераторов у нас не один Сергей Орлов.

На память приходит Шукшин. Он иного жанра и покроя человек, но суть та же: чем дальше уходит от нас во времени, тем больше становится он и выразительнее звучит.

Давно живя на земле, я видел в РАППовские времена провозглашаемых корифеями чуть ли не в ряду Гомера, созданная слава которых увядала вместе с цветами на их венках.

Мне довелось знать и тех, что жили тихо, как Исаковский или как Василий Лебедев-Кумач, которого не без

труда приняли в Союз писателей. Они остались на долгие времена прописанными в душе народа своими песнями.

В то первое коктебельское лето, проведенное в обществе Орловых, слушая тихий, монотонный, чуть окающий голос Сережи, я, может быть, влюбившись в него, уже тогда почувствовал, что он из Кумачей, Исаковских, Светловых и всех «тихоголосых» мастеров лирико-гражданской поэзии длительного цветения.

Долгую дружбу скрепляли не только стихи и литературные общения, но и быт, и счастливые гостевания, и сладкие надежды на новые издания книг, и горькие разочарования, когда намеченная к выходу книга не очень мотивированно вытеснялась другой.

Я не раз приводил Сереже малоутешительные импортные речения: «Перед тем как приходить в литературу, научись глотать жаб». Или: «Коли пришел на ярмарку славы, не обижайся, что тебе наступают на ногу».

— Это верно, — полемизировал со мной Сережа, — но ведь так можно доглотаться до заворота кишок или до потери пальцев на ногах, а они тоже нужны для нормального продвижения вперед.

Сережу продвинула сама жизнь, и снизу и сверху. Орлова избрали на почетную и трудную должность секретаря правления Союза писателей Российской Федерации. Мне довелось набюдать Сергея на этом вулканоподобном посту.

Как много приходило к нему «обиженных», даже тех, кто завышенно превознесен. Иная слава, как щука, не знает сытости. А как скажешь человеку об этом в глаза, коли он мнит себя счастливым соединением Маяковского и Есенина, вместе взятых, только передовее и талантливее? Надо же «по-ленинградски» учтиво и деликатно разъяснить такому якалу: «Что позволено Юпитеру, не позволено быку...» Да доказательно, терпеливо, иногда наизусть цитируя просчеты в его произведениях. В этом отношении мягкий Сергей Орлов был терпелив и несгибаем. Да и можно ли уступить хотя бы пядь, когда речь идет о самом сокровенном, чему подчинена вся его жизнь, все думы и сны?

Чего греха таить, многим читающим, да и пишущим, кажется: сел за стол и написал. Только подлинные литераторы знают, что они «пишут» и в вагоне поезда, и за обеденным столом, и всегда и везде.

Таким профессиональным писателем был Орлов. Писателем русским, наследственно впитавшим красоту

родной вологодской природы и очарование глубинного народного языка.

По моему мнению, язык, его строй, нельзя приобрести ни в одном наивысшем учебном заведении, где только шлифуется и ограняется то, что дала мать и бабушка, что сформировал в тебе народ начиная с добукварного возраста.

Много было досужей болтовни о так называемом «вологодском направлении». В этой «демагогике» есть, конечно, доля святой «логики». Без направления нет и не может быть ни у кого из пиитов своего подлинного пути. Без своей Вологды, без своего Ростова или еще локальнее — своей Вешенской, своих «красноярсков», «иркутсков», «магниток» нет ни одного настоящего родинолюбца-писателя. Пример тому тот же Валентин Распутин. Он писал о малом, казалось, для небольшого круга читателей, а зазвучал — от Курил до западных границ, а теперь и за ними. Мыслима ли широкая слава Расула Гамзатова без Дагестана, без сакли, с которой началась его всесоюзная, многонациональная Родина, воспетая им?

Побольше бы было таких направлений, поменьше бы было произведений без направлений, — ни о чем и ни о ком в космическом масштабе...

Сережа жаловался мне:

— У меня только две темы — война и село.

— Мне бы, Сережа, такие две твои темы, — оппонировал ему я.

Село? Шутка ли в деле — село? А не «живинка ли в деле» оно? — скаламбурю я. Особенно в наше время, когда так стремительно и капитально возводится на кручи большой индустрии наше сельское хозяйство.

Распроклятая старая карга с косой в руках оборвала восхождение Сережи на новые высоты вместе с его второй темой о величии преображения пахаря. Пособником раннего ухода из жизни Сережи был горящий танк «КВ», в котором чудом уцелел отважный офицер армии-спасительницы товарищ Орлов. Теперь бы он, в лучах нарастающей славы его родного Нечерноземья, вторым приливом его недюжинного таланта воспевал красоту и динамику второго, после тридцатого года, стократного ренессанса социалистического, колхозно-совхозного, целинно-волшебного торжества матери-кормилицы Земли.

Я не мог пойти на Сережино погребение. Не был я и у его могильного холма. Это постыдно и единственно правильно для меня. Я гнал и прогнал мысль о том, что и

«ЕГО ЗАРЫЛИ В ШАР ЗЕМНОЙ». Я все еще верю в телефонный звонок и его голос:

— Вы дома? Я сейчас заскочу перемолвиться...

И он заскакивает к нам на Мерзляковский. Повышенное ли это воображение или настойчивое противостояние случившемуся и неизбежному, только Сережа приходит к нам и теперь, тотчас как я этого захочу. И он сидит в моей рабочей комнате, и я вижу его, не закрывая глаз, сидящим на стуле против меня. И мы спрашиваем друг друга, делимся, критикуем, радуемся или печалимся. Пусть я немножечко преувеличиваю, говоря так, все же непреувеличенным остается то, что при уходе из жизни одного из двух друзей оставшийся в живых не прекращает дружеских отношений с ушедшим. Теперь эти отношения не к тому, что он напишет, а к написанному им. Оно, это написанное им, как бы и мое, о котором я обязан заботиться, как и о своем.

У Сережи не было предпочтительно свое перед написанным другим. Поэтому, надо полагать, Сергей Орлов и был почтён высоким доверием назначения его одним из арбитров в числе других составивших Комитет по присуждению Ленинских и Государственных премий в области искусства и литературы.

Живо помню я его и на этом демонически-щепетильном посту. В Сереже всегда брало верх то единственно справедливое, которое складывается вне личных приязней или неприязней, помимо свойственной для каждого из нас оценки с моим «како веруеши». От этого трудно уйти, а Орлов уходил.

Он, бывая у меня, очень часто называл фамилии тех, кто по большому, нелицеприятному счету должен получить высокую литературную премию. Я не помню случая, когда в этом назывании имен будущих лауреатов он ошибался.

Это также одно из проверочных мерил, которое позволяло таким же, как Орлов, называть его несколько устаревшим эпитетом — «золотой человек». Этими двумя словами я озаглавил мой мемуарный отрывок потому, что, при всей тривиальности такого определения, оно, как никакое другое, подходило к личности Сережи. Личности, не ржавеющей, не темнеющей, не девальвирующей ни при какой перемене литературных веяний, деградаций, или, напротив, новаторских дерзаний.

Золотым Сережа был и в личных, сугубо бытовых отношениях. Откуда-то узнает о моей болезни и появляется

не с словесным сочувствием, которое тоже много значит, а с единственно, так сказать, с реально-материальными средствами целительной помощи.

Сережа остался во мне и со мной его друзьями того же регистра добра и внимания. Я некоторых из них назову теми же ласкательными именами, какими называл их Сережа и какими заглазно про себя называю и я. Это Митя Хренков, Валера Дементьев, Миша Дудин и другие, чье отраженное тепло Сережи я чувствую на себе, и так же отраженно через Орлова люблю их и верю им.

Дружба, мне думается, сильнейшее из чувств, оно тоньше и всемогущее любви, сильнее смерти и ее непримиримого антипода — жизни. Сережа пронес благородство дружбы через всю свою короткую, насыщенную подвигами дружелюбия жизнь.

Найдите более точный синоним для Сережи, нежели ЗОЛОТОЙ ЧЕЛОВЕК.

Слава Сережи тоже золотая, она не ослепляет подобно хорошо отполированной известности. Она рассыпана золотыми крупицами, иногда маленькими самородками в толще родной земли. Рассыпана, чтобы, не исчезнув, найтись и украсить грядущее.

Драгоценности никогда не теряются и всегда находятся рано или позднее. Разве не в этом суть бытия поэзии?

Если бы поэт Сергей Орлов написал только одно стихотворение о героической гибели солдата... Если бы он начертал всего лишь одну строку из него: «ЕГО ЗАРЫЛИ В ШАР ЗЕМНОЙ», то и в этом случае — пусть малое, но гениальное — строка осталась бы в веках, как остался, скажем, на веки вечные неумолкаемым звучанием «Соловей» композитора Алябьева.

Все знает свою меру, свои сроки. Для меня был и остался Сергей Орлов большим народным поэтом, и ничего не изменится ни во мне, ни в посмертной судьбе Сергея Орлова, живущего своими творениями, если кто-то не согласится с моим утверждением или хотя бы назовет его завышением оценки поэзии Сергея Орлова.

Время и поколения не всегда соглашаются с оценками современников. Мои они или ваши. И все же...

И все же хочется верить своей интуиции, которая столько раз за эти долгие годы не обманывала меня...

Одуванчик цветом жизнь красит, а женьшень — корнем...

НИКОЛАЙ
ТИХОНОВ

## *Его песня будет жить в мире*

Сергей Орлов принадлежит к тому героическому племени поэтов, которому выпала судьба принять самое активное участие в Великой Отечественной войне, быть свидетелем всенародного подвига, пройти через огонь жесточайших битв, гореть и не сгореть в этом огне, стать победителем, сказать о себе:

Кто говорит о песнях недопетых?
Мы жизнь свою, как песню, пронесли...,
Пусть нам теперь завидуют поэты:
Мы всё сложили в жизни, что могли.

Эти молодые поэты начали познание окружающего мира, дружбу и любовь, чувство родной земли, передовые идеи века не в комнатной, мирной обстановке, а в условиях, наполненных смертельной опасностью и постоянной тревогой.

Зато их творчество закалилось в испытаниях, они испытали такое, что Сергей Орлов мог сказать с чистой душой:

Мы знаем хлеба с солью цену
И сладость из ручья воды.
Что перед ними всей Вселенной
И яства и садов плоды!

Это героическое племя поэтов скреплялось боевой дружбой.

Ее начало — в танке тесном,
Где все делилось пополам,
Как черный хлеб, вино и песни,
Необходимые бойцам.

В истории русской поэзии у этих поэтов был замечательный предшественник — чудесный поэт, один из тех, у кого учился сам Александр Сергеевич Пушкин. Этого поэта звали Константин Батюшков. Он тоже в юные годы принимал участие в трех войнах, в том числе в войне двенадцатого года. Он оставил нам такие стихи о сражении за Москву, переходе через Рейн, памяти боевого своего погибшего в бою товарища «Тень друга», которые стали классическими.

Стихи Сергея Орлова, человека совсем другой эпохи, в своей искренности перекликаются со стихами поэта, жившего в давние времена. Сергей Орлов писал стихи памяти товарищей, погибших под Карбуселью:

Мы ребят хоронили в вечерний час,
В небе мартовском звезды зажглись...
Мы подняли лопатами белый наст,
Вскрыли черную грудь земли.

И, кончая стихотворение, поэт был уверен в будущем:

Прогремели орудия слово свое,
Иней белый на башне сел.
Триста метров они не дошли до нее...
Завтра мы возьмем Карбусель!

Чувство России, жившее в стихах Батюшкова, по-новому звучит в стихах нашего современника: воин-поэт, воин-танкист в жестокой правде войны славит мужество, непобедимую силу воли, великую душу нового человека, рожденного Октябрем.

Поэт Орлов бесстрашен. Он пишет:

Вот человек — он искалечен,
В рубцах лицо. Но ты гляди
И взгляд испуганно при встрече
С его лица не отводи.

Он шел к победе, задыхаясь,
Не думал о себе в пути,
Чтобы она была такая:
Взглянуть — и глаз не отвести!

Да, Сергею Орлову в походах и боях пришлось

Руками, огрубевшими от стали,
Писать стихи, сжимая карандаш...

И он писал про жестокие будни войны, которые кончаются апофеозом великого простого воина, погибшего за освобождение человечества. Это всемирно известное стихотворение «Его зарыли в шар земной...».

И вот воин-победитель возвращается домой после тяжелых лет боевого служения Родине. Он полон поэтических сил, но все напоминает ему о вчерашнем, о пережитом. Он новым взглядом окидывает родные просторы:

Широкое, спокойное раздолье,
Колхозным полем вновь тебя зовут,
Здесь было поле боя, смерти поле —
Отныне поле жизни будет тут!

Огромный запас жизненных впечатлений, врожденное чувство больших пространств, большая работа над собой сделали его всесоюзно известным, а общественная его деятельность, связанная с частыми поездками по союзным республикам и за рубеж, подняла его на новую высоту. Он рос и в творчестве, и в общественной своей деятельности.

Человек чистой души, окруженный друзьями, боевыми товарищами военного поколения, он стремился осознать раскинувшиеся перед ним просторы нового послевоенного мира, который ошеломлял своим многообразием. Он писал:

О, беспокойство вечное умов!
Закваска века.
Молодость Вселенной...
...Идет умов гигантская работа,
Великое сражение идей...

В лице Сергея Орлова рос большой, свободный, лирический талант. Он успел сделать много, но от него можно было ждать еще большего. Он был человеком творческого размаха, большим мастером лирического стиха. Он шел с молодой душой и поэтической энергией, увлекая за собой молодых.

Сергей Орлов в послевоенные годы избрал для своего вдохновения безграничную в своих пейзажах Россию, людей, которые постоянным мирным трудом преображают родную землю. И тут для лирических стихов открываются новые тайны, незаметные для невнимательного взгляда, но полные жизни и чувства для такого тонкого мастера, каким стал Сергей Орлов.

Творческая фантазия подсказала ему и такое, что сегодня прочитывается как поэтическое проникновение, без всякого налета мистики, но с полной силой внутреннего чувства. Это — взлет поэта за земные пределы.

И я когда-нибудь однажды
Вдруг уподоблюсь кораблю,
Земли космическую жажду,
Как из стакана, утолю.

И далее он описывает свой воображаемый одинокий космический полет:

Как на стекле морозном росчерк,
Мой след истает без следа.

Открыта сторона любая
Сиянью жесткому огней,
Земля печально-голубая,
И небо черное над ней.
Края безмолвия и мрака,
И только слышно в вышине,
Как лает на земле собака
Далеко где-то при луне.
И дождь стучит по ржавым листьям
Цветов железных, словно гвоздь,
Там, где солдатским обелиском
Белеет в мгле земная ось.

Это стихотворение сохраняет голос живого Сергея Орлова, который всегда с нами.

Его жизнь — светлая, окрыленная, вдохновенная — навсегда вошла в историю нашей советской поэзии, как и стихи его, ничего не утратившие из того природного жара, который был им свойствен.

Сергей Орлов написал:

Как лесам шуметь, рождаться людям,
Ливням плакать, зорям полыхать —
Так и песня вечно в мире будет...

Песня, спетая Сергеем Орловым, вечно будет жить в мире как память о замечательном человеке планеты, о прекрасном певце любви и света!

# *Неопубликованное*



*Проза*

★

*Стихи*

## Третья скорость

Третья скорость — боевая скорость. На третьей скорости водили в атаку танки «КВ» мои друзья-однополчане, добывая трудную победу пехоте в лесах и болотах Волховского и Ленинградского фронтов.

О суровой танкистской жизни, о друзьях-погодках писал я стихи во время войны на досуге в перерывах между боями. Немало их накопилось в блокноте к тому дню, когда на землю пришел мир и прозвучало великое светлое слово «Победа».

И когда я собрал стихи, получилась книга о танкистах, о нашей боевой жизни, под названием «Третья скорость»...

*1946*

## На отдыхе

Сосновый бор мне напоминает мою молодость, лето сорок третьего года. Волховский фронт. В марте и апреле шли бои, после которых у нас не осталось ни одной машины, а из экипажей — человек пятнадцать или и того меньше. (Штаб, рота технического обеспечения и все подсобные обеспечения полка уцелели, наверное, полностью, и поэтому полк оставался полком, хотя не имел ни матчасти, ни танкистов.)

Жилось нам привольно: мы выкопали для себя две землянки в сосновом бору, рядом с тылами дальнобойного артиллерийского полка РГК, и в них на нарах уместились запросто все танкисты гвардейского тяжелого танкового полка, молодые ребята, впервые побрившиеся на войне.

Из строевого расписания строго соблюдались лишь прием пищи и вечерняя поверка, на которую мы являлись к землянке командира полка. В молодости своей он, очевидно, был цирковым борцом. Между двух сосен перед своей резиденцией он приказал соорудить перекладину и бросал невесть откуда добытую помпохозом двухпудовую

гирю. Командир полка садился вечером на лавочку перед землянкой, а мы должны были, явившись на поверку, совершить на перекладине некоторые спортивные упражнения и выжать минимум по три раза над головой эту двухпудовую гирю. Если ты выполнил на перекладине сложные кульбиты и выжал положенное число раз гирю, он говорил:

— Ну вот это — офицер. Можешь идти до утра к девчонкам, а если нет, иди и ложись спать.

Девушек в ближайшей окружности бора не было ни одной, за исключением двух радисток дальнобойного полка РГК, которых держали в строгости и к нам вечером не отпускали. И тем не менее все мы стремились во что бы то ни стало выжать эту чертову гирю, подтянуться на турнике, чтобы на законном основании после отбоя совершить энное и бесполезное количество концентрических экскурсов между сосен перед землянкой радисток, а если гиря нам не поддавалась, то в положенное время как по сигналу укладывались спать, хотя ночи стояли белые и сна не было ни в одном глазу.

Вот так мы и жили летом сорок третьего года в прекрасном сосновом бору, стоящем на высоком песчаном угоре, над болотами Волховского фронта.

*1971*

## *О моем поколении*

Я люблю свое поколение и не стесняюсь говорить об этом. Мое поколение достигло своей зрелости, так и не войдя в чины. Век женщин моего поколения, согласно пословице, кончен. Дети, зачатые моим поколением в лето, омытое слезами счастья, вином победы и огнем салютов, стали, как принято называть их, порядочными балбесами.

Мое поколение родилось в голодное и не менее счастливое время на новой планете, только что завоеванной отцами у целого мира. И мы помним себя очень рано, мы помним себя сразу гражданами новой планеты.

Кусок кумача под ключицами согревал и обжигал пламенем борьбы наше детство.

Я не боюсь употребить это громкое слово *борьба,* за него было заплачено...

*1959 (?), 1961 (?)*

## *„Дяденька, кинь-ко баночку!“*

— Дяденька, кинь-ко баночку!

Мы бежим по бечевнику и кричим буксирному пароходу, баркам-нефтянкам и баркам-мариинкам, бежим — то обгоняя медленно идущий караван, то пропуская его, чтобы потом снова забежать вперед и петь, приплясывая: «Дяденька, кинь-ко баночку!»

Бечевник — это дорога по высокому берегу канала, по которой на старой Мариинке бечевой тянули суда бурлаки и кони. Теперь суда тянут буксиры, но название «бечевник» осталось. В ответ на нашу песенку из домика, стоящего на барже, выходит шкипер и, чтобы отвязаться от нас, а может, по доброте своей, бросает пустую консервную банку.

Сверкая на солнце зеленоватым золотом жести, летит в воздухе и со звоном падает на бечевник банка.

Банка — это большое богатство: во-первых, она нужна для червей, — все мы заядлые рыболовы. Из крышки банки можно вырезать отличный пропеллер, пробить в нем драночным гвоздем в центре две дырки и с помощью катушки и бечевки запустить этот пропеллер в синее небо — у кого выше, у кого дальше. В-третьих, красивая разрисованная банка — ценность сама по себе. Она из другого мира: в нем капитаны буксиров носят роскошные фуражки, в нем встают на пути большие города с многоэтажными домами и множеством людей, в нем все, о чем мы только читаем в книгах и даже больше того, о чем наша фантазия и не подозревает.

Словом, «Дяденька, кинь-ко баночку!» Бечевник—единственное место, на котором можно получить ее. В селе не едят консервов, нет их и в сельпо, в дорогу люди берут вареные яйца, рогушки картофельные, пшенные, гречневые — начинка может быть разной, но сочень всегда ржаной, поджаристый и на начинке золотисто-коричневая застывшая пенка.

Из села мало кто уезжает далеко. Белозерск, Череповец, Вытегра — все это стоит на Мариинской системе, но из нас, мальчишек, дальше Белозерска не бывал никто. Но вот летит, сверкая в воздухе, брошенная на бечевник банка, и мы несемся к ней наперегонки. Летит, как знак далеких странствий, как залог неизведанного, летит разрисованная, новенькая, с крышкой, грубо вырезанной тяжелым ножом. Летит пустая, сияющая белизной внутри.

...Я держу в руках банку со сгущенным кофе, смотрю на нее и вдруг вспоминаю все это и еще многое подобное тому.

Мы сидим в салоне белоснежного уютного теплохода. Ветерок раздувает шелковые занавески. За окном тянется бечевник, заросший ольхой и черемухой, по правому борту мимо нас медленно движется караван с барками и плотами, буксир, похожий на жестянку из-под ваксы, такой он чумазый, вовсю дымит высокой трубой, на носу у него красуется громкое, известное мне с детства название, буксир еле-еле тянет по старому, заброшенному ныне каналу караван. С бечевника никто не кричит каравану: «Дяденька, кинь-ко баночку!»

Мы собираемся у себя в салоне ужинать. Впереди — белая ночь, и поэтому света мы не зажигаем. На столе постлана чистая льняная скатерть, расставлены тарелки, разложены ножи и вилки. Хорошо бы опять, как в детстве, выбежать на бечевник и закричать нараспев: «Дяденька, кинь-ко баночку!»

На очередной пристани мы запаслись консервами. Удивительно, как они, эти банки, выглядят неаппетитно. И зачем эту говядину стали делать в стеклянных банках? Я ставлю на стол черно-красную банку со сгущенным кофе и встаю.

— Надоели мне консервы, — говорю я своим друзьям и отворачиваюсь от ужина.

*60-е г.*

## *Праздник друзей*

Кто хочет еще раз побывать в Риме, тот должен, находясь в нем, бросить монетку в фонтан Треви. В Варшаве нет фонтана, с помощью которого можно получить путевку на повторный вояж, но в Польше я был дважды. Я бросил монетку в пятьдесят грошей в Вислу возле каменной сирены — символа города — и приехал в Варшаву еще раз.

Рим прекрасен своей неизменностью. Вечные ценности, созданные в древности, призывают к себе. Польша же влекла меня своей устремленностью в будущее, тем, что в ней есть, и в особенности тем, что будет. В ней больше всего меня привлекла динамика, движение. Впрочем, как я успел заметить, и поляков тоже.

Показывая нам свою страну, они говорили о том, что было здесь раньше, и подробно о том, что будет здесь через год, через два, через пять лет. Это было всюду:

в Новой Гуте, с ее трубами, корпусами и жилыми кварталами, выросшими на пустыре; в старом университетском городе Кракове, про который сами жители шутят, что его покой нарушают только цокот копыт извозчичьих упряжек да песня железного трубача на шпиле собора; в фабричном городе Лодзи — на его старых по возрасту и современных молодых по техническому оснащению текстильных фабриках; в государственных хозяйствах среди полей и дубрав.

Были у нас встречи с поэтами, споры о литературе, жаркие и долгие разговоры со студентами. Но я хочу рассказать о маленьком субботнем празднике. Мы уезжали домой. Поезд в Москву уходил глубокой ночью. Загодя мы забросили вещи на вокзал, чтобы не возвращаться в гостиницу, и пошли прощаться с Варшавой.

Наш друг Малиновский, работник Союза писателей, сказал:

— Мой рабочий день в Союзе писателей окончен. На этот вечер вы — мои личные гости. Куда пойдем?.. Я предлагаю ко мне домой. Правда, жена в командировке, но мы посидим хорошо по-холостяцки.

Наш второй друг — шофер из Лодзи Ромуальд, элегантный, предупредительный, в темном костюме, белоснежной сорочке, тщательно причесанный — ни дать ни взять дипломат, возразил:

— Пане писатели также и мои гости, здесь не Лодзь, но я предлагаю Варшаву. — Далее шло перечисление названий кафе и ресторанов. где мы можем посидеть вплоть до отхода поезда.

Мы никого не хотели обижать, но нам еще раз хотелось увидеть Варшаву, и мы отправились на Старое място — центр города, строившийся сотни лет, дотла уничтоженный во время войны и скрупулезно восстановленный варшавянами.

Тихие улочки, кованые фонари над воротами, шпили костелов, уже успевшая выцвести краска глухих стен, узкие асимметричные окна и вполне древняя луна в небе. Старое място напоминает ожившие картины Каналетто, итальянского живописца, влюбившегося в этот город двести лет назад. Никакие бури на смогли поколебать тысячелетнюю историю.

Писатель Северин Поляк, с которым мы на днях в Ленинграде вспоминали Варшаву, заметил:

— Да, конечно, все, что восстановлено, это точно такое же, каким оно было, но это не то же самое. Но наши

молодые люди, которым по двадцать, смотрят на восстановленный город, на все его архитектурные памятники, как на подлинные. Для них это древность, нерушимая история, пережившая время.

Для нас в тот вечер Старое място, освещенное луной, было таким же, как и для тех молодых людей, о которых говорил Северин Поляк.

Эхом шагов наполнились гулкие улочки. Мы долго ходили по ним, вглядываясь в темные лица домов, потом ввалились в маленький ресторанчик с рыцарем у входа. Здесь гремела музыка, было людно и тесновато, но для нас стол нашелся.

В старых мехах бурлило новое, молодое вино. Напротив нашего стола четыре музыканта на низкой эстраде, зажатые в угол танцующими, работали на инструментах и распевали вместе с залом. Пожилой усталый официант принял заказ, быстро загромоздил стол закусками, а услышав наш разговор, спросил:

— Панове из России?

Больше, кажется, никто не поинтересовался нами. Но через некоторое время оркестр, к нашему удивлению, заиграл «Очи черные». А потом оказалось, что под «Катюшу» можно отплясывать так же лихо, как под самый модный фокстрот. И вот песни военных лет, пришедшие с нашей армией на Вислу, загремели с эстрады, и танцующие уже улыбались нам, зная, кто мы такие. А когда все они к тому же по-русски запели: «Эх, путь-дорожка фронтовая, не страшна нам бомбежка любая...» — мы, трое бывших солдат, не ахти какие певуны, рванули песню вместе со всеми. Отставать было негоже.

Публика в ресторане — разная по возрасту, одетая просто, веселая, общительная между собой. Но к нам никто не подходил, чтобы не мешать. Контакт с нами она установила нашими песнями и приняла нас в общее веселье ими же. Ромуальд только приговаривал:

— А ведь хорошо, что мы пришли сюда.

И когда кто-то из нас хмыкнул, глядя на один весьма модный танец, Ромуальд, заметив наши взгляды, сказал:

— А вы взгляните не на ноги танцующих, а на их руки.

Кто же не знает, что руки человека говорят о его профессии. Мы взглянули. Это были руки каменщиков и шоферов, слесарей и работниц — руки людей труда, днем строящих свою Варшаву. Эти руки в этот вечер отдыхали. Они лежали на широких плечах мужчин и придерживали

за талию веселых плясуний. Они помахали нам из-за столиков приветственно, когда мы уходили далеко за полночь, чтобы успеть на вокзал. Так машут друзьям.

— Пока, до скорого...

*1962*

## *У нас, в Ленинграде*

Ленинград! На его площадях народ творил свою историю. На площади перед Исаакиевским собором, там, где Медный всадник взлетел над Невой, — декабристы; за Нарвской заставой, на площади Стачек — рабочие Путиловского завода; на площади у Финляндского вокзала Россия впервые услышала слова Ленина: «Да здравствует социалистическая революция!»; на Дворцовой площади перед Зимним дворцом победила революция.

Трубы истории поют громовые гимны. От затемненного Ханоя, поднявшего к небу стволы зенитных орудий и острия ракет, до Златы Праги, осветившей прожекторами Градчаны, возвышающиеся на холме, — всюду сегодня говорят о Ленинграде.

О нем звенит бесхитростная лирическая песенка под гитару в электричке, на студенческой вечеринке, в тайге у ночного костра... Да разве перечислишь места, где сердце человеческое, исполненное любви к великому городу, раскрывает себя!

Я живу в Ленинграде! Жители города произносят эту фразу каждый по-своему, потому что у каждого есть свой Ленинград, с домом, работой, улицей, местом свиданий, со своими радостями и заботами. В этом нет ничего удивительного, потому что человеческие судьбы не песчинки, похожие одна на другую, а звезды.

Но как бы по-разному ни звучала эта фраза, есть в ней одно общее для всех ленинградцев чувство личной причастности к городу с великой судьбой, чувство гордости.

Национальный гений русского народа за два с половиной века создал город с эпической щедростью, с удивительным чувством меры и красоты.

На многих зданиях города, на мемориальных досках, народ начертал золотыми буквами имена тех, кто за два с половиной века создал не только красоту, воплощенную в гранит и мрамор, но и мудрость державы, ее научную мысль, ее искусство, литературу, ее военную славу, революционный дух ее народа.

Великие поэты и прозаики воспели город в книгах, ставших достоянием всего человечества. По ним можно представить облик и дух города, ни разу не побывав в нем. Можно войти с ними в город как в места, знакомые с детства.

Побывав в нашем городе, нельзя не полюбить его. Я влюбился в город в очень трудное время. Осенью сорок первого года он был молчалив и суров. В синем небе над ним стояло, поднявшись с земли, огромное облако — горели Бадаевские склады после налета фашистской авиации.

Мы шли в отведенные нам казармы в Лесном по улице, которая называлась Дорога в Гражданку. Надо ли говорить, как мы невесело шутили по поводу названия улицы, ибо вела она нас из гражданской жизни на войну. Потом, получив танк, я совершил на броне машины «экскурсию по городу» с Выборгской стороны за Московскую заставу — к зданию, которое называлось тогда Домом Советов. За Домом Советов рукой было подать до переднего края обороны города. Кольцо блокады было замкнуто.

Шли первые дни из тех 900 дней огня, смерти, холода, голода и мужества. Они были началом того, что мир назовет мужеством Ленинграда. Только так, ибо оно не имеет в истории сравнений.

Есть в нашем городе гранитный памятник, на котором начертаны слова Ольги Берггольц. Со всех краев земли из года в год, изо дня в день приходят к нему люди. Они приходят на Пискаревское кладбище и стоят там в скорби и печали. Здесь живые молчат. Здесь говорят холмы братских могил и каменные плиты надгробий. Здесь говорят наши мертвые. Ленинградские женщины и мужчины, дети и старики. Их молчание сильнее всяких слов и громче всех орудийных залпов. Что можно добавить к великому молчанию их?..

А на камне начертано: «Они защищали тебя, Ленинград — колыбель революции».

Но есть дни, когда мы, ленинградцы, приходим сюда и говорим нашим мертвым то, что знают и слышат все живущие на земле.

В День Победы мы говорим: «Да, наши армии разбили в прах бронированные орды врага у стен города. Да, мы пришли в Берлин в сорок пятом. Да, мы смели с лица всей Европы проволоку фашистских концлагерей. Да, на нашей земле мир».

Они не слышат нас и никогда не услышат. Но они верили в это всей жизнью своей. И мы говорим это.

В наш город за все его двести пятьдесят лет ни разу не ступала нога вражеского солдата, но для друзей он держит свои ворота раскрытыми широко.

Нынче в Ленинграде стояла удивительно теплая и сухая осень. В городе было очень много гостей, в канун великого праздника люди ехали к нам, чтобы не только полюбоваться красотами города, как это бывает в наши белые ночи, но и затем, чтобы посетить памятные места Революции.

В Смольный, где помещался штаб Революции, непрерывно шли экскурсии, так что работники Смольного должны были часто подолгу пережидать их шествие у дверей.

Со всех материков земли приезжали к нам в город паломники. В нем много реликвий. Стоит у стенки на вечной стоянке «Аврора» Благоговейно поднимаются по ее трапу гости. И им, наверно, кажется странным, что ленинградцы спокойно спешат мимо по набережной. Как же так? Ведь здесь рядом стоит история.

Что ж тут такого — ленинградцы сами делали историю и делают каждый день.

Ленинград — город могучих фабрик и заводов. Недаром его называют городом технического прогресса. Многое из того, что вошло в быт и жизнь страны, впервые было создано в нашем городе.

Вспомните хотя бы первый трактор. Я уж не берусь перечислять все остальное. Было время, когда о тракторах пели песни.

В годы коллективизации коммунисты Ленинграда послали 4614 «Давыдовых» строить новую жизнь на селе.

Теперь мы поем песни и сочиняем стихи о космических кораблях, вышедших в просторы Вселенной, как некогда первые тракторы — на целинные просторы России. И в них есть частица труда города.

Васильевский остров Ленинграда — это остров студентов, ученых, художников. Каждый год с первого сентября на его набережных и улицах становится теснее от молодежи, приехавшей к нам со всех краев нашей Отчизны.

Стремительно несет свои полные воды Нева в просторы Балтийского моря. По ночам мосты поднимают пролеты, как крылья, и караваны судов несут по реке сигнальные огни на высоких мачтах. Ранним утром солнце загорается на золотых куполах и шпилях города. Гранитные набережные убегают в туманы, прямые как стрелы проспекты и улицы заполняются ленинградцами.

Город приступает к своим делам, мечтам, планам. Он красив всегда, и особенно — в праздничные дни.

К празднику ленинградские поэты выпускают двадцатилистную антологию стихов о Ленинграде. Двадцать книжек о городе.

Эти стихи писались не к специальным датам, а на протяжении всей творческой судьбы. У одних, как у Николая Тихонова, она началась вместе с Революцией, у других — совсем недавно.

Пятьдесят лет назад город, услышав призыв Ленина, вышел к нему и стал с ним рядом плечом к плечу. Так и идет он по жизни. С той поры на белом свете о нем создано немало песен и стихов на всех языках земли.

О нем гремят трубы истории и звенят бесхитростные лирические песенки.

*1967*

## *Революция крупным планом**

В Ленинграде в кинотеатре «Колизей» состоялась премьера широкоэкранного цветного фильма «Первороссияне», поставленного ветераном советского кино Александром Гавриловичем Ивановым по сценарию Ольги Берггольц.

Этот фильм смотреть нелегко, и писать о нем тоже трудно, потому что он необычен по своему почерку, по своей трактовке трагических страниц истории нового мира.

Поэма Ольги Берггольц «Первороссийск», которая легла в основу сценария, широко известна любителям поэзии. И мы не ошибемся, если скажем, что поэма своей обнаженной правдой, верой автора в эту правду вошла в душу народа и долго будет жить в ней, как молодость Революции.

Что может быть выше и прекраснее молодости Революции, где все обнажено до предела и где чистота мыслей и дел покоряет своим оптимизмом и жаждой подвига.

И нам опять вспоминаются выбитые резцом времени на стеле Пискаревского кладбища слова ленинградской женщины, пережившей все возможное и невозможное: «Никто не забыт и ничто не забыто».

* Рецензия написана совместно с М. А. Дудиным.

За плечами Ольги Берггольц стоит само время с его неповторимыми героями, с их неистребимой верой в свою правоту, потому что эта правота единственна для человека.

Революция победила.

На Марсовом поле хоронят героев Революции.

Сфинкс. Николай, Александр, ангел Александрийской колонны, как лики времени, смотрят на это печальное действие. Поп-расстрига в последний раз крестится, принимая новую веру.

Бывший ссыльный Гремякин приходит к Ленину. Он собрал людей. Он хочет ехать вместе с этими людьми на Алтай, в место своей бывшей ссылки. Новый Кампанелла хочет строить новый мир.

Первозданный мир прекрасной и дикой природы. Крутящаяся воронками холодная вода, и женщина выходит из этой воды во всей своей прекрасной обнаженности и кричит всему живому на земле:

— Я люблю тебя!

И многократное эхо повторяет этот крик.

Кулаки, пособники Колчака, истребляют коммуну.

Огонь. Горячий пепел остается на месте мечты.

Огнем горят на раскаленном камне слова: «Проспект Обуховской Обороны».

Все выжжено. Все уничтожено.

Квадратное поле жита похоже на квадратную могилу на Марсовом поле.

Остаются только вечные слова:

И если гром великий грянет
Над сворой псов и палачей,
Для нас все так же солнце станет
Сиять огнем своих лучей.

Фильм о первороссиянах, о первых коммунарах, на наш взгляд, получился масштабным, убедительным. Так же как ложь не властна над Правдой, так и время не властно над этим фильмом. Здесь Революция показана очень крупным планом.

У кинокартины есть свой особый ритм. Ритм стремительный и монументальный.

Коммуна погибла. Коммуна истреблена.

Но она жива, как песня будущего, как символ того, что может и должен сделать человек для того, чтобы жила земля и человек на ней — дитя этой земли и ее хозяин.

*1968*

Застегивать ремни нас учил старшина, как только мы, одетые в солдатские гимнастерки, построились перед ним. Каждому из нас он сделал множество замечаний по поводу нашего внешнего вида, и все они начинались с проверки того, как были застегнуты ремни. Он запускал четыре пальца под ремень, обхватывал его пятым и встряхивал каждого. Он отсчитывал дырки на ремнях, еще раз проверял плотность затяжки, центровал пряжки, одергивал гимнастерки, снаряжая нас в дальнюю дорогу. Шел сорок первый год, третий месяц войны, а воевать предстояло еще почти четыре года.

Я, наверно, не вспомнил бы об этом, если бы не спектакль в театре на Таганке Григория Бакланова и Юрия Любимова «Пристегните ремни». Нет, в спектакле старшина не проверяет ремни. Длинноногие девушки в голубом — ангелы Аэрофлота — просят пассажиров пристегнуть привязные ремни перед полетом, и только. Какая тут может быть ассоциация с солдатскими ремнями из сорок первого года? И все же.

В пьесе на большую стройку с проверкой летит государственная комиссия. Возглавляет комиссию бывший генерал, стройку возглавляет бывший полковник, оба давно и хорошо знают друг друга. В сорок первом году они воевали вместе. Комиссия находит, что стройка ведется с отступлениями от проекта, плановые сроки сдачи объектов при этом нарушены, а руководство стройки сознательно шло на эти нарушения, для того чтобы новыми методами надежней и лучше завершить в срок строительство. Потом комиссия вместе с руководителями стройки летит в Москву. Москва разберет, кто прав.

Но не этот конфликт захватил меня. Авторы спектакля сводят людей, характеры которых по-разному сформировало время, и сталкивают их в конфликте нравственном, в котором проверке подвергаются не производственные методы, а духовные ценности.

На сцене два ряда самолетных кресел: один — кресла «Дугласа» военных лет, другой — турбореактивного лайнера наших дней. В то же время это два крыла одного самолета, один салон его, в котором летят люди со своим прошлым и нынешним днем. Все картины спектакля компонуются на одной горизонтали крыльев самолета — и то, что происходит с героями спектакля в сорок первом году,

и то, что происходит с ними в семьдесят четвертом. Недаром и рейс самолета — 41—74.

Сорок первый год и семьдесят четвертый год в спектакле сведены воедино и в пространстве, и во времени. Два измерения мира пересеклись в одной точке и завязаны в узел. Это стало возможным, потому что мастерством драматургов, волей режиссера и точной актерской игрой создан живой театральный язык. Это стало безусловно возможным потому, что человек — мера времени. Прошлое живет только в нем, и только человеком измеряются настоящее и будущее, без человека времени нет. Это банальная истина, но ее необходимо как бы открывать заново и настаивать на ней, чтобы утверждать подлинные ценности, что и делают не без успеха авторы спектакля «Пристегните ремни».

Мы видим полковника Прищемихина, начальника строительства, в гимнастерке со шпалами в петлицах и в сорок первом году, и в семьдесят четвертом. В военном самолете, летящем над горящей землей со своими израненными и обожженными солдатами, и с рабочими стройки, высотниками и бетонщиками в касках и защитных робах, опоясанных по-солдатски брезентовыми ремнями, так похожими на привязные ремни самолета. Полковник всегда остается в одном самолетном ряду — в сорок первом году, даже тогда, когда пьет чай с женой и внучкой в семьдесят четвертом. Нет, время для него не остановилось. Для него лишь остались неизменными реальные ценности, в которые он поверил в драматических обстоятельствах сорок первого года.

Председатель комиссии Щербатов, однополчанин Прищемихина, только иногда переходит в этот ряд самолета, вспоминая свое прошлое, где он сражался за Родину, не страшась самой смерти, а в основном пребывает в креслах семьдесят четвертого года, как бы отделяясь от своего прошлого. И это сделало его другим, слабым, хотя он и наделен властью. Два однополчанина не только перестали понимать друг друга, между ними возник конфликт. Реальное сталкивается с условным. И нам начинает казаться, что условное реально, а реальное не то чтобы условно, а оно как вспышка магниевой лампы фоторепортера по прозвищу «Родственник», летящего в том же самолете, и оно годится для войны, но не годится для мирной жизни, там, где борьба идет не с врагом и не так, как на войне. Да, в этом сражении нет у Прищемихина верных и стойких союзников, есть только правда. Впрочем, и Щербатов

чувствует, что правда у Прищемихина есть. Недаром он говорит по секрету своему другу: «Вот выйду на пенсию — всю правду скажу».

Да только не скажет, потому что Прищемихин говорит правду и боится только за нее, а не за себя, а Щербатову правда опасна, потому что с нею он боится за себя.

Не знаю, следует ли далее пересказывать спектакль, — это дело безнадежное. Это — остро публицистическое произведение, решенное средствами поэтическими. Объемные крупные метафоры, лаконичная символика соединены в нем с реалистической, психологической актерской пластикой. Его нужно читать внимательно и подробно, обобщая и формулируя, драматурги как бы приглашают зрителя в соавторы.

Глубина и точность авторских обобщений определены образами и символами прошлого и картинами настоящего. Авторы выхватывают из прошлого героев ситуации конкретно драматические, в которых реальная человеческая сущность проявляется со всей остротой и фиксируется вспышкой человеческого света, идущего в нынешний день, освещая его, резче прорисовывая в нем свет и тени, при этом становится образно ясным неразрывность прошлого и настоящего, связь времен устанавливается зримо и эмоционально благодаря возможностям условностей театра, которые на предельном локальном расчете используются режиссером.

Жизнь и в дни мира и в дни войны, как известно, движется не по асфальту или паркету, на пути ее выбоины, ухабы, трещины, рвы, наконец, пропасти, и она то и дело встряхивает и качает человека, а он должен не качаться, стоять, выстоять, чтобы идти дальше, оставаясь человеком, не опускаясь на четвереньки. Жизнь, как старшина, проверяет затяжку ремней, встряхивая и качая крылья самолета. Но солдаты, там над его крылом, стоят прямо, не качаясь. Их можно свалить на землю в том сорок первом, но нельзя согнуть и невозможно покачнуть в семьдесят четвертом.

Метафоры следуют одна за другой, создавая эмоциональное измерение времени. Невестка Прищемихина получает из комиссионки модные сапоги, сделанные в ФРГ, и память вдруг возвращает ее в оккупированное детство.

В огненном разрыве снаряда гибнет на фронте рядовой Парцвания, мечтавший получить медаль, и вслед за этой вспышкой возникают лица парней и девчат, бетонщиков и монтажников на мирной стройке, освещенные вспыш-

ками блица фоторепортера. И все это прорезается еще песней Исаковского «Враги сожгли родную хату» — о солдате с медалью за город Будапешт.

Бескорыстный освободительный подвиг народа, принесшего свободу европейским странам, спасшего миллионы от пламени печей концлагерных крематориев, встает за скупыми изобразительными картинами спектакля.

Авторы его не историки, не бытописатели, не летописцы. Они стремятся образным поэтическим строем, динамикой картин выразить философию времени, духовное содержание его, ставшее в годы Великой Отечественной войны тем светом нравственности и патриотизма, без которого немыслим день нынешний и день будущий нашей Родины. Духовное наследство, завещанное двадцатью миллионами, отдавшими жизнь за Родину и свободу, необозримо и бесценно, в нем черпают силу для творчества и будут черпать многие художники, к нему обращаются в спектакле и авторы. Они обращаются к высокой человечности, гуманизму героического времени. По ним ведется измерение дня современного, всего, что есть в нем, драматургами, бывшими солдатами Отечественной войны, как сказал об этом стихами Михаил Луконин:

С той минуты в сорок первом
Живу, живу, случайностью храним,
Веду перерасчет всем старым мерам,
И верам, и невериям своим.

*1975*

## *Из вьетнамской тетради*

Современный путешественник подобен герою из сказок Шехерезады. Джин, именуемый в наше время Аэрофлотом, в мгновение ока переносит его из одной страны в другую за тысячи километров — из зимы в лето и наоборот. Рев и свист из горла дюралевых кувшинов, снеговая бугристая пелена сжатого до пределов расчетного времени пространства, и вот путешественник выходит, ничему не удивляясь, на поле аэродрома, неся на руке зимнее пальто, а в лицо ему хлещет теплый ветер, настоянный на ароматах экзотических цветов. Снегопад и мороз ночного аэродрома в Шереметьеве за спиной, солнце и пламя тропической зелени перед лицом его.

Век классических путешествий с медленным чередованием гор, рек, сел, городов, одежд, лиц, памятников кон-

чился. Книги путешествий или книги познаний стоят на полках библиотек. Их заменил билет с двумя-тремя листочками, исписанными цифрами, из которых можно узнать только время отлета, номер рейса и сведения о трассе полета с пунктами посадок.

Мы, трое советских писателей, перенеслись вышеописанным способом из нашей зимы в тропический Вьетнам. Правда, это время года там тоже именуется зимой, и мы даже встречали Новый год по лунному календарю 13 февраля в Ханое. Но вместо елки над новогодним столом сияли цветущие ветки персикового дерева, а за окном шумели вечнозеленые пальмы и стояло душное тропическое небо.

Я люблю незнакомые города и считаю их красноречивыми собеседниками. Меня не очень интересуют их анкетные данные, я предпочитаю анкете и цифрам легенды, которые творят они о себе в тихие часы, музейные обобщения я с удовольствием отдам за стихотворную строку кафе и частушку базара, оброненную городом в сутолоке и гаме.

Ханой просыпается очень рано и берет в руки кастаньеты. Каждое утро он играет на них одну нехитрую, но звонкую песенку. Сначала она пролетает по бульварам коротенькой редкой строкой, потом звуки начинают сыпаться все чаще и чаще, и вот уже ливень их весело хлещет минут пятнадцать — двадцать подряд. Это оптимистическая, бодрая песенка. Ханой любит ее, в ней его надежды. Песенка устремлена в завтрашний день и утверждает мечту, но лишена всякой сентиментальности. Она проста и строга, в ней одновременно с мечтой звучит и суровость вставшего дня. Эта песенка называется «Гуок». Гуок — деревянные сандалеты, две дощечки с ремешками. Школьники надевают сандалеты и бегут на уроки. Ханой начинает утро песенкой кастаньет: «Гуок... гуок... гуок...»

А к Ханою тем временем по всем дорогам спешат носильщики, женщины и мужчины с коромыслами через плечо, они несут на них по две большие корзины со всевозможными грузами, перечислять которые я не берусь. Чего только не требует для себя проснувшийся город! Ни на секунду не останавливаясь, чтобы передохнуть, размахивая энергично согнутой правой рукой в ритме шага, спешат они подпрыгивающей походкой, раскачиваясь корпусом, словно выполняя играючи какую-то невидимую работу, а тяжелые корзины плывут сами собой по воздуху. Эту походку, при которой груз, как бы он ни был тяжел, плывет как будто сам по себе, выработало за тысячи лет

пружинящее бамбуковое коромысло. До Вьетнама такую походку я видел только у скороходов на стадионах.

В стране еще немало трудностей и нерешенных проблем. Одна из таких проблем — бамбуковое коромысло. Большая часть грузов на полях и дорогах Вьетнама переносится носильщиками. Коромысло — половинка расщепленного вдоль полутораметрового куска бамбука — древне, как сама вьетнамская земля. Коромысло — это авоська женщины в городе и деревне, это воинский транспорт в годы освободительной войны, это кран на стройках каналов и дамб. Тонкое пружинящее коромысло с двумя подвешенными на концах чашами-корзинами похоже на аптекарские весы. Ими за длинную и трудную историю Вьетнама на человеческих плечах взвешено все, что есть в стране, — города, дороги, пагоды, урожаи риса, гигантские дамбы ирригационных сооружений, а также фундамент нового, демократического Вьетнама, твердо решившего освободить плечи вьетнамца от бамбукового коромысла. Что же касается плеч народа — то только они знают точно, сколько весит история страны.

Ханой нам много рассказывал о себе в рабочие часы и поздними ночами под всплески рыб в водах священного озера и шелест листвы склонившихся над ним деревьев. Деревьев множество, и причем разных. Стоят там и фикусы, те самые фикусы, которые растут в кадках у нас в России. Здесь это огромные узловатые деревья на глинистом берегу. Но не об экзотике я взялся вести рассказ.

В технических высокоразвитых странах жизнь открывается взгляду, можно сказать, в статике, как результат усилий народа. Для того чтобы почувствовать динамику ее, нужно не только вглядываться, но и изучать экономические отчеты, труды по истории. Французские колонизаторы оставили после себя во Вьетнаме в избытке только доты и католические костелы. Динамика новых устремлений и усилия народа на этом фоне видны, как говорится, наглядно.

Кроме Ханоя мы побывали во многих городах, в рисоводческих кооперативах, где еще так мало техники, что нам, привыкшим видеть ее у себя на полях повсюду, это сразу бросилось в глаза. Побывали мы в кофейном госхозе и у рыбаков. Мы видели, как трудятся на мощных советских экскаваторах шахтеры в Кам Фа. Алые вечерние воды залива Ха Лонг напомнили нам работы прославленных мастеров по лаку. В театрах перед нами распахивался занавес, и актеры на незнакомом языке гневались,

радовались, печалились и объяснялись в любви, а зал реагировал на их игру с такой непосредственностью, что казался частью сцены. Мы разговаривали о поэзии, прозе и драматургии с вьетнамскими писателями, щедро одарявшими нас своим временем и душевной расположенностью.

За месяц на дорогах молодой республики было много интересных, полезных для нас встреч. Но где бы мы ни были, с кем бы ни говорили, каждый раз вольно или невольно люди касались той боли, с которой живет сейчас Вьетнам.

На одной из дорог я видел написанные на камне слова: «Юг не жалеет крови, Север не жалеет пота, Север и Юг разделены, но это один народ, одна история. За семнадцатой параллелью — там, где звучит та же речь, что и на Севере, где поются одни и те же старинные песни, — льется кровь, идет непрекращающаяся борьба за свободу».

С 1945 по 1954 год вьетнамцы вели борьбу, закончившуюся победой. Французские колонизаторы были изгнаны, но страна оказалась поделена пополам.

Зимой 1960 года на юге страны родился Фронт национального освобождения.

Мальчишки, родившиеся в сорок пятом, все детство которых пало на военные годы, сейчас стали девятнадцатилетними. На юге страны они вынуждены теперь защищать свои хижины, свои посевы риса, своих невест от новых захватчиков. Они солдаты с рожденья, их детство было принесено в жертву освободительной войне, их молодость встает навстречу американским танкам и вертолетам с оружием в руках.

Не слишком ли много этого для жизни одного поколения? Кто даст ответ на такой вопрос. Чужие загребущие руки тянутся из-за океана к пальмам, рисовым полям и земным недрам, к людям, которых можно грабить по праву сильного, к горячему уголку земли, с берегов которого открываются неоглядные просторы Азии, густонаселенной, не успевшей еще распорядиться своими богатствами в недрах гор и непроходимых джунглях.

Но если цена свободы — военное детство и юность, встающая за пулемет, то люди в Южном Вьетнаме, не задумываясь, выбирают свободу. Грязная война, которую ведут на Юге американцы против мирного народа, зажигает в ответ чистый пламень освободительной войны.

Демократический Вьетнам живет мирной жизнью. Север действительно не жалеет пота, создавая свою эконо-

мику. Если на Юге американские вертолеты распыляют над рисовыми полями и деревьями ядовитый порошок, уничтожающий посевы и деревья, листва на которых гибнет, сворачиваясь, то на Севере сажают деревья, как это было в дни празднования нынешнего Нового года. Но и на мирных дорогах бывают встречи, от которых вдруг пахнёт близкой бедой, шагающей по земле Юга в американском обмундировании, искры пламени напалмовой войны долетают и до Севера. В одной из поездок мы повстречались с двумя людьми, обожженными этим пламенем, перебежчиками с Юга.

Я никогда не видел гевеи — дерева, из которого белой молочной струйкой тихо бежит по срезу капля за каплей продукт, без которого невозможно представить нынешний день. Многое началось с этой белой молочной струйки. Когда-то был сделан первый сознательный косой срез на стволе гевеи, по существу царапина, и по ней в подставленную посудину набежала пригоршня загустевшего сока. Мир давно забыл об этой пригоршне, но в ней так же, как в капле воды отражается Вселенная, взревел моторами автомашин на бетонных и асфальтовых магистралях современный прогресс. Нас к этой капле каучука тоже несли резиновые шины. Каучуковые плантации в ДРВ расположены вблизи семнадцатой параллели, по которой пролегла граница, разделившая страну.

Дорога шла в вечер. Сумерки в это время года во Вьетнаме наступают быстро. Только что мир был цветным: красная дорога, синие горы, зеленые рисовые поля, дождливое перламутровое небо. И не успел я выкурить сигарету, как все стало одноцветным, темно-серым, только дорога в свете фар заполыхала, как будто озаренная пламенем, да в деревнях под деревьями засветились в домах лампочки-лампадки, как маячки, указывающие вход в дом, освещающие своим слабым светом только самих себя. Среди черноты выделялась дорога, она горела. Только что прошел дождь, и на красноземе остались лужи темно-красной воды. Ранее на картинах художников по лаку меня удивлял неестественный, на мой взгляд, красный цвет земли. Я знаю, что художники лучше всех чувствуют краски своей страны! И если ты не разобрался в красках незнакомого тебе края — пойди и посмотри на работы художников, они подскажут тебе то, чего ты не увидел. Но до этого вечера мне казалось, что художники Вьетнама все же преувеличивают, не жалея красного цвета для своих

картин. Оказалось, что они правы. Красная дорога вела нас через ночь. Такая же красная, как на картине Хуинь Ван Чан «Восстание в Намки».

На большой доске, именно доске, а не на полотне, — картина написана лаком, — конвой ведет пленных партизан, ладони их пробиты проволокой, соединяющей строй, и кровь каплет с ладоней на красную дорогу.

Рассказывая о трудной героической борьбе народа за свою свободу, вьетнамские писатели, сами бывшие активные участники этой борьбы, говорили нам, что дороги Вьетнама красны от крови. Это, конечно, поэтический образ. Дороги во Вьетнаме красны и теперь, но это от краснозема.

Наша дорога окончилась в городе, дальше которого ехать нельзя, — за ним начинается река Бенхаи, разделившая страну. За рекой начинается другой мир, в котором снова льется кровь, и дороги там по-прежнему красны от крови.

В дымке вставшего пасмурного дня низкие берега пограничной реки сливаются. Рисовые поля на одном берегу и рисовые поля на другом, желтые пальмовые крыши крестьянских домов там и тут, буйволы и белые аисты, островки бамбуковых рощ и курганы могильников — один пейзаж. Только всмотревшись внимательней, замечаешь тускло блеснувшую, как сталь ножа, узкую полоску реки. И оттого, что это не просто река, а граница, она похожа на клинок, разрубивший страну.

Через реку перекинут стальной мост, выкрашенный под цвет полей. Мост как мост, но я слышал о нем песню. «Почему же столько лет по мосту Хан Лы не ходит никто?» — поется в этой песне. В ней есть вопрос и нет ответа. Грустная вопрошающая песня. Товарищ Ты, работник местного отдела культуры, сопровождавший нас по городу, взглянув за реку, сказал:

— Мой дом в пятистах метрах от берега на той стороне, там у меня мать, дочь, сестра...

Мы встречали на дорогах Вьетнама немало людей, у которых, как у товарища Ты, река Бенхаи разделила семьи.

В блескучей перламутровой дымке лежит близкий и одновременно далекий берег той стороны. К буйволу, похожему издали на серый валун, пасущемуся на берегу, из деревни вышел человек в плаще из пальмовых листьев. Издали не видно, мужчина это или женщина (а может быть, это мать товарища Ты или дочь?). Неизвестно, но

совершенно точно, что это брат или сестра его — вьетнамец или вьетнамка. Мы молча смотрим, как идет человек на той стороне по берегу, как он отвязывает буйвола, как он гонит его хворостинкой к деревне. Крестьянин и буйвол — два кита, на которых стоит эта древняя земля.

На нашей стороне по полю движется цепочка людей — сажают рис. Они берут из небольших изумрудных снопиков по ростку и, глубоко погружая руки в воду, укрепляют их в почве — ровными зелеными цепочками вспыхивают на воде огоньки риса. Теперь им пламенеть до золота, до сахарно-белых зерен на черно-бурой земле. Ох, как низко, истово приходится кланяться крестьянину этой плодородной земле, чтобы она наградила его белым жемчугом, в котором его жизнь и жизнь детей его. На противоположном берегу тоже сажают рис, но там это делают в одиночку, каждый на своем клочке, и только очень вглядываясь, можно угадать на поле, залитом глинистой водой, согнутую, почти распластанную на нем фигурку в рыжем пальмовом плаще.

— А как там живут люди? — спрашиваем мы товарища Ты.

— Если хотите, можете побеседовать с людьми оттуда, с перебежчиками. Они расскажут, — отвечает он.

Люди, переходя с одной стороны на другую, всюду несут с собой оставленный ими мир. То, что живет в памяти, остается с ними навсегда. То, как они держат себя с другими людьми, остается с ними в новом мире от старого — на время, но остается. Нам перебежчики с той стороны показались людьми забитыми и робкими — один менее, другой более, — хотя они совершили то, на что нужна решимость. Мир, из которого они ушли, был еще в их голосах и движениях, в их осанке.

Двое с той стороны. Старшему тридцать четыре года, хотя выглядит на все сорок пять. Оба одеты одинаково: синие куртки, серые брюки, сандалеты, на шее повязаны пестрые шарфы. На молодом — нейлоновая накидка и традиционный нон, он аккуратно свернул накидку за дверями, предварительно стряхнув с нее дождь. Робеет перед нами, поглядывает вопросительно на своих спутников, на товарища Ты. Ему двадцать четыре года, он бежал с Юга всего месяц тому назад. Почему он это сделал? Парень улыбнулся на наш вопрос, шрам под левым глазом дернулся, в улыбке было удивление — разве непонятно, почему он бежал через границу! Он кладет руки на колени и

держит так, не поднимая; во время рассказа в глазах появляется печаль и сосредоточенность.

Его дом совсем близко, на той стороне реки. В пятьдесят четвертом году река Бенхаи прошла через его судьбу и смыла все надежды на будущее. Сестра с мужем ушли на Север, отца арестовали и выпустили из тюрьмы умирать, жил он после тюрьмы недолго. Три класса школы, созданной народной властью для таких мальчишек, каким был он, остались по ту сторону реки. Мальчишке открылась школа батрачества, в которой он и вырос. Цена дня тяжелого труда равна цене пачки сигарет, правда, став взрослым, он смог зарабатывать вдвое больше. Но не из-за низкого заработка он оставил за рекой мать и хижину...

Все завоеванное народом в девятилетней борьбе было отнято новыми властями. Начались репрессии. Особенно пострадали те люди, которые принимали участие в войне, или те, у кого участвовали в ней родственники, ушедшие на Север. Их земли были отняты, бывших хозяев заставили работать со своими семьями на полях для армии. Восемьдесят человек из деревни были брошены в тюрьму на сроки от месяца до года.

Люди стали выражать свое недовольство, возмущаться, но пришли каратели и расстреляли старейшину общины старика Фы, по имени которого называлась община Зянг Фы. Семь деревень обнесли изгородями, выходить из них разрешали только с семи утра до пяти вечера. Если бы властям не нужен был рис с крестьянских полей, они, пожалуй, не разрешили бы выходить из деревень вовсе... Так и жил, не имея клочка своей земли, работая на богатых по найму, потом женился. Жене его двадцать два года, она не училась в школе совсем. Молодежь стали забирать в армию, из двадцати парней деревни пятнадцать уже взято. В 1963 году срок службы в армии был объявлен бессрочным. Пришла очередь и нашего собеседника, на 17 января этого года он получил повестку с приказом явиться на призывной пункт. Он знал, что его заставят стрелять в своих земляков, так же как стреляли в старика Фы те солдаты, которые когда-то приходили в деревню. И чтобы не служить против своего народа, он решил уйти на Север.

Это главная причина его перехода.

— Матери я ничего не сказал, только жене, уговорив ее идти вместе со мной. Жена ответила: «Что бы ни слу-

чилось, я пойду вместе с тобой». Ушли ночью тихо, когда все спали. Охрана ночью боится нести службу. .

Река Бенхаи невелика, когда просто смотришь на нее, но войти в воду и плыть не так-то просто. Двое молодых людей спустились к берегу ночью. Все имущество их было с собой: одежда на себе да нейлоновые накидки, которыми они обернули два нона, превратив их таким образом в поплавки. Женщина, почти не умевшая плавать, выбилась из сил и стала тонуть. Молча спасал ее муж, стараясь не сделать лишнего всплеска. Помогли обернутые в накидки ноны, и двое выбрались на северный берег.

Парень берет накидку — кусок синего нейлона, накрывает ею ноны — широкополую коническую шляпу из пальмовых листьев на бамбуковом каркасе — и показывает нам, зажимая концы накидки в кулаке, синий буек, на котором он переплыл реку. Потом снова аккуратно свертывает накидку. За открытыми дверями по-прежнему идет мелкий дождь, шумят листья пальм и пламенеют цветы на клумбах.

— А как же мать? — спрашиваем мы.

— Односельчане будут хорошо относиться к матери, они помогут ей, у нас люди всегда помогают друг другу.

Я предлагаю ему закурить. Он ждет и не протягивает руку, пока я не вытряхиваю сигарету из пачки настолько, что она повисает. Беседа наша идет не спеша, хозяева благоразумно не хотят нас вести на каучуковую плантацию в дождь: земля от дождя раскисла, а мы в легких ботинках; резиновые сапоги, которые они принесли на выбор, не подошли нам — все оказались малы. Вьетнамцы народ не крупный.

Перебежчик постарше, которому я тоже предлагал «Краснопресненские», кстати, на мой вкус, лучшие наши сигареты, берет их из пачки на столе сам. Ему они нравятся, видимо, больше, чем местные, тоже лежащие на столе, а может, просто хочется как следует распробовать незнакомые сигареты, скорей всего, именно так.

Я смотрю на тихого черноглазого парня, раскуривающего сигарету, и вижу судьбу его одногодков там, на Юге. Не все они понимают то, что понял он. А те, кто понимает, не все живут близ реки, переплыв которую можно стать самим собой. И не каждый может решиться на это, — есть на Юге еще и система круговой поруки. Многие из южан еще идут с автоматами наперевес по рисовым полям, подгоняемые сзади офицерами и инструкто-

рами из-за моря, но в них уже просыпаются сознание и решимость.

За спиной тех, в кого они должны стрелять, стоят только хижины с пальмовыми крышами, нежные ростки недавно высаженного риса, пальмовые и банановые рощи и глаза матерей и девушек. Человек даже под страхом не может до конца идти против того, что сделало его человеком. Это понимают и те, кто сидит в Сайгоне, защищенный броней американских танков. Недаром если год назад парней забирали в армию на определенный срок, то теперь их берут на бессрочную службу, чтобы выковать из них профессиональных убийц, чтобы они навсегда забыли свою кровную связь с этими крышами, рисовыми полями, с заботами и печалями женщин, давших им жизнь.

За приграничной полосой лежат районы, в которых пламя партизанской войны освещает и зажигает души, и парни не по повестке, а по приказу сердца берут в руки дедовские арбалеты, чтобы отвоевать себе автомат и свободу. Дети солдат, воевавших девять лет против колонизаторов, став взрослыми, не могут терпеть власть новых пришельцев из-за океана. Именно на Юге, в долине Меконга, был впервые поднят флаг нового Вьетнама, под который сходились патриоты в сорок пятом году. Солдатом свободы был народ.

Второго перебежчика зовут Нгуэн Фу, родом из Линь Хуа. У него близко посаженные глаза, волосы подстрижены коротко и вся голова в плешинах. О себе рассказывает скупо и как-то отчужденно-спокойно, словно речь идет не о нем. Но заговорив о Советском Союзе, хотя мы и не спрашивали о его отношении к нашей стране, произносит целую речь, в которой вспоминает героическую оборону Ленинграда, вспоминает о том, как во время войны с французскими колонизаторами они, вьетнамцы, заряжались духом советских людей, разгромивших фашистов.

Нгуэн Фу старше своего товарища на десять лет. Но десять в стране, пережившей и переживающей такие потрясения, больше, чем годы. Судьба молодого нелегка, и все же на его долю не выпало того, что досталось Фу из-за этой разницы в десять лет. До 1954 года Фу был партизаном, и поэтому в 1956 году его арестовали. Чего он только не перенес с той поры! Дом его сожгли, жену, подержав некоторое время в тюрьме, выпустили и заставили развестись с ним. Его самого в тюрьме били палкой по голове, заставляли глотать мыльную воду с перцем, потом наваливали на живот тяжести и давили так, что вода шла

обратно через рот с кровью. После года тюрьмы его перевели в концлагерь...

Утром мы прошли по улице в направлении к озеру. На углу, возле универмага, в черных железных жаровнях пылали красные уголья, на них, как шашлыки, потрескивали золотые кукурузные початки. Торговки переворачивали их, чтобы початки не подгорали, и веерами поддавали жару, раздувая угли. Синий чад плыл над жаровнями. Тут же торговали арахисом, маленькими зелеными яблочками, сахарным тростником. Магазин любого торговца умещался в круглой плетеной корзине-чаше. Шпалерами стояли велосипеды, построенные в плотные ряды. В кафе отсутствовала передняя стена, и мы шагнули в него прямо с улицы. Низенькие столики, махонькие табуретки, как будто мебель из детского сада. Мы сдвинули два столика вместе, уселись на табуретки — получилось все нормально, только слишком большая компания для этого кафе. Посетители сидели за столиками по двое, по трое — вполголоса разговаривали, пили кофе, курили, деликатно поглядывая на нас...

У каменной курортной современной набережной нас ждала джонка, на каких сотни лет плавают мореходы тропических морей, которая и теперь служит домом: на ней рождаются, живут и заканчивают свой путь. Время не коснулось конструкции корабля, она остается неизменной — крытая палуба в носовой части, бамбуковая мачта с перепончатым парусом, напоминающим крыло летучей мыши, каюта, похожая на ангар, крытая циновкой из бамбука, два длинных тяжелых весла — одно на носу, другое на корме, — укрепленных на уключинах с помощью веревки. Гребут этими веслами стоя, раскачиваясь, подаваясь вперед. В каюте разостланы чистые свежие циновки, в угол сдвинуты два маленьких ящика с имуществом и одеяла, все остальное хозяйство, очевидно, убрано под палубу носовой части. По бортам лодки связки толстых длинных бамбуковых жердей — для плавучести. Вот и все, что есть на джонке.

Мы отправляемся в этой картонной коробке на весь день, до вечера. Ле Ван Ха и Ванг поставили в каюту еду и бутылки с водой и пивом. Залив тих и туманен. Посреди него стоит торговый корабль под швейцарским флагом. Вот уж не думал, что Швейцария морская держава. У стенки в порту еще один корабль, из Гонконга, берет

уголь. Множество джонок под парусами и без парусов. С одних удят рыбу, на других семьи варят пищу, ждут завтрака, над ними плывут дымки, и джонки тихо дрейфуют по заливу. А залив, сколько в него ни вглядывайся, открывает все новые и новые острова. Горы, торчащие, как зеленые ромбы, среди зеркальной воды и бледно-голубой стихии то ли моря, то ли неба, не поймешь — настолько неподвижен залив. Впрочем, разглядывать можно и корабли и джонки, смотря на воду, — в ней с точностью и с не меньшей яркостью повторяются и корабли, и джонки — антимир, ни дать ни взять.

Вечер выдался душный, влажный. Мраморные полы в «Метрополе» покрылись росой, зеркала запотели, листва железных деревьев в электрическом свете на бульварах блестела, как лаковая. Мы, заштопоренные в темные костюмы, тугие воротнички и галстуки, пришли, обливаясь потом, в клуб на вечер Тараса Григорьевича Шевченко. Все было непривычным. Низкая эстрада, устланная циновками, портрет украинского поэта с необыкновенно грозными глазами из-под нависших бровей и рядом с ним, в распахнутых дверях и окнах, не пирамидальные киевские тополя и даже не березы, а пальмы и непроглядно черное теплое небо. В зале полно народу, одетого празднично по поводу торжества, в первых рядах удивительно интересные старики с очень редкими седыми бородками; наши друзья писатели, художники, композиторы, партийные работники, буддисты в коричневых, выцветших от стирки и времени рясах. Вот он какой, наш Тарас Шевченко, — черноглазый, совсем юный, в длинных разноцветных шелковых девичьих платьях, с нежным румянцем на щеках, темнолицый, с резкими глубокими морщинами и строгими, выцветшими от долгих лет жизни глазами, черноволосый как смоль, с застенчивой улыбкой на скуластом лице, которое еще не задубили ни ветер, ни солнце, ни время. Здравствуй, Тарас Григорьевич, мы, оказывается, плохо знали тебя! На краю евроазиатского материка, у горячих вод Южно-Китайского моря, в столице рисоводов, воинов и поэтов к микрофону встал Нгуэн Суан Шань, бывший батрак, солдат, девять лет подряд провоевавший в джунглях, поэт с широко расставленными узкими глазами, и раскинул на трибуне листки доклада о великом кобзаре со строками «Заповіта», переведенного им на вьетнамский язык...

Есть в Демократической Республике Вьетнам кооператив имени вьетнамо-советской дружбы. С гордостью показывали нам крестьяне кирпичный завод, делающий кроме кирпича еще и черепицу для крыш. На глиняных плитках оттиснуты слова: «Вьетнамо-советская дружба».

Вместо бамбуковых хижин с пальмовыми крышами крестьяне строили себе и собирались строить далее кирпичные дома, крытые черепицей. Их мирные устремления как нельзя лучше воплощались в этом строительстве и в похожей на старинную крепостную башню печи для обжига кирпича. Подобные бастионы мирного будущего стоят повсюду около деревень Северного Вьетнама. Для американских парней с высоты реактивного полета эти маленькие башни — цель для бомбовых ударов, так же как и школы, больницы и пальмовые крыши деревень. Но будущее чужого народа нельзя уничтожить никакими бомбовылетами. Народ демократического Вьетнама связан крепкой дружбой с нашей страной.

*1964*

## *Мир принадлежит молодым*

В Ленинграде отцветают тополя, в воздухе летает белый пух, поднимаясь выше крыш города. По ночам на улицах не зажигается электричество, потому что светло и без него. Над Невой и Финским заливом стоят белые ночи. От зари и до зари по проспектам и набережным, взявшись за руки, в обнимку, веселыми стайками гуляют молодые парни и девушки. Кажется, что в городе только одна молодежь. Так оно и есть: Ленинград белых ночей — это город молодых. Они его хозяева. Хозяева сверкающих теплоходов, отходящих от голубых дебаркадеров на всю ночь в залив, хозяева проспектов без машин и автобусов, так похожих на дворцовые залы, хозяева ветра, пахнущего лесами и морем, хозяева гигантских портовых кранов, впечатанных в закат четкими линиями стали. Впрочем, я неточен в своих заключениях, ограничивая владенья молодежи безлунным блеском белой ночи. И на заре и под жарким солнцем полдня мир принадлежит молодым.

Когда я был восемнадцатилетним, мне казалось, что он принадлежит людям немолодым: ведь всюду их было больше, чем моих сверстников. Став старше, я говорю иное: мир принадлежит молодым, стоит только выйти на улицу, чтобы убедиться в этом, молодых на свете куда больше, чем нас, сорокалетних. Но, очевидно, те, которым

сейчас по восемнадцать, думают так же, как и я в юности. Не собираюсь их разубеждать, хотя бы потому, что не считаю себя пожилым человеком.

Мы в своей юности завидовали нашим отцам. Их юность, осененная красным знаменем, летела по фронтам гражданской войны с клинком наголо, и плечи чапаевской бурки закрывали перед ними окоем. Казалось, все героическое, что можно сделать во имя революции, уже сделано отцами, а на нашу долю уже ничего не остается. Еще бы— отцы завоевали Советскую власть, зажгли домны в Сибири и на Урале, построили у океана город, назвав его именем своей юности, покорили Северный полюс, и знаки новой романтики нам трудно было увидеть на чистом небе широко распахнутых горизонтов.

После войны молодежь завидовала уже нашей юности, понемногу отстраивались сожженные города и села, и все героическое, казалось, снова осталось позади. Сейчас парни и девушки, наверное, считают, что романтика была только с первыми покорителями целины. Так, наверно, будет всегда. И ничего плохого я в этом не вижу. Просто молодость примеривает свое плечо к плечу, соразмерному своему, но которое с честью сумело вынести трудность времени и тяжесть подвига. Просто пламя, зажженное в крови первых комсомольцев на ветру Октябрьской революции, бушует не стихая в их крови на ветру истории...

На что способны эти обыкновенные молодые люди, показал недавно всему миру случай. Ураган, пронесшийся у Курильских островов, не выбирал парней покрепче и познаменитей для того, чтобы проверить крепость их духа и физические силы. Сдается мне, что у него были совсем иные планы, если предположить, что ураганы имеют их. Эти четыре парня предстали перед людьми Земли богатырями из народных сказок. Нам, побывавшим на войне, они показались страшно знакомыми ребятами-однополчанами. Все мы помним фотографии четырех героев. На одной из них они были сняты в штатских костюмах, и, глядя на этот снимок, я поймал себя на мысли, что эти костюмы идут им больше, чем гимнастерки. Они им очень к лицу. Наше правительство поставило себе главной задачей и целью добиться всеобщего разоружения. Парней всего мира мы хотим видеть без касок и кованых сапог. Слишком много молодых людей на земле никогда не наденут галстуки и пиджаки. Многим моим друзьям по танковой молодости не довелось это сделать. Гвардии старший лейтенант Леонид Чайка и гвардии техник лейтенант Сер-

чей Белокрылов служили в нашем полку в одном экипаже. Обоим было по двадцать лет, но Белокрылов был подчиненным Чайки. Разные по характеру, они все же были очень большими друзьями. Чайка, быстрый, подвижный, большеглазый, не любил технику и мечтал после войны стать художником. Белокрылов, спокойный, медлительный блондин, обожал технику. В свободное время он всегда копался в машине, что-то регулировал, подтягивал. Инструмент он называл штуковинами, штукенциями и еще разными словечками, произнося их каждое по-особому, но члены экипажа знали, какой именно ключ надо подать механику, когда он кричал: «Дайте мне штуковину!»

Иногда друзья ссорились, и Чайка, решая применить свою власть командира, говорил официальным голосом: «Товарищ Сережа!..» Мы любили смотреть на их ссоры, доставлявшие нам немало веселых минут, тем более что очень скоро все между друзьями шло по-прежнему.

Чайка нарисовал только одну картину: на башне КВ, распластав крылья, парила морская птица, по которой он получил свою фамилию от предков.

Белокрылов своего слова в технике не сказал. Они оба сгорели в бою под Медведем на Новгородской земле.

Я не знаю, каким художником стал бы Чайка, если бы остался жив, чтó изобрел бы для людей Сережа Белокрылов. Этого не знает никто. Кто знает, сколько будущих Пушкиных, Гоголей, Ломоносовых, Циолковских погибло на полях сражений. Молодость отдавала на войне не только свою жизнь, а даже большее, чем жизнь, если есть что-нибудь большее жизни. Она отдавала бессмертие, будущее. Война — злейший враг будущего.

Мы часто называем свою молодежь особой в тех случаях, когда сравниваем ее с молодежью на Западе. Я не считаю нашу молодежь особой. Она не особая, а такая, какой должна быть вся молодежь. Особы условия, в которых развивается наша молодежь.

Капиталистический мир отравляет ядом индивидуализма молодые души. Его искусство твердит о темных силах, которые заложены в человеке от природы, о непреодолимых звериных инстинктах, которые передаются в кровь с молоком матери. Мы же убеждены в ином: человек рождается с жаждой счастья и творчества, нужно только создать условия для него, то есть построить общество, основанное на иных принципах, в корне отличных от принципов капиталистического «рая», где заповедь «Человек человеку — волк» правит душами.

О четырех парнях, покоривших стихию океана, буржуазная пресса писала: «Непостижимо!»

Действительно, для их взгляда на жизнь трудно было понять совершившееся в океане. Ведь по их понятиям в парнях должны были проснуться звери. Но эти четверо выросли в ином обществе, где закон жизни: человек человеку — друг. И все невероятное стало возможным.

Мы строим коммунизм, мы часто называем его образно весной человечества. А что такое весна? Рослые деревья, зимой стоявшие черными и голыми, весной покрываются пухом, листьями и цветами. Семена подорожника и самых невзрачных растений, не имеющих даже собственного имени, дают ростки и становятся листьями и травами. Птицы летят через грозные пространства с южных зимовок к себе на родину, чтобы вить гнезда. Весной у них много хлопот: надо таскать прутья для домиков, они даже пух дерут у себя из брюшка, чтобы устлать их. Весна для пахаря — самая хлопотная пора, он пропадает на поле от зари и до зари, так что ему некогда поесть и отдохнуть, но он ждет весну, как свиданья с невестой. Потому что без весны он не может стать самим собой, творцом, пахарем, снимающим золотые ароматные плоды осеннего урожая. Без весны деревья не могут стать красавцами, дающими людям тень и прохладу и приют птичьим песням, травы не взойдут, у птиц не будет потомства. Без весны в человеческом обществе люди никогда не услышат плеск морей на иных планетах, человек не развернется во всей неслыханной щедрости своего ума и жажда счастья и познания погаснет в нем навсегда.

Молодость всего мира стоит за весну. Она стремится к ней так, как птицы стремятся в далекий полет через бури и грозы. Японская девушка, убитая у стен парламента, поднимает своей смертью тысячи молодых на борьбу за лучшее будущее. Молодость не уступит мир тем, кто может превратить земной шар в обуглившуюся головешку на огне ядерных взрывов, она властно берет его в свои руки. Земля, как голубой цветок с лепестками океанов и золотой пыльцой материков, не для того расцвела среди звезд во Вселенной, чтобы погибнуть. Она расцвела для иной судьбы. Уже отроятся стальные пчелы, чтобы понести бесценную пыльцу жизни в иные миры во Вселенную, земля расцвела, чтобы оплодотворить ее.

Знаки истинной романтики великого творчества начертаны человеческим разумом во Вселенной.

*1961*

### В вагоне

Знакомый, привычный вагонный
Настойчивый стук колеса,
Пластинкою круглой, зеленой
Вращаются в окнах леса.

Как будто из школьной тетради,
То белый, то синий листок,
В четыре линеечки сзади
Квадратного неба кусок...

*1939*

### На реке

Высокий берег прям и крут,
Ивняк сползает вниз по склону...
С утра малиновки поют
Над миром, синим и зеленым.

Кувшинки, как следы зверей
Никем не виданной породы,
Они, должно быть, на заре
Прошествовали здесь по водам.

Тресты упругие ножи...
От радости, не зная страха,
Как очумелые, стрижи
Бросаются в реку с размаха.

А там, в прозрачной глубине,
Сиги проходят голубые,
Ерши с короной на спине,
Лещи, как плахи золотые...

И, все венчая, над рекой,
Как памятник, как некий бонза,
Рыбак уселся молодой,
По пояс отлитый из бронзы.

Ему подвластно все вокруг,
Он глубь реки лесой измерил,
Проверил тишину на звук,
И он в свою удачу верит.

*1940*

## *Водолаз*

В голубоватой мгле реки,
Как дождь серебряный, мальки.

И длинных водорослей лес
Качается у самых глаз.
Реки сверкающий разрез
Увидел водолаз.

По дну, как будто водяной,
Идет он на задание
И раздвигает лес рукой
С особенным вниманием.

Над медной головой река
В голубоватых бугорках.
Идет он, наклонясь слегка,
В пудовых башмаках.

На это желтое плато
Ни разу не ступал никто.
Как на иной планете,
Идет он лесом этим.

Покой, ничем не нарушим,
Здесь пребывал от века.
В коронах золотых ерши
Глядят на человека.

Из-под коряги смотрит сом,
Свернувшись серым колесом.
И золотыми плахами
Лещи сверкают бляхами.

*1940*

* * *

Это дождь идет по сельским трактам
В рыжих глинах и зеленых травах,
Гром гремит, отстав на четверть такта
От зигзага молний на завалах.

По земле бежит вода рябая,
Пузырясь, урча и закипая,

И, штанами волны загребая,
Мальчуганы по воде ступают.

Вся река усыпана гвоздями,
Шляпками серебряными книзу.
И деревья у домов ветвями
Шлепают по окнам и карнизам.

Утки крякают от наслажденья,
Гуси словно ошалелые гогочут,
Дождь — не дождь, а прямо наважденье,
Голубое наважденье. Точно!

*1940*

* * *

По привычке дома не сидится.
Тянет в поле, лишь весна придет.
Вся земля за городом дымится,
В реках всех трещит и тает лед.

Я пойду подсматривать и слушать
Всех ветров рожденье, всех цветов,
Всех дождей, и кваканье лягушек
Среди зацветающих прудов.

По горам пройду и по долинам.
На телеге с неба съедет гром,
И вожак из стаи журавлиной
Мне подарит для стихов перо.

*1940*

* * *

Я друзей, которых ждал, не встретил.
Песен очень мало сочинил...
Где, не знаю, ходит в белом свете
Та, какую крепко б полюбил.
Кто она, хорошая, простая,
Может, и не встретить мне ее...
По планете войны полыхают,
Черной лавой катится зверье.
Молодость моя встает навстречу,
Ей идти в тяжелые бои,

Пулями, расплавленной картечью
Утверждая радости свои.
Может, упадет она на камень
В голубом отеческом краю,
И тогда не встречусь я с друзьями,
С песнями прощусь, не долюблю...

*1941*

## *Октябрь 1941 года*

Когда-нибудь я расскажу об этом,
О времени жестоком, о войне.
Пусть я миную смертные тенета,
Да доведется это сделать мне!

Но если будет Родине угодно,
Пусть лягу я, исхлестанный свинцом,
Лицом вперед,
На грудь земли холодной,
Колени не согнув перед врагом.

...Пройдут года, придут другие люди,
Легка им будет молодая жизнь,
Но будет проклят тот, кто позабудет,
Что нашей кровью
Был залит фашизм!

А я желаю для себя немного:
Лишь мужества, чтобы идти вперед,
И чтоб дошел по всем путям-дорогам
К далеким дням вот этот мой блокнот...

*1941*

## *Февраль 1942 года в Москве*

Вот занялся над Родиной рассвет,
И к нам идет железная победа,
И наши внуки через много лет
Прославят в песнях славный подвиг дедов.

Споют девчата в голубых ночах,
И встанут в песнях нерушимым строем,
В железных шлемах, в русских сапогах,
Простые парни, гордые герои.

Они в ночах морозных, огневых
Легли в бою за город величавый,
По их следам от красных стен Москвы
Идут войска вперед дорогой славы.

Зовет руками белыми берез
Своих сынов земля моя родная...
И враг бежит, фашистский вшивый пес,
Поганой черной кровью истекая.

*1942*

## *Матери*

Ты обо мне, родная, не скучай,
Благословив в тяжелую дорогу.
Пройдет война, и я в любимый край
Опять вернусь к знакомому порогу.

Пролег на запад наших танков след,
Зовет земля, и мы, внимая зову,
Ведем машины вдаль, путем побед,
И в том клянемся верностью сыновьей.

Не надо слез над строками письма...
Встречая пепел вместо сел, средь поля,
И нам бывает нелегко весьма,
Но мы не плачем, зубы сжав до боли.

Сейчас на фронте месяц март, весна,
Уже покрылись ржавчиной дороги,
И так ясна снегов голубизна,
Что кажется, и в мире нет тревоги.

Сияет солнца непреклонный свет,
И снег в полях уж под лучами тает,
И нам идти за ясным солнцем вслед,
Как солнце снег, врагов с земли счищая...

*Март 1942*

## *Подбитый танк*

Вот он поставлен на платформу,
Но все грозит орудьем вдаль,
Хоть копотью густой и черной
Покрылась броневая сталь.

На башне боевые шрамы,
Попробуй подведи им счет...
В атаки он ходил упрямо,
В победу веря наперед.

Подбитый, он собрал все силы:
Пятерка боевых ребят
Четыре дня врага разила,
Летел снаряду вслед снаряд.

Но кончились боеприпасы,
Враги кричали, он молчал...
Огонь над ним штандартом красным
Весенней ночью запылал.

*1942*

## *Весна*

В полях дороги узкие черны,
Идет весна дорогами войны.
Звенит с утра по лужицам ледок,
Своих сынов на запад шлет восток.
Проходит танк, уже зеленый весь,
Весны военной бронзовая весть.
Сидит танкист пригнувшись на броне,
Он рад погоде, солнцу и весне.
Тяжелый танк в далекие пути
За солнцем вслед ему в боях вести...

*1942*

## *Трак*

Говорят, что подкова — счастье.
Как подкова, танковый трак.
Мы нашли его в рыжем насте,
Когда был уже близко враг.

Захромал наш конь, занедужил...
Подорвались мы. Для контратак,
Для починки гусениц нужен
Не подкова — танковый трак.

Мы нашли его в рыжем насте.
Ожил танк, и отогнан враг.
Говорят, что подкова — счастье.
Чем не подкова — танковый трак?

*1942*

* * *

Дым-дымок папироски —
Словно легкая грусть.
Вот хотел, а не бросил,
И бросать не берусь.

Закурю — потоскую,
Вспомню край, где я жил,
Где тебя, золотую,
Навсегда полюбил.

И утонет землянка
Будто в синем дыму,
Здесь девчонка-белянка,
Только где — не пойму.

Не пойму, потому что
Просто нету такой...
Просто было мне скучно
В этот вечер глухой.

И с дымком папироски
Да с бутылкой чернил —
В этой песенке просто
Я ее сочинил...

*1942*

### *Танк „КВ“*

На башне ряд снарядных вмятин,
Он дрался в огненном кругу.
И был его язык понятен
Непонимавшему врагу.

Он грозно ринулся сражаться,
Давя орудия кругом...
Нет, враг не знал, как ленинградцы
С любовью строили его

Под взрывы бомб в цехах просторных,
Забыв про сон, забыв про дом,
Не отходя от жарких горнов
И словно слившись со станком,
Любовью к Родине движимы,
Как среди схваток боевых...

И вышел он, несокрушимый,
Как дух строителей самих.

*10 мая 1943*

* * *

Здесь все озера да болота,
Дорог бревенчатый настил.
Там, где с трудом идет пехота,
Нам снова танки в бой вести.

В краю суровом, невеселом,
Где каждый метр сухой земли
Напичкан до отказа толом,
Чтоб танки шагу не прошли.

За метром метр, в снегу, в болоте,
Здесь снова в лоб нам наступать,
Победу трудную пехоте
Своею грудью добывать...

*1943*

* * *

Танкисту снится время давнее:
Кудрявый городок средь лета,
И домик с голубыми ставнями,
И ночь, в черемуху одетая.
Старинный вальс в саду колышется,
Кружится на дощатом круге.
И голосок танкисту слышится —
Любимый голосок подруги.
Он спит, его лицо суровое
Улыбкой озарилось милой...
А через час сраженье новое
Заполыхает с новой силой.

Чтобы в бою с врагами лютыми
Он яростнее мог бы биться,
Пускай танкисту даль уютная
И городок кудрявый снится...

*1943*

* * *

Друзей немало хоронили,
Погибших под огнем в бою.
Но те, кто снова в бой ходили,
Никто не верил в смерть свою.
Все потому, что, встав по знаку
Ракеты, устремленной ввысь,
Шли в смертный бой друзья, в атаку,
По молодой земле — за жизнь!

*1943*

* * *

В даль веков едва заметной тенью
День уйдет, погаснув навсегда...
Будет лишь такой же день осенний
В день иной, когда пройдут года.

Будет небо темное такое ж,
Будут журавли лететь на юг,
Не найдешь ты в комнате покоя,
Этот дальний день припомнив вдруг...

Будет он до мелочей похожий —
Пасмурный, короткий, дождевой,
И тебе покажется прохожий
Другом на дороге фронтовой.

Он уйдет, сутулясь, в непогоду,
Словно в дым пороховой, в туман —
Ты тогда достанешь из комода
Вороной истершийся наган,

Пару фотографий моментальных,
Письма, пожелтевшие давно,
И в стакан нальешь себе с печалью
Горькое солдатское вино...

*1943*

* * *

Встает стена косматого огня,
Здесь на куски земля и небо рвется.
Здесь стомиллиметровая броня,
Как жестяная, под ударом гнется.

Но, яростны, упрямы, тяжелы,
Идут машины, грудью поднимая
Орудий раскаленные стволы,
Как мамонты, трубя и тяжело вздыхая.

*1943*

## *Танк*

Словно мамонт яростный, упрямый,
Огненный распахивая круг,
Шел он через рытвины и ямы,
Презирая все вокруг,
В сотни лошадиных сил мотором
Фыркая и щелями кося,
Постепенно прибавляя скорость,
Землю тяжкой поступью тряся,
Страхом подавив живую душу,
Скрежетом и струями свинца,
Будто бы из тьмы веков минувших
Вырвавшийся, грозный до конца.
И тогда над узкою траншеей
Человек в шинели во весь рост
Встал пред ним, похожий на пигмея.
Так единоборство началось!..
Человек занес над «зверем» руку,
И тогда-то, смыслу вопреки,
Вздрогнув, заревев в смертельной муке,
Танк остановился от руки.
Тяжкая слетела гусеница,
Влилось пламя в щели, как вода...
Человек, усталый, бледнолицый,
Пот со лба отер рукой тогда,
Хрипло прокричавши напоследок
Голосом, от радости чужим...
Может, так его далекий предок,
Мамонта сразив, кричал над ним.

*1943*

* * *

Всю ночь обрушивались наземь
Разгневанные небеса.
Всю ночь ракетами за Назией
Враг освещал в упор леса.

Он разглядеть упрямо силился
Чего-то в темноте не зря.
Всю ночь тянули пушки «виллисы»,
Разбрызгивая лихо грязь.

Пехота шла в траншеи длинные,
Промытая дождем насквозь.
Накапливалась в первой линии
Траншей уверенная злость.

И день пришел полоской узкою
Рассвета, как приказ «Вперед!».
Тогда обрушилася русская
Земля на немца в свой черед.

В шинелях серых, с автоматами
Пошла в атаку напролом.
И впереди нее раскатывал
Из раскаленной стали гром...

*1943*

* * *

С броней танкисты дружат третий год,
Она в боях ребят не подведет.
Ее отцы и деды на Урале
Сварили сами, сами отливали.
И матери на тихих полустанках
Крестили поезд, в бой везущий танки...

*1944*

### *Формуляр*

В войне моторов краток век мотора.
Мотору гарантийная дана
Неделя лишь, в течение которой
Он безотказен, как часы, сполна.

Поэтому учет ведется точно,
Для танка формуляр необходим.
В нем до минуты учтено построчно,—
Жизнь дизеля, коль надо, проследим.

Хранит бумага, сообщают знаки.
Взгляни в журнал — узнаешь до конца
Часы похода и часы атаки...
Скупая биография бойца.

*1944*

* * *

Когда-нибудь потомок дальний
Пойдет бродить и жизнь смотреть
В краю дерев пирамидальных
И вдруг увидит на заре:

Где мир цветущий громко славят
Птиц неуемных голоса —
По башню танк в болотной ржаве,
В глухих завязнувший лесах.

Как будто мамонт непривычный,
Среди цветов чернеет он,
Свидетель гордого величья
Суровых дедовских времен.

И по угрюмой толще стали
Поймет потомок, как с врагом
Деды, что витязи, сражались
За счастье светлое его.

*1944*

* * *

Мы ушли на заре,
Словно тени косые,
Под землей наши руки с корнями сплелись.
И не слышим мы — дождь ли идет по России,
Или дымом сугробы в полях завились.

Тишина, о которой мы столько мечтали,
Черным камнем легла на разбитую грудь.
Может быть, петухи на Руси закричали,
Но и им тишины не спугнуть, не вспугнуть.

Только хруст корневищ сквозь прогнившие кости,
Только голос подземных ручьев...
На забытом, поросшем крапивой погосте
Мы лежим, может, год, может — тыщу веков.

*1944*

* * *

*А. Матросову*

Нелегко умирать довелось им
В неуклонном стремленье вперед...
Как серпом подрезают колосья,
Их подрезал в снегу пулемет...
Пресловутый закон притяженья
Здесь открыть без Ньютона могли б.
И живые лежат без движенья
И не могут подняться с земли.
Но встает паренек под прицелом,
Грудь его — словно горный хребет.
Он от Родины собственным телом
Закрывает врага пулемет.
И уходит его молодая
Жизнь слепящим мгновеньем в века,
Во весь рост за собой поднимая
По широкому фронту войска...
И победе Москва салютует,
И хоронит бойца батальон,
А солдаты в минуту такую
Открывают отваги закон.

*Февраль 1945*

## *Ночные бомбардировщики*

Какая ночь! Шумят, поют березы,
И даже слышно, как вверху прошли
Рокочущие клинья бомбовозов
Над темными просторами земли...

Как будто кони мчались по зениту,
Роняя искры вниз, из-под подков...
Тяжелыми копытами зениток
Протоптана дорога ночников.

Над ней занесены, над городами
Слепящие багры прожекторов.

Аэростаты с рыбьими хвостами
Закинуты до самых облаков.

Но через все преграды неуклонно,
Раскалывая клином облака,
До вражеских объектов обреченных
Они прорвутся уж наверняка,

Чтобы родное небо стало разом
Для всех врагов зловещим и чужим,
Чтобы оно обрушивалось наземь,
На головы, все превращая в дым,

В золу и пепел, в ярости мятущей,
Сводя с ума деревья. И тогда,
Мигнув огнями, повернет ведущий
В обратный путь крылатые суда.

*1945*

* * *

Ни травинки на ней, ни куста,
Окаянная высота.
Окаянная, дорогая,
Потому что с бою взята.
В жарком поте, в крови, в пыли —
Только пядь планеты Земли.
Снайперы, дорожа патроном,
Бьют на выбор, наверняка.
И дрожит над кремнистым склоном
Одуванчик седой, дыша.
Умереть на ней легче людям.
Трудно жить на ней в этот час,
Прижимаясь к суглинку грудью
И с врага не спуская глаз.
Я доподлинно это знаю,
Не выдумывая ничуть:
Это юность моя боевая
Укрывает за камнем грудь.
Это мне подниматься надо
Над камнями, над высотой,
Обнимая шейку приклада,
Принимая сегодня бой...

Багровая струйка бежит у виска,
Сжимает гранату упрямо рука.
Мне надо под пули решительно встать,
Гранату его неостывшую взять
Из пальцев железных, холодных, сухих
И бросить ее за двоих.

*1945*

* * *

Когда над самой головой
У нас враги приклад вздымали,
Под Ленинградом и Москвой
Мы наших предков вспоминали.

В траншеи Невский шел к бойцам
С Суворовым одной походкой...
В тот час не двадцать было нам —
России были мы погодки.

В атаку с нами шли года,
Шел русский дух непобедимый.
Мы не срамили никогда
Великих предков наших имя.

А внуку будет тяжелей.
В ночь отправляясь на разведку,
Он вспомнит, как богатырей,
Нас, все видавших в жизни предков.

Воспоминанье укрепит
Его в суровую годину,
И память он не посрамит
Завоевателей Берлина.

*1945*

* * *

Вздохнула наконец легко
Земля, под пеплом оживая,
И стало видно далеко
Солдату в этот полдень мая:
Европу всю из края в край,
Америки далекий берег
И цепи журавлиных стай
Над деревушками под Тверью,

Туманы в лондонском порту,
Над Индией дожди косые...

Вот на какую высоту
Взошел солдат родной России!

*1945*

* * *

Приснится когда-нибудь лето,
Далекий и жаркий июль,
И черная в небе ракета,
Да посвисты тонкие пуль.

Гудела угарная башня,
Тяжелая башня «КВ»,
Снарядами взрытая пашня,
Патроны на рыжей траве.

И лето знакомое это —
Когда оно было, когда!
Над ржавым болотом ракета
Висела как будто звезда...

*1945*

* * *

Мчится поезд в поле рыжем
И кричит на перегонах.
Дождик то и дело брызжет
В синие глаза вагонов.

Козыряют семафоры
У сосновых остановок.
На почтовом номер сорок
В детство я уеду снова.

На шоссе череповецком
Я с полуторки открытой
В городок, как в память детства,
Спрыгну, всеми позабытый...

Сброшу вещмешок к порогу,
Принимай, родная, сына,
Вот и кончена дорога.
В Белозерск — через Берлин нам.

*1945*

* * *

Легко и кратко
гикнул пароход,
И брошены на гулкий
берег сходни,
В мечту доска
скрипучая ведет,
Мечта, ты былью
сделалась сегодня.
Кровь ударяет
тягостно в виски
И вдруг уходит,
как вода прилива.
Мы возвратились снова,
земляки,
Родимые березки
над обрывом.
Твоя обетованная
земля —
Проселочная желтая
дорога.
По тысяче иных
путей пыля,
Ее одну лишь
в памяти сберег он.
Иди по ней, иди,
не чуя ног,
Слез не стыдясь,
скупых и одиноких.
Мигает синим глазом
василек,
Звенит трава, и лес
шумит высокий.
Кукушка надрывается —
к чему?
Сейчас она судьбу
тебе пророчит,
Ведь ты вернулся
к дому своему,
И ты года сейчас
считать не хочешь.
Мгновенье это стоит
жизни всей,
Неповторимый ветер
хлынул в душу.

Припасть к земле,
на бархат зеленей,
И голоса отчизны
долго слушать —
Протяжные, как
клекот журавлей,
Глядеть в ее глаза —
не наглядеться.
Что может быть
прекраснее на ней,
Чем этот уголок,
просторный с детства?
В тропинке светлой,
в шорохе берез
Оно живет, годами
не задето,
В тележной песне
медленных колес,
В неуловимых звуках
и приметах.
Деревья развеселою
гурьбой
К тебе навстречу
опускают руки,
И кланяются ивы
над рекой,
И нету больше
на земле разлуки.
Вот женщина
навстречу по стерне,
От солнца вся
как будто золотая,
Идет. Остановилась
в стороне
И вслед тебе глядит
не отрываясь.
Да где тебя теперь,
солдат, узнать,
Ты усмехнулся ртом
сожженным криво,
Но вдруг подумал,
как заплачет мать
Не оттого, что инвалид,
что жив он!

И нипочем испуг
в глазах чужих
И бабья
нескрываемая
жалость...
Дорога вырывается
из ржи,
Совсем немного
до избы осталось...
И солнце бьет
в багровое лицо,
В калитку сердце —
не рука стучится,
И взяться за железное
кольцо —
Как будто вдруг
со счастьем обручиться.

*1945*

* * *

Я сегодня вышел в ночь влюбленный,
В мир до самых отраженных звезд.
Не дергач скрипел во ржи зеленой,
То земная скрежетала ось.

Шар крутился, накреняясь грозно,
Так, что сосны дикие в лесу
С неба заполуночные звезды
Сучьями сшибали, как росу.

Как ерши в воде густой, зеленой
Стаями, сверкая чешуей,
Шишек рыжеватых миллионы
В хвое проносились предо мной.

И казалось мне, что стал я тоже
Деревом косматым средь дорог,
И по мне необъяснимой дрожью
Прянул жизни бессловесной ток...

*1945*

## *Подо Мгою*

На старый рубеж подо Мгою
Пришел на рассвете солдат.
Места отшумевшего боя
В тиши и туманах лежат.
Он здесь воевал в сорок третьем,
Но память была ни при чем,
Когда он увидел, как ветер
Взмахнул над лесами огнем.
В атаку высокие ели
Пошли полукругом вперед
В тяжелых зеленых шинелях,
Забрызганных грязью болот.
Косматыми взрывами сосны
Взлетают над черной землей,
В бинтах умирают березы,
Гремит нескончаемый бой...
А ели в атаку в долинах
Идут и идут на ветру,
И флагом багряным рябины
Над дотом горят на бугру.

*1945*

* * *

Под толщей вод, на дне песчаном,
Вдали от берегов земли,
В глубинах синих океана
Ржавеют тихо корабли.

Пустынны палубы. У борта —
Медуз прозрачные дымки...
Расположилися с комфортом
В каютах крабы и рачки.

Высоких водорослей зелень
Прямые мачты оплела,
На мертвом замерли прицеле
Орудий длинные тела.

Истлели в башнях комендоры.
Бугриста в ракушках броня.
И только стрелки на приборах
Горят, в далекий путь маня.

Показывая север с югом,
Фосфоресцирует компас.
А на часах, где цифры кругом,
Три года длится первый час.

Знать, в полдень или в полночь, может,
С огнем и дымом без труда,
Перегородки покорежив,
В каюту ворвалась вода.

Но не о помощи взывая,
Радист, руки не сняв с ключа,
«Мы не сдаемся, умирая»,—
В эфир настойчиво стучал.

На мачтах флаги полыхали,
Пока не скрыла их волна...
В суровой простоте печали
Сошла на море тишина.

*1945*

* * *

Где ядра раскаленных помидоров
С мохнатых стеблей шлепаются наземь,
Стучал кузнечик маленьким мотором,
Как робот, голенаст и несуразен.

Шли муравьи, закованные в латы,
Тяжелыми клешнями угрожая,
Как войска неизвестного солдаты,
Мне в руку шпаги яростно вонзая.

Рогатый, как олень, с какой-то целью
Упрямый жук ворочал комья глины,
И пыль на металлическую спину
Ему ложилась.
На зубах хрустели

Песчинки, как булыжник. Жизнь кипела.
Точили листья гусеницы. Травы,
Топча друг друга, пробивались к небу —
Жить непременно все имели право.

Качалась на цветке и руки мыла
Оса, в трико с полосками одета.
А я, как бы на мир иной планеты,
Глядел на все и заслонял светило.

*1945*

* * *

Падает с неба тихо звезда,
Травы звенят под ногами в росе,
Что мне сейчас на звезду загадать,
Чтобы желанья исполнились все?

Танцы играет гармонь за рекой,
Моет вода камыши в тишине,
Месяц березовой желтой клюкой
Щупает черные камни на дне.

Вот погрущу, у реки постою,
Встречи с тобой помяну и пойду,
И про рябину негромко спою,
И, помолчав, закурю на ходу.

*1945*

* * *

Ну что судьба — ты на нее не сетуй:
Неповторимо наше бытие.
Она тебя вела по белу свету
И сохранила в тысяче боев.
Мир многоцветен, груб и многогранен,
В нем жажды до конца не утолить,
И не предвидеть ничего заранее,
И никогда не отхотится жить.
Жить так, чтоб за спиной широкой вьюга,
Чтоб звездная метелица мела,
Морозы тундры, злое солнце юга,
И день и ночь, горячий свет и мгла,
Чтоб рушилось и снова возникало,
Чтоб солью пропитался воротник,
Чтоб в руки въелась изморозь металла,
Огонь в тугие мускулы проник,
Чтоб шли деревья сильными ногами,
Чтоб плакали и пели поезда,

Булыжники гремели кулаками
И трепетала синяя звезда,
Чтоб где-то на сосновом полустанке,
В далеком и неведомом краю,
Девчонка, босоногая белянка,
Вдруг загляделась в молодость твою.
Пройдут года, и с женщиной любимой
Когда-нибудь неправду ощутишь,
Ты вспомнишь полустанок, клубы дыма
И вновь о невозвратном загрустишь...
И вновь не будет на́ сердце покоя,
Тебе простор откроется иной.
Пить жар степей, смолистый запах хвои,
Цветов и трав томительный настой.
Лугам не сохнуть, не иссякнуть водам,
Не надышаться воздухом тебе,
Не запроситься на покой и отдых,
Не изменить товарищам в борьбе.
Взгляни на мир широкими глазами,
Завещанный друзьями в смертный час,
И вот ты, весь его увидев, замер...
От полюса до полюса, лучась,
Земля вертится, накреняясь грозно,
И метлы пальм на тропиках с небес
Сметают заполуночные звезды,
И вздрагивает в них, сверкая, Южный Крест.
Дымятся горы, необычно юны,
Пьянит кристальный воздух, как вино.
За жемчугом ныряльщики в лагунах
С ножом в руке кидаются на дно.
Геологи втыкают альпенштоки,
К отвесным скалам привалясь плечом,
И день встает горящий на востоке,
Не кончившись на западе еще...
Костры горели где-то на привалах,
Ни на минуту мир не замирал.
Все в нем перекликалось, трепетало,
Ворочалось, сшибалось наповал.
Невпроворот свирепая живучесть
Бурлит на скалах горяча.
Земля свою положенную участь
Несет, как солнце, на литых плечах.

*1945*

* * *

Февраль приходит, как бесчинство вьюги,
В холодном царстве матушки зимы,
И колесят ветра по всей округе,
Темно в полях от снежной кутерьмы.

Бредут домишки, нахлобучив шапки
Почти до плеч, и ухают в снега,
Как будто сена белого охапки
Несет и сыплет по земле пурга.

И все бело. Да, все повсюду бело,
Вот только за околицей ветла,
Черным-черна, куда-то очумело
Бредет, качаясь, в поле от села.

И только месяц тучи прорезает
Над головой, как бронзовый топор.
А я стою, дыханием стирая
Со стекол льда затейливый узор.

Но только стоит мне глаза зажмурить,
Как за окном начнется сенокос,
Запахнет мятой снеговая буря
И жаркой степью вдруг дохнет мороз.

*1945*

* * *

На фоне нарисованного сада,
Где статуи белеют и дворцы,
Четыре парня как-то снялись рядом,
Совсем еще безусые юнцы.
Они глядят восторженно с портрета
В даль из забвенью преданного дня.
А крайний паренек по всем приметам
Похож на непохожего меня...
Смешные неуклюжие мальчишки,
Им даже в снах не снилось —
В дым, в огонь шагать,
Жить, как тому не обучали книжки,
Спать на снегу, пить спирт и убивать...

*1945*

* * *

Где вы, синеглазые солдаты,
Девушки в пилотках и шинелях,
Светлые виденья медсанбата,
Что склонялись тихо над постелью?

Это вы горячими ночами
Глаз по трое суток не смыкали,
Девичьими слабыми руками
Нас от верной смерти отстояли.

С нами рядом молча шли в колоннах
Под одной звездою на пилотках.
Это вас, бывало, поименно
Называли в кратких оперсводках...

Но в войне не огрубели души,
Нежность в сердце глубоко хранится.
Славные Маруси и Катюши,
Что вам нынче, синеглазым, снится?..

*1945*

## *Юность, война и слава*

Забытый орудийный гром
Мне память по ночам тревожит...
Да, я не в силах об ином,
Да, я пишу о том и то же.
Мои старинные друзья,
Ровесники,
однополчане,
Из тех, кого забыть нельзя,
Тем паче обойти молчаньем,
Не вытирая с ног земли,
Шинелей не стряхнув при входе,
Какими в жизнь мою вошли,
В мои стихи сегодня входят.
Лишь час назад окончен бой,
И через час опять сраженье...
Вновь дым газойля голубой
И башен тяжкое вращенье...
Поскрипывает тишина
Под коваными каблуками.

Встает ущербная луна
И разбивается о камень...
Пропахший порохом простор,
Полотнища зари и дыма
Косматый ветер распростер.
Сквозь все пройти необходимо.
Огонь по плечи.
Снег по грудь.
Упала из-за туч ракета.
И вновь неповторимый путь
Ты повторяешь до рассвета.
И вновь лить кровь у Мги на мхи,
Тонуть на нарвской переправе...
Вот так рождаются стихи
О юности, войне и славе.

*1945*

## *Командир танка*

*Поэма*

*Памяти Героя Советского Союза*
*гвардии лейтенанта Ивана Малоземова,*
*товарища юности, посвящается*

Заходи в мое стихотворенье,
Запросто, как в дом родной входил.
Силой своего воображенья
Я хочу, чтоб ты на свете жил.
Песни пел, плечистый, крутолобый,
Обнимал девчонок на ветру,
В честь Победы с земляками чтобы
Пива выпил на честном пиру.
Посмотри, настала жизнь какая —
Время песни петь, поля пахать.
Вся земля летит, благоухая,
Вся в цветах и травах — не узнать.
Журавли трубят отбой тревоге,
Ласточки под крышей гнезда вьют,
Дымом золотым пылят дороги,
И домой все воины идут.
Бомбы не раскалывают зданья,
Не гремят орудья — тишина.
Навсегда теперь воспоминаньям
Отдана жестокая война...

Дни сражений сделались историей,
Но средь них я вижу без труда
Эту ночь багровую, с которою
Ты остался вместе навсегда.
Встанем рядом, на судьбу не сетуя,
И войдем в гремящий Сталинград.
Эта ночь рассвечена ракетами,
Минами лютует наугад.
Огневая, черная, фугасная,
Пылью известковою пылит...
Тусклыми поблескивая касками,
Санитары парня пронесли.
Пронесли и скрылись под развалины...
Пахнет кровью в блиндаже — от ран,
Морем — от йода... Опечаленный,
Встал у входа старший лейтенант.
«Тихо, парни...» Будто за разрывами
Раненые слышат голоса...
И стоят танкисты молчаливые
Перед блиндажом, как на часах,
Чтоб в него не пропустить к товарищу
Злобную каргу — кривую смерть,
Крикнуть ей: «Не на того ты заришься,
Уходи отсюда вон, не сметь!»
Не тебе с ним сладить, тварь болотная,
Если от гвардейца жизнь ушла,
Родина в бессмертие возьмет его
За его геройские дела...
Он лежит осколками иссеченный,
Бледный, с непокрытой головой,
Орденами многими отмеченный,
Парень вологодский молодой.
Мой товарищ юности, которую
В сорок первом горестном году
«Юнкерсы» разбили двухмоторные —
В пламени, в развалинах, в чаду...
Знает, шедший большаками длинными,
Опаленный, черный, как июль,—
В эти дни мы сделались мужчинами
Не в любви, а после первых пуль.
Пусть они запомнятся надолго нам,
Но надолго нас переживут
Дни и ночи города над Волгою,
Те, что славой мира назовут.

У времен — морями-океанами,
Дымкой золотистою былин,
Знаю, они встанут, осиянные,
В голубой немыслимой дали.
Славой окруженные безмерною,
В радостные тихие года
Не рожденные еще Гомеры
Воспоют героев навсегда.
А пока, во имя старой дружбы,
Я — солдат и не хочу молчать,
Дайте мне о брате по оружию,
Мне, как современнику, сказать...

Землю до морей и океанов,
Стягивая накрест, как ремни,
Поперек и вдоль меридианов
Пролегли стремительно они —
Дымные железные дороги,
И по ним, мимо лесов и гор,
Пролетают поезда в тревоге,
Оглашая лязгами простор.
В молодых березняках по пояс,
Искры осыпая на бегу
На траву и на деревьев хвою
В ливни дождевые и пургу.
Сталь Урала, хлеб сибирский сытный,
Ишимбаевский газойль и спирт —
Все, что нужно для великой битвы,
Битвы, что на западе гремит.
Все для битвы. И глядят березы:
На платформах танки, как слоны,
Хоботы орудий подняв грозно,
К западу лицом обращены.
Все для битвы. И в теплушке тесной
Парни молодые — на подбор —
Варят кашу, вспоминают в песнях
Девушек из-за Уральских гор.
Свертывают злые самокруты,
Чистят пистолеты у окна.
В дым одета и в огни обута,
Где-то поджидает их война.
Где-то ходят фрицы, им которых
На войне положено убить.
Руку поднимают семафоры,
По уставу, как должно и быть,

Воинским приветствием встречая
Эшелон по всей стране родной.
Песенку негромко напевая,
Едет в нем на фронт товарищ мой.
Курит вместе с хлопцами махорку,
Ведома ему давно война,
У него горят на гимнастерке
Алою эмалью ордена.
Встретил он войну еще в «бэтушке»,
От границы на седьмой версте...
Мелкого калибра даже пушки
Пробивали этот танк «БТ».
Но и в нем с отвагой беззаветной
Шел на батареи по траве...
Ведь рудой еще лежали где-то
Танки знаменитые «КВ».
Вспомним это время горевое,
Поражений тягостные дни,
Как мы толковали перед боем
Меж собой, с надеждою, о них.
И легенда даже шла такая,
Жаркая, простая, как завет,
Будто где-то танки выпускают
Посильнее даже, чем «КВ».
«Родина» — названье танкам этим,
Неподвластным минам и огню,
Никакая силища на свете
Не пробьет их гордую броню.
«Родина»... (Легенду вспомним снова,
Ведь в дыму и пламени атак
Люди не случайно этим словом
Называли легендарный танк.)
Родина! Как танк неумолимый,
Встала ты и вышла в грозный бой,
Никаким огнем неопалима
И с непробиваемой броней.
А «КВ» — они существовали.
Позабыв про отдых, в том году
Шахты днем и ночью на Урале
Выдавали на-гора́ руду.
Золотые руки колдовали
Много дней над нею и ночей.
Отлили, сварили, отковали,
Звезды сбоку вывели на ней...
Ненавистью лютою движимый,

В днях труда, как в схватках боевых,
Вот и вышел танк, несокрушимый,
Словно дух строителей своих...
О таком мечтал он, и, счастливый,
Получив машину, мчал назад
Лейтенант — в гвардейский полк прорыва,
В город нашей славы Сталинград.

Ночи свётлы, а рассветы мглисты.
День и ночь без отдыха подряд,
Из машин не выходя, танкисты
Защищают город Сталинград.
Вот к рассвету приутихло малость.
Курят парни, думой заняты.
Одолев железную усталость,
Достаешь конверт с бумагой ты...
Думаешь, подняв высоко брови,
Пишешь в край отцовский письмецо...
Далеко за тыщи верст, в Пестове,
Мать опять выходит на крыльцо.
Почтальона ждет она с тревогой,
Погадает в карты, погрустит...
Видно, не найдя домой дороги,
Письма затерялися в пути.
Где ей знать, что в этот час тревожный,
В перерыве кратком меж атак,
Сын письмо ей дописать не сможет,—
Вновь атаку начинает враг.

Вот опять огонь сверкнул багряный,
Взрывы, словно черные кусты,
Вырастают всюду непрестанно —
«Юнкерсы» заходят с высоты.
Падают свистящие фугасы,
К небу пыль кирпичная встает.
Воздух перекрещивают трассы,
Пулемет рычит на пулемет.
Грохот приближается моторов,
И по камню волжскому визжат
Гусеницы танков, на которых —
Комья глины десяти держав.
Но на волжских опаленных глинах
Оставаться им ржаветь навек...
Начинает с ними поединок
Из засады русский танк «КВ».

Любо, приложившись к панораме,
Прокричать сквозь пулеметный лай,
Как кричишь ты: «Бронебойным прямо,
По фашистским гадам, заряжай!»
Любо — гильзы масляное тело
И снаряд в казенник протолкнуть,
Тонким перекрестием прицела
Свастику паучью зачеркнуть,
Чтоб под бронебойною гранатой
Раскололась надвое броня
И над башней черной и горбатой
Вырос сноп багрового огня.
Ты не раз уже изведал это,
И опять враги горят, горят...
В черном дыме падают ракеты,
За снарядом вслед летит снаряд.
Бой идет тяжелый и неравный,
Немцев больше втрое... «Не беда!
Пусть их больше, значит, больше славы
Будет нам!» — ты вымолвил тогда...
Вот они стоят, подбиты, рядом,
В пламени, как в копнах спелой ржи.
«Лейтенант, окончились снаряды...» —
Младший мехводитель доложил.
А из дыма вновь идут, качаясь,
На броне чернеются кресты...
Пот со лба рукою отирая,
Что подумал, что ответил ты?
За твоей спиной стоит Россия,
Матери с детишками в руках,
Длинные дороги верстовые,
Тонкие березоньки в бинтах.
Алыми знаменами рябины
Заклинают, голос подают.
Устоишь — и села Украины
Вновь родные песни запоют.
Устоишь на Волге — и на Шпрее
На колени город упадет,
Грозный танк по липовой аллее
Паренек с Арбата проведет.
Год наступит ясный сорок пятый,
Тишина обнимет города...
«Дайте песню, если все снаряды...» —
Экипажу ты сказал тогда.

Дайте, дайте экипажу песню,
Я ее в поэму позову...
...Это время гордое, воскресни,
Повторися в песне наяву!
Песня начинается несмело,
И в начале песни — на врага
Самолет пылающий Гастелло
Посылает через все века.
А за ним — в гремящем Сталинграде,
В захлестях свинцовой злой пурги,
Расстреляв в сраженье все снаряды,
Малоземов сел за рычаги.
В миг, когда, казалось, враг прорвется,
На броню пошла в упор броня.
Поднимает парень вологодский
На дыбы машину, как коня.
Не было раздумья и вопросов!
Вся страна в дыму от контратак.
И с размаху Малоземов бросил
Сталь на сталь, гремящий танк на танк,
Пусть броня гудит и сыплет искры,
Но с машиной бьется сердце в лад...
Разворот — и снова на фашистов
Он ведет машину, как снаряд.
И тогда стихает ветер чадный,
И встает Победа, но в упор
Враг в последний миг «КВ» снарядом
Поражает из засады в борт.
Черный дым вздымает над мотором
Лютая, нежданная беда...
И тогда приходит ночь, с которой
Ты остался вместе навсегда.
...Бой утих, и тишина надолго
Опустилась к травам и домам.
Дым войны рассеялся над Волгой,
Как над Белым озером туман.
Школьный тополь так же над водою,
Над прудом, опять в валу́ стоит,
Кажется, веселою толпою
Подойдут к нему друзья мои.
Выйдут одноклассники, которых
Раскидала по стране война.
И припомним мы за разговором
Славных одногодков имена...

Вновь весна шумит над Белозерьем,
Вновь цветут черемухи в садах...
Мы ряды товарищей проверим,
Сколько их погибло на фронтах!
Чтобы солнце ясное не застил
Никогда осатанелый враг...
Вспомним их, добывших это счастье
В грозном реве танковых атак.
Встанем пред родными именами,
Добрым словом павших помянем...
Вот горит Победы нашей знамя,
Кровь друзей священная на нем...
Никогда с забвеньем не знакомо,
Сердце помнит — что́ ему года!..
Пусть придет Ванюша Малоземов
В розовой рубахе, как всегда,
Смуглолицый, крепкий, кареглазый,
Полный свежих, юношеских сил,
И зайдет в стихотворенье сразу
Так, как в жизнь хозяином входил,
Чтобы жить и странствовать по свету,
Песни петь и слушать шелест трав,
Заходить в поэмы и сонеты
К будущим поэтам по утрам.

*Май 1945,*
*Белозерск*

* * *

Может быть, столичный житель этот
Городок в краю лесных озер
Назовет не в шутку краем света,
Чудом уцелевшим до сих пор.

За сто верст не слышно паровозов,
Только ветра вой и кутерьма.
Дремлют в палисадниках березы,
Заметает улицы, дома.

Выйдет месяц кованый и тонкий,
На сто верст леса, куда ни глянь.
В клубах пляшут в валенках девчонки
Старомодный танец падеспань.

Сторож, будто колокол овчинный,
На пустынной площади застыв,

Слушает до полночи старинный,
С юности заученный мотив.

Только это вовсе не приметы
Старого, лесного городка.
Гром дизельмоторного рассвета,
Слышишь, залетел издалека.

Тонкие поют электропилы,
Трактора уходят не спеша,
Ставят где-то плотники стропила,
Санная дорога хороша.

Рыбаки в отменных полушубках,
От коней усталых пар валит.
И снежок морозный, звонкий, хрупкий,
Словно дымчатый хрусталь, звенит.

*1946*

* * *

До вершин занесена снегами,
Холодна, пустынна и кругла,
Голубыми легкими тонами
На равнинах серебрится мгла,

Где сугробов голубые башни
До небес не достают чуть-чуть...
Будто дымный след пурги вчерашней,
Распластался длинный Млечный Путь.

Затеряться б в призрачном сиянье
И потом еще раз, в век иной,
Пролететь над спящим мирозданьем
И погаснуть на земле звездой...

*1946*

* * *

Январь трещит морозами,
Пургой дымят поля,
А май ударит грозами —
И зацветет земля.

Проходит ночь косматая,
Лишь звездами пыля,

Вспорхнет заря крылатая —
И свет во все края.

Пусть бедами, ненастьями
Нас обжигает век,
Но твердо верит в счастье
Упрямый человек.

*1946*

* * *

Что-то в области сердца...
Умру не в постели —
На ногах, как солдат умирает в бою.
Смерть придет и пристрелит меня на панели,
Милицейские тут же меня отпоют.

Не хочу,
Чтобы мне подавали машину —
Голубую, с малиново-алым крестом.
Уберите от ног эти черные шины:
Я привык путешествовать только пешком.
Я умею ходить.
Подымите меня, ради бога,
Столько лет я учился ходить по земле,
Столько знал я дорог. И последняя эта дорога —
Нипочем. Я дойду, хоть ее и не видно во мгле.

Не имеете права
Меня потрошить. Как вы смели?!
К черту морги, в них пахнет...
Откройте в земле мою дверь,
Постучите лопатой,
Взломайте ломами...
В апреле
Не оттаяла почва,
Но вы потрудитесь теперь.

*1946*

* * *

Снова где-то плачут коростели,
Желтая разрыв-трава шумит.
Умер день, упали тени,
Дождик застоялся у ракит.

Снова я от грусти непонятен:
Смутные надежды растеряв,
Не ищу на свете благодати,
Слушая предсмертный голос трав.

Лето, лето, ты не время года,
Протестую, требую, молю:
Не сдавайся лютым непогодам,
Жизнь и свет, я так тебя люблю.

Знаю, по весне поднимут снова
Новые цветы свои глаза,—
Не хочу пришествия иного,
Пусть гремит вновь летняя гроза!

Мир в жестокой смене всех явлений,
Что ж, тебя приветствую таким
За череду несчетных обновлений,
Зная, что и сам я преходим.

*1946*

* * *

Из комнаты светлой и тишины,—
Порог, как мифическая черта,—
Я выйду за дверь. Ни звезд, ни луны,
А в воздухе духота.

Ночь непролазная, как тайга,
Выкалывает глаза.
Но где-то вода летит в лога,
Как поезд на тормозах.

Кричит заблудившийся пароход,
На мачте осколок луча,
И глухо двенадцать часов пробьет
Невидимая каланча.

В такое время из портов идут
Усталые корабли,
И раций в жарком и частом бреду
Зовут позывные земли.

*1946*

* * *

На рассвете холодок от плит
Каменных. Пустынные кварталы.
Город, окна занавесив, спит,
Натянув по плечи одеяла.

Спать на подоконниках цветам,
Сторожам в тулупах не проснуться,
На каналах выгнутым мостам
Хочется калачиком свернуться.

Тишина стоит на площадях.
Кажется, что в ней услышать можно,
Как под самым Тихвином в лугах
Кони щиплют травы осторожно.

*1947*

* * *

Поют невидимые птицы,
Деревьям шевельнуться лень,
И знойным маревом струится
Спокойный и пустынный день.

Идет дорога полевая
И счет следам весь день ведет:
По ней неспешно проплывают
Возы тяжелые вперед,

Прямые ленты оставляя
И полумесяцы подков,
И с правого обычно края
Следы хозяйских сапогов.

Грузовичок пахнёт бензином.
Узор, как птичий след, хитер,
С горы спускается в низину
И вновь бежит на косогор.

Вот тра́ктора — прямой, глубокий —
След отпечатанный. Под ним
Велосипеда змейка сбоку
И лунки пяток ребятни.

Читай дорогу, словно повесть
Об этом крае, что иным
В траве, в густых лесах по пояс
Покажется пустым, глухим.

*1947*

* * *

Вот звезда покатилась ранняя,
Очень близко, рукой подать,
По преданью, я желание
В этот миг могу загадать.

И оно непременно сбудется,
Так уж люди все говорят,
Что-то в этом хорошее чудится,
И придумано так не зря.

Что задумаю — жить до старости,
Может, тыщу друзей иметь,
С поездами дружить и с парусом,
А настанет час — умереть.

Так, чтоб люди сказали искренно:
Жил весь век, не кривил душой,
Жизнь любил, хоть немало выстрадал,
И хотел бы пожить еще.

*1948*

* * *

Мне кажется, что это было так,
Что шли к Земле тяжелые ракеты
Сто лет подряд в багровых вспышках света,
Не возвращаясь никогда назад,
Покинув навсегда свою планету.
Встречала их Земля гремучим адом,
Потоками, низвергнутыми с неба,
Гигантскими деревьями, жарою,
Слепящим светом, бронебойным градом,
Над ней струился пар, клубились гады,
Железный воздух рвал грудные клетки,
И тяжесть разрывала сухожилья,
И от избытка влаги жгло сердца.

Но как они при этом были рады
Земному урагану изобилья —
Здесь жизни может и не быть конца.
Переплывая огненные реки,
Сражаясь с мастодонтами в чащобах,
Перелетая с полюса на полюс,
Они решились жить на ней вовеки,
Они остались здесь, на доброй, злобной,
Скупой и щедрой девственной Земле.
И где-то посредине океана
Огромный остров отвоеван был,
Как центр цивилизации урана.
И город здесь впервые воспарил.
О, белое виденье Атлантиды
В бездонной глуби памяти людской,
Висячие сады Семирамиды,
Воображенье с неземной тоской.
Как трудно отвоевывалось счастье,
Не уступал и не сдавался воздух,
От необычного пришельцы гасли,
Но не было уже пути назад.
И Землю в руки брал творец и мастер,
Уран был добыт, поднят город-сад.
Но в ночь одну погибла Атлантида.
Мне кажется, что это было так.

*1948*

* * *

В грохоте ветров нельзя молчать.
Пусть не обессудят нас потомки —
Чтоб самому грозу перекричать,
Научились мы словам не громким.

«Мама», «хлеб», «любимая» и «дом» —
Разве их не будет в жизни вашей,
В той, в которой вновь мы оживем,
В громе слов, речей, фанфар и маршей?

В медсанбатах черных на снегу
Те слова шептали, умирая.
На глухом, последнем берегу
Говорили: «Мама», «Хлеб», «Родная».

*1949*

* * *

Нынче видел я перед рассветом,
Или это почудилось мне,
Что везли по Литейному лето
Золотое на рыжем коне.

Вдруг по улице ночью осенней
Запах трав пролетел в октябре.
О ромашках напомнил весенних,
О косцах, об июльской жаре.

И, пугая ночные машины,
Рыжий мерин, подняв удила,
Будто конь с пьедесталов старинных
С сеном выехал из-за угла.

И пахнуло далеким раздольем,
И прохожие в поздней дали
По Литейному, будто по полю,
Среди трав и ромашек пошли.

Им казалось — иди вслед за возом
И увидишь: стоит за Невой
В белоствольных зеленых березах,
Возле моста, июль золотой.

*1949*

## *Солдату России*

Не просто песчинка в седом океане,
Не искра, мелькнувшая в вихре едва,
Он — мысль огневая всего мирозданья,
Он — смысл и идея всего естества.

Он — самое высшее чудо природы,
В шинели солдатской — ликующий бог,
Пропетая вечностью
Грозная ода.
Он смотрит на мир,
Он спасти его смог.

*1950*

* * *

Ни шороха, ни звука. Тишина
Ничем ненарушима над заливом,
Лишь на песок ленивая волна
Вдруг рассыпает пену прихотливо.

Глубокий вздох — и вдаль уйдет она,
И никогда ее ты не услышишь.
Над голубым заливом тишина,
Спокойно лето северное дышит.

Ей никого не надо, только я
Люблю ходить на берег одинокий.
Что женщина? Что верные друзья?
Всему на свете наступают сроки.

За необычной дымкой горизонт.
В тумане там неведомые страны.
И я был так же в жизни унесен,
Как этот парус в синие туманы.

Мне никогда не обрести покоя,
Пока я жив, пускай меня несет,
Как в океане шхуну китобоя
До всех недосягаемых широт,

По всем путям и перепутьям дальним,
Навстречу всем тревогам и ветрам.
Я жить хочу, я жить хочу, с печалью
Мешая злую радость пополам.

Чтоб тьму, как солнцем, разрывая в клочья,
Пройти по жизни там, где горячей.
И все познать на ощупь и воочью —
Суть всех явлений в жизни и вещей.

*1950*

### *Береза*

А лето уже на исходе,
Кузнечики в травах стучат.
И звездные ливни проходят
Над темной землей наугад.

Звенят августовские росы
Опять за туманной рекой.
И ты мне с заволжского плеса
Отчетливо машешь рукой.

Сменяется лето зимою,
Дымятся сугробы в полях,
Ты гнешься одна над рекою,
Серебряным иньем пыля.

Ударит апрель снеготалом,
В степи задымит чернозем,
И ты как ни в чем не бывало
Займешься зеленым огнем.

Как будто зима не курила,
И вьюга тебя не секла.
Упрямая гибкая сила
Гудит под берестой ствола.

Ни злобы, ни грусти не зная,
Какою-то тайной сильна,
Стремишься, береза простая,
Сквозь годы куда-то одна.

Как будто за мглой и метелью,
За маем и за январем
Открылись великие цели
Тебе золотым октябрем...

*1951*

* * *

Жить бы мне на земле
Четыреста лет.
Я б и то, когда смерть привязалась,
Ей сказал бы так:
«Что ты ходишь вслед,
Дай пожить еще самую малость.

Наглядеться на солнышко я не успел,
Надышаться родимым небом,
У меня еще столько неконченых дел,
И с земли ты меня не требуй!

Что тебе пятьдесят или сорок годков,
Дай отсрочку, а там, пожалуй,
Сам приду к тебе и буду таков —
Самой лютой кончиной жалуй».

*1952*

* * *

Я забыл, какого были цвета
У прощанья руки и глаза,
Только помню, как померкло лето
И пришла по радио гроза.

Черный диск затмил для нас светило,
Вместо солнца в небе — черный диск...
Глаз с него Россия не сводила,
И гремел динамик болью вниз...

*1952*

* * *

Здесь у моря забредают тучи
В горы, словно корабли,
Здесь ночами свет звезды падучей
Льется до земли.

Море можно зачерпнуть в ладони
И принять за лунный свет,
Здесь бы нужно было жить на склоне,
Но не житель гор я, нет!

Белая плетеная качалка,
Соловьи опять поют,
Почему-то вдруг мне стало жалко
Молодость мою.

Черный, низкий потолок землянки,
В рост не встать под ним,
Ветер ледяной на марше в танке
И газойля горький дым.

Да цигарки, пущенной по кругу,
Робкий огонек,
Лица освещающий друг другу
На какой-то срок.

Космы снега жесткие, косые
Хлещут в грудь,
Только за спиной была Россия,
А не просто лес да путь.

*1953*

* * *

Я не люблю того, кто мир винит
Во всех своих печалях и невзгодах,
Кто чуть чего кричит: «А все они!» —
Неважно, люди это или годы.
Мне кажется, я сам тому виной,
Что счастье просто затерялось где-то,
Что в мире меньше радостью одной,
Чем быть могло. И я виновен в этом.
В долгу перед друзьями и землей,
Мне в жизни никогда не расплатиться
За небеса, за тот последний бой,
За вдохновенье, за любовь и жизнь, что длится.

*1953*

## *У Спасских ворот*

Над Москвой в колокольном небе
В красный праздник, в далекий год,
Кувыркаясь, белый, как лебедь,
Одинокий плыл самолет.
Молодой, но вполне бесстрашный,
В небе петли крутил пилот
Так, что ахал, задрав фуражки,
Возле Спасских ворот народ.
И глядел в небосвод осенний
Не с трибуны, а с мостовой
На него из-под кепки Ленин
Вместе с праздничною Москвой.
А страна вокруг не богата,
Не велик, не громок парад,
Иностранные дипломаты
Признавать страну не спешат.
Но летит над землей осенней
Самолет, как державы флот,
Но глядит, улыбаясь, Ленин
В небеса у Спасских ворот.

И фотограф принес треножник,
Чтобы это запечатлеть,
И спокойно с тех пор не можем
Мы на этот снимок смотреть.
Потому, что в то утро Ленин
Видел в небе над головой
Не один самолет, как лебедь
Пролетающий над Москвой, —
Крылья Родина поднимала,
И он слышал уже тогда,
Как звенит она от металла,
Устремляясь вперед — в года.

*1954*

* * *

Со дна траншей мы наблюдали звезды
И до конца поверили земле —
Седой, колючей, неуютной, грозной,
В цветах невзрачных, в пепле и золе.

Для нас была единственной защитой
Насыпанная бруствером она.
И звезды лучезарные зенита
Нам были ярче видимы со дна.

*1955*

* * *

Средь прочих звезд в небесной дали,
Ничуть не устрашая нас,
Горит без злобы и печали
Над Средиземным морем Марс.

Росинка света, мир, далекий
От дел и праздников Земли.
Его кровавым и жестоким
Зачем-то люди нарекли.

Перенесли свои пожары,
И кровь, и голод, и грозу
На эту чистую, без жара,
С небес летящую слезу.

Она над Средиземным морем
Горит над нашим кораблем,
Со мглою беспросветной споря,
Сверкая, словно солнце днем.

*1956*

* * *

О чем поют гитары в поезде
После недельного труда,
На лавках, в пригородном поясе,
О чем тоскуют города?

Поди послушай, сядь поблизости.
Под стук колес гитара бьет...
Но не спеши в итоге вывести:
Так вот о чем поет народ!

Поет! Ты понял? Черта лысого!
Ползут, грохочут поезда.
И в клубах дыма брызжут искрами
Натянутые провода...

*1959*

* * *

Как повелось издревле на Руси,
Стихи читали площадям поэты.
Они вставали не на небеси,
Но поднимали над собой рассветы.

Береза пела, рыкала труба!
Я не о тех, приказчиках с базара,
Кому его величество толпа
Была дороже истины и дара.

В развороченном бурей бытии
Один вставал, не вслушиваясь в рокот,
И уводил в луга, в поля свои,
Поближе к небу, в тишину, далёко.

Другой, когда и белый свет не мил,
Шел. Рукава засучены немного,
Наотмашь бил и в чувство приводил,
И слушали его потом, как бога.

Береза пела, рыкала труба,
Все рощи за одной и за другою
Неотвратимо, грозно, как судьба,
Шли, как войска, построенные к бою.

*1959*

* * *

Гаснет свет. Экран
голубоватый,
Как окно, откроется
в стене.
Дым и песня. В ватниках
солдаты
По степи проходят, по войне,
Все как в жизни, а не на
экране:
Никаких величественных
поз...
Вот один взглянул, на
первом плане, —
Темноскул, обветрен и
раскос.
А в глазах суровая
усталость.
Он идет, сутуловат, тяжел,
Тыщу ли ему пройти осталось,
Десять тысяч ли солдат
прошел?
Он глядит на нас с экрана
просто.
И, видать, заметив
аппарат,
Улыбнулся, небольшого
роста,
Снятый сбоку, издали,
солдат.
Нам в глаза глядит, имея
право,
Равный — равным. И он
так велик,
Что гордится нашей ратной славой,
Забывая о своей в тот миг.

*1965*

* * *

*Ярославу Смелякову*

С лицом актера и монаха,
Жидковолос, голубоглаз,
Он попадал не раз на плаху
И возвращался на Парнас.
Не Маяковский и не Пушкин,
Но тоже времени пророк,
Свою младенческую душу
В поэзии он уберег
От лавров и от зуботычин
В крутых метаморфозах дня,
Хранил, как пес хранит добычу,
Рыча и в землю хороня.
Он сквозь огонь пронес и воду
Ее, но в громе медных труб
Споткнулся на паркетах с ходу
И выпустил ее из рук.
Она взлетела, как зарница,
И осветила невзначай
Кабак, где монстры и блудницы,
Где сам он пьет отнюдь не чай.
Он им явился, как апостол,
На миг и был камнями бит.
И вот опять он с мордой постной
В святой компании сидит.

*1967*

* * *

Красное в разгаре лето.
В знойной тишине
Дятла дробь в бору прогретом,
В небе, на сосне.

Загадай желанье,
Веря или нет,
И кукушки предсказанье
Прозвучит в ответ.

Прозвучит и канет в синий,
Голубой простор,
В глубине твоей России,
Юной до сих пор.

*1969*

* * *

Все нам кажется: мир сотрясают глобальные страсти,
Непонятные людям мировые проблемы.
Но державу в ее апогее богатства и власти
Вдруг тряхнули в течение ночи Гарлемы,
Не бетонные доты, а просто кварталы жилые,
Начиненные скарбом, а не динамитом ревущим,
Где долги и болезни, где юные и пожилые,
Размышляют мужчины о хлебе насущном.
Мировую державу тряхнули Гарлемы,
Всю — с «роллс-ройсами», с атомным боезапасом,
С «кока-колою», и с двухпартийной системой,
И с рекламою жизни ее распрекрасной.
И ее бомбовозы, летящие джунгли бомбить, покачнулись,
Поперхнулись ее микрофоны, орущие в мир о свободе.
Говорит президент. Засвистели в Америке пули.
Говорит президент. В город танки ревущие входят.
Против слез и отчаянья, ставшего гневом,
Против тихих, сгоревших надежд без остатка,
Против тех, кто ее одевал и кормил ее хлебом, —
Высылает Америка против Америки танки.
Не какие-то там мировые глобальные страсти,
Непонятные людям, бушуют по свету —
Слезы, боль и надежды на хлеб и на счастье,
Как всегда, сотрясают планету.

*1970-е г.*

* * *

Европа покрылась жирком,
Полночные бары хохочут.
И опыт летит кувырком,
Чтоб не был помянутым к ночи.

Вновь за полночь где-то штабист
На карте кроит континенты.
История помнит моменты,
И время орет: оглянись!

Дешевле ситро динамит,
А хлеб все дороже, дороже.
От пагод и до пирамид
Мороз пробегает по коже.

И снова всплывает строка
Забытого всеми пророка,
Что запад есть запад, пока
Восток пребывает востоком.

*1972*

## *Семь дней творенья*

*(Из поэмы)*

### *День первый*

Улетали с Марса марсиане
В мир иной, куда глаза глядят.
И не в сказке, не в иносказаньи —
Двести миллионов лет назад.

Гасло солнце в далях безответных.
Гасло солнце! Что еще искать?
Умирала ржавая планета —
Родина, всего живого мать.

Вымерзли моря, уплыли реки,
Опустели в недрах города.
Меркли светы, день умолк навеки,
Час настал последнего суда.

Был исчислен, взвешен и измерен
Красный Марс и вычерпан до дна.
Найден был для жизни новый берег,
Но дорога до него темна.

Тыщу лет катились вспышки света
Через космос, в сторону Земли.
На нее, на синюю планету,
Молча улетали корабли.

Там с небес, как реки, ливни били,
Лес вставал до солнечных высот.
Тяжесть разрывала сухожилья.
Кровь сушил под кожей кислород.

Грозный мир был бесконечно юный,
Все готовый сызнова начать.
Разбивались корабли о луны,
Сорвана была с Земли печать.

Те, кто послабее, оставались
Умирать с самой судьбой в ладу.
Те, кто улетали, не сдавались,
Веруя в свирепую звезду!..

---

До сих пор хранит следы посадок
Марсианских кораблей Луна:
Кратеры и белой пыли гряды,
Как лучи на лунных валунах.

До сих пор на марсианских лунах
Красные ржавеют стапеля
На камнях оплавленных, чугунных —
Память о гигантских кораблях.

*День второй*

Мир был синий, золотой, зеленый,
У лесов, болот, озер и скал,
Он рычал, ворочался и стоны
Лютого восторга испускал.

На столбах воды и ливнях света
Ходуном ходили гребни гор,
Были ослепительны рассветы,
Оглушителен земли простор.

Ящеры пикировали в тучах,
В небесах кишмя кишела жизнь,
Молнии ломались в белых кручах
И огнем с холмов стекали вниз.

На глазах росли леса, как травы,
Ярусами плыли небеса,
И плескались огненные лавы,
В сопках гор гремели голоса.

По ночам из голубого мрака
Поднималась желтая луна...

*1977*

## СОДЕРЖАНИЕ

### *Воспоминания современников*

## *Неопубликованное*

### *Проза*



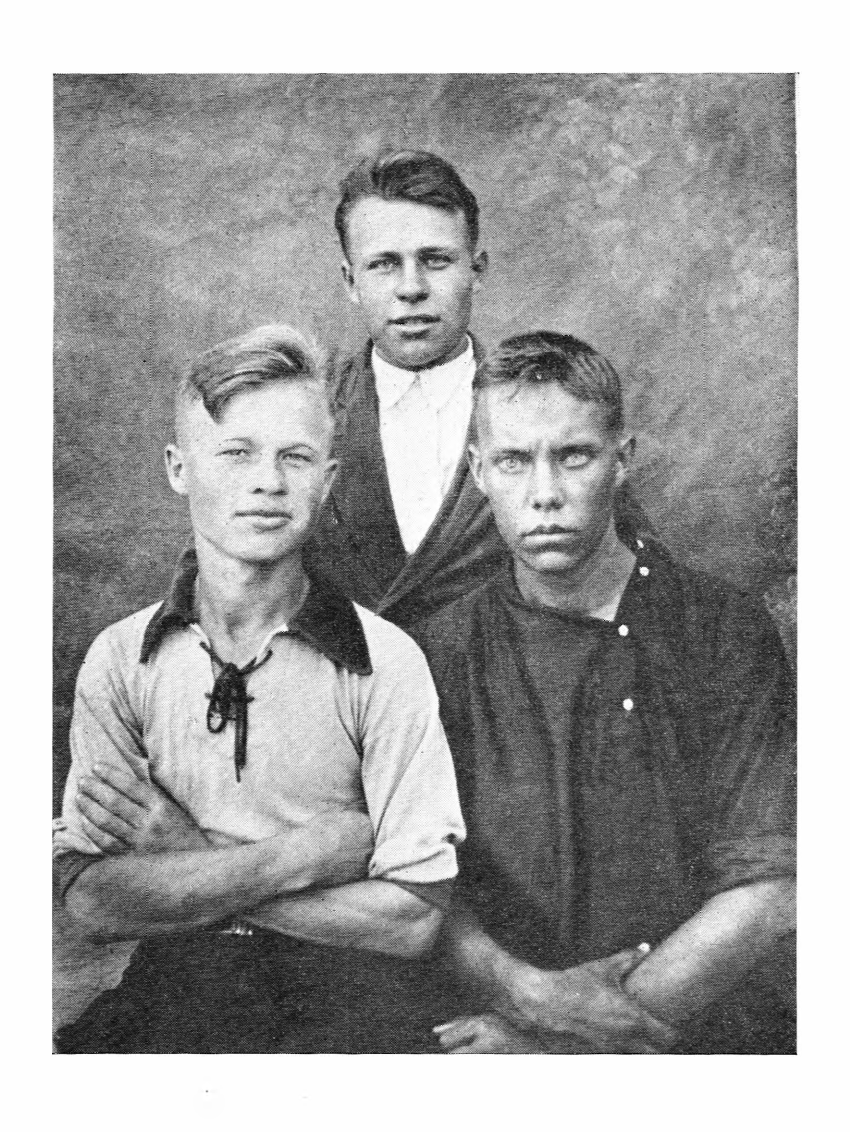
### *Стихи*



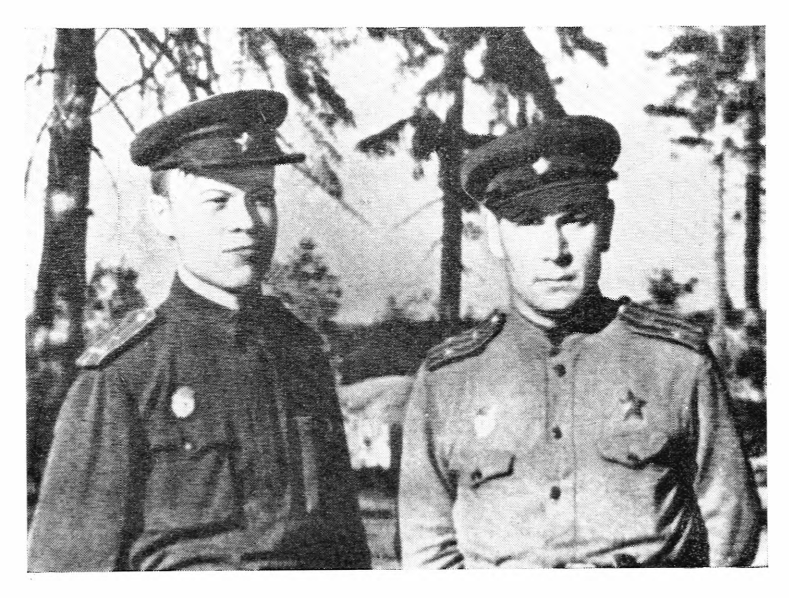
*Мать поэта Екатерина Яковлевна с детьми Сергеем и Адой. 1925.*



*С. Орлов (второй слева) среди одноклассников. Белозерск. 1938.*



*С. Орлов (слева) с друзьями — И. Малоземовым и Л. Бурковым. Белозерск. 1940.*



*С. Орлов. Кадр из фильма, снятого оператором А. Богоровым, «Поэты Волховского фронта». 1943.*

*С. Орлов с однополчанином. Волховский фронт. 1943.*

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ВСЕСОЮЗНЫЙ ЛЕНИНСКИЙ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ

КОМСОМОЛЬСКИЙ БИЛЕТ

№ 4235182

Фамилия Орлов

Имя и отчество Сергей Сергеевич

Год рождения 1921

Время вступления в ВЛКСМ декабрь 1938

Наименование организации, выдавшей билет Белозерский РК ВЛКСМ

Орлов

личная подпись

Секретарь Райкома Максимова

„24“ мая 1939 года

Уплата членских взносов за 1938 г.

| Месяц | Месячный заработок | Членск. взнос | Подпись секретаря |
|---|---|---|---|
| Январь | | | |
| Февраль | | | |
| Март | | | |
| Апрель | | | |
| Май | | | |
| Июнь | | | |
| Июль | | | |
| Август | | | |
| Сентябрь | | | |
| Октябрь | | | |
| Ноябрь | | | |
| Декабрь | | | |

*Пробитый осколком снаряда комсомольский билет С. Орлова.*



*1946.*



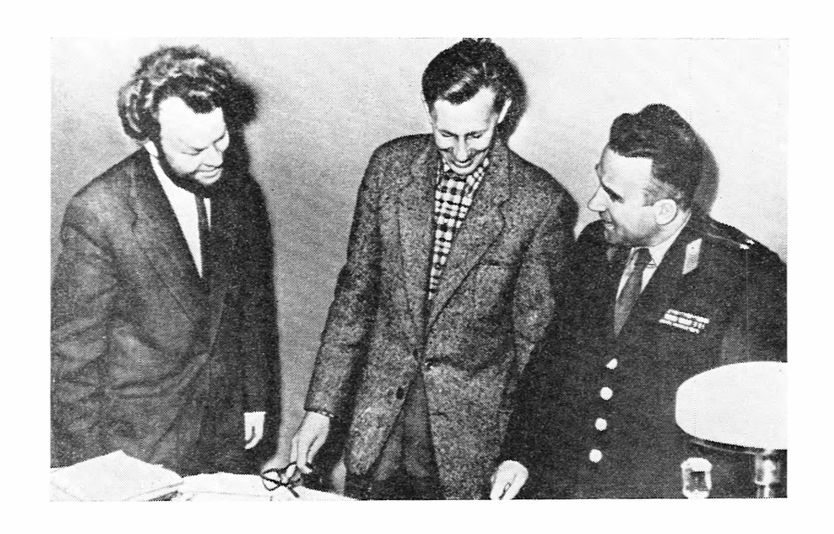
*С. Орлов, А. Бурков, С. Викулов, В. Дементьев. 1946.*

*А. Фадеев и С. Орлов. Второй съезд писателей СССР. 1954.*



*С. Орлов и М. Дудин среди юных читателей. 1955.*

*На встрече с любителями поэзии.*





*С. Орлов, М. Дудин, Дм. Хренков в редакции газеты «На страже Родины». 1955.*

*Д. Гранин, С. Орлов, Р. Гамзатов, А. Решетов в Афинах, у древнего Парфенона. 1956.*

*С. Орлов, К. Ваншенкин, В. Саянов. 1958.*



*Р. Казакова, С. Орлов, А. Масловская в редакции журнала «Нева». 1958.*

С. Орлов, Е. Поповкин, Ю. Гагарин в редакции журнала «Москва». Начало 60-х гг.



1965.



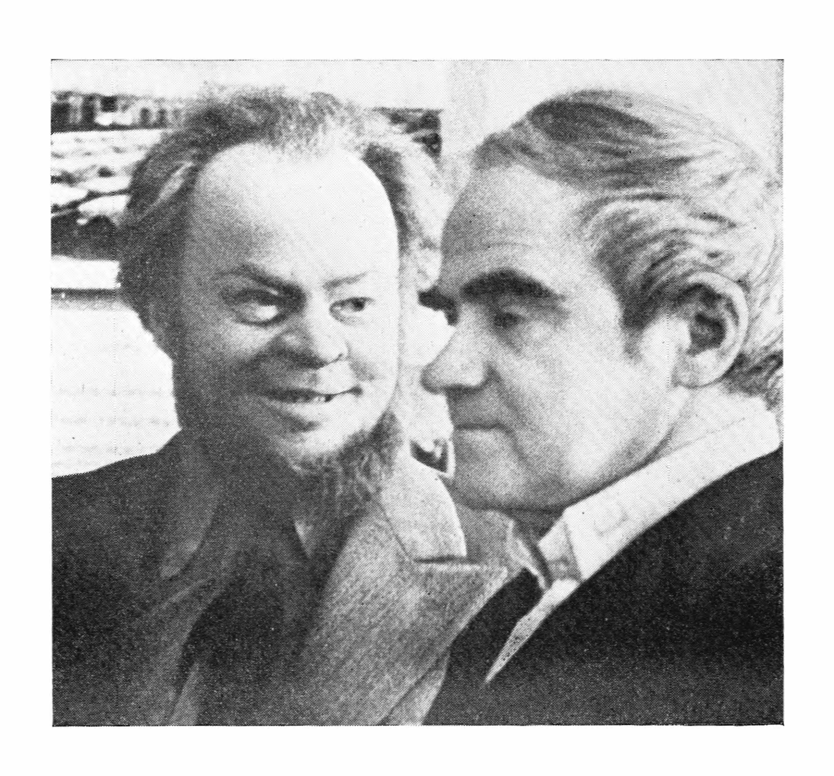
*С. Орлов и Ю. Друнина. Коктебель. 1970.*



*Пятый съезд Союза писателей СССР. С. Орлов и Н. Тихонов во время перерыва. 1971.*



1975.



*С. Орлов и Д. Гранин. 1975.*

Л. Васильева, С. Орлов, Д. Кугультинов.

С. Орлов и Б. Пидемский в Таврическом дворце. 1976.



*С. Орлов. Работа скульптора В. П. Астапова.*

Ему как мавзолей земля —
На миллион веков.
И млечные пути пылят
Вокруг него с боков.